

Единство западной цивилизации

Фрэнсис Сидней Марвин

The Unity of Western Civilization

Francis Sydney Marvin



The Project Gutenberg eBook of The Unity of Western Civilization.

Эта электронная книга предназначена для бесплатного и почти без ограничений использования любым человеком в Соединенных Штатах и большинстве других частей света. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законодательством страны, в которой вы находитесь.

Название: Единство западной цивилизации

Редактор: Фрэнсис Сидней Марвин

Дата выхода: 12 февраля 2005 [eBook #15030]

Последнее обновление: 14 декабря 2020 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Тедом Гарвином, Гарретом Аллеем и группой онлайн-распределенной корректуры проекта "Гутенберг".

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ "ЕДИНСТВО ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" ***

Электронный текст подготовлен Тедом Гарвином, Гарретом Аллеем, и командой по распределенной корректуре проекта "Гутенберг онлайн"

ЕДИНСТВО ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЭССЕ, СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ И ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ

Ф. С. МАРВИН

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КОЛЛЕДЖА СВ. JOHN'S COLLEGE, OXFORD

АВТОР КНИГИ "ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ"

Хамфри Милфорд
Издательство Оксфордского университета
Лондон Эдинбург Глазго Нью-Йорк
Торонто Мельбурн Бомбей

1915

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующие эссе представляют собой курс лекций, прочитанных в Летней школе в поселении Вудбрук, недалеко от Бирмингема, в августе 1915 года. Общая цель курса будет очевидна из самих эссе. Никакого принудительного или механического единообразия взглядов не было. Авторы, что вполне естественно и правильно, будут различаться в деталях и в том, как они подчеркивают различные аспекты дела. Но они сходятся в том, что, хотя дело нашей страны и дело наших союзников справедливо и необходимо и должно преследоваться с максимальной энергией, не лишним будет задуматься о тех общих и неискоренимых элементах в цивилизации Запада, которые формируют настоящее содружество наций и переживут даже самые сокрушительные конфликты. То, что мы, союзники, принципиально отстаиваем этот идеал, является одним из наших самых ценных преимуществ.

Тот факт, что лекции были прочитаны на сайте - поселении для подготовки людей к социальной работе в религиозном духе, подсказал не одному из участников курса, насколько схожа задача, которая сейчас стоит перед нами в международных делах, с той, которую тридцать лет назад инициировал каноник Барнетт для решения социального вопроса у себя дома. В обоих случаях нам необходимо мысленно объединить себя с другими людьми, чтобы осознать общие элементы, которые лежат в основе кажущегося разнообразия цивилизации Запада.

Метод курса - преимущественно исторический, хотя были добавлены некоторые эссе более идеалистического толка. Хотелось бы надеяться, что предложенная точка зрения, хотя и вызванная текущими событиями, может быть признана имеющей определенную постоянную ценность. Очевидно, что она может быть применена ко многим другим аспектам европейской жизни, например, к морали и политике, на которые в условиях ограниченного пространства в данном томе можно сделать лишь косвенное упоминание.

Ф.С.М.

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
АНАЛИЗ	7
Глава I ВВЕДЕНИЕ: ОСНОВАНИЯ	17

	ЕДИНСТВА Ф. С. МАРВИН.	
Глава	II ЕДИНСТВО В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА Дж. Л. МАЙРЕС, Уайкемский профессор древней истории, Оксфорд.	35
Глава	III ВКЛАД ГРЕЦИИ И РИМА Дж. А. СМИТ, профессор Уэйнфлет ментальной и моральной философии, Оксфорд.	69
Глава	IV ЕДИНСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА ЭРНЕСТ БАРКЕР, стипендиат Нового колледжа, Оксфорд.	91
Глава	V ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ В ПРАВЕ У.М. ГЕЛЬДАРТ, винерианский профессор английского права, Оксфорд.	122
Глава	VI ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ Преподобный доктор А. Дж. КАРЛАЙЛ, Университетский колледж, Оксфорд.	137
Глава	VII НАУКА И ФИЛОСОФИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СИЛЫ Л.Т. ХОБХОУЗ, профессор социологии Уайта, Лондонского университета.	162

Глава	VIII	ЕДИНСТВО ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Дж. У. ХИДЛАМ, покойный стипендиат Королевского колледжа, Кембридж.	180
Глава	IX	ТОРГОВЛЯ И ФИНАНСЫ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ Хартли Уайтерс.	198
Глава	X	МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ О КОНСТАНС СМИТ, бывший британский делегат в Международном бюро по промышленному законодательству.	222
Глава	XI	ОБЩИЕ ИДЕАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ К. ДЕЛИСЛ БЕРНС.	242
Глава	XII	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА Дж. А. ХОБСОН.	260
Глава	XIII	РЕЛИГИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ Г.Г. ВУД, покойный стипендиат Иисус- колледжа, Кембридж.	280
Глава	XIV	РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Ф. С. МАРВИН.	301

АНАЛИЗ

ГЛАВА I. ОСНОВАНИЯ ЕДИНСТВА

Обращение к истории. Прежние великие расколы в Европе, которые были преодолены, дают надежду для настоящего времени. Реформация. Наполеоновские войны.

Две точки зрения: (1) сама природа человека стремится к единству через конфликт. (2) Этапы этого процесса, пройденные в истории.

В доисторический период преобладают конфликты и разнообразие, хотя жизненные потребности предписывают определенное единообразие. Консолидация происходит в благоприятных физических условиях, особенно в бассейнах великих рек, таких как Нил и Евфрат.

Возможность мирового единства впервые была осознана в греко-римском мире. Греция дала единство в мыслях, Рим - на практике. Порядок с прочным интеллектуальным фундаментом установился в Римской империи. В средневековом мире единство, главным образом духовное, достигается в тех же рамках. Положение Германии в этом развитии. Распад четырнадцатого и пятнадцатого веков. Расширение известного мира и рост богатства и знаний. Этот кризис продолжается до сих пор и в последнее время усугубляется рождением национальностей. Высшей проблемой международного единства становится примирение национальных единиц с интересами целого. Под поверхностными потрясениями продолжают расти и в конечном счете победят великие объединяющие силы науки и общих чувств.

ГЛАВА II. ЕДИНСТВО В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

Ретроспектива поиска единства в делах человека, в его политическом и научном аспектах.

Единство человека как вида животных. Древние верования, сомнения, вызванные практикой рабства, их решение и современная концепция "человеческой семьи".

Единство человека как разумного животного, борющегося с природой за существование. Археологические данные о разумности первобытной культуры в материальном плане; сомнения, вызванные иррациональным "варварством" человека в социальном плане. Гипотеза Леви-Брюля о "дикарской логике" и греческий анализ проступков как коренящихся в невежестве.

Борьба человека с природой в северо-западном квадранте Старого Света. Единства здесь не найти в поисках пищи. Доисторическая Европа демонстрирует разнообразие режимов, мотыжное земледелие, пастушеское кочевничество. Колесо и плуг, а также комбинированная культура хлеба и сыра.

Раса, язык и культура как факторы единства. Распространение европейской хлебной культуры произошло раньше, чем распространение индоевропейской речи и, вероятно, чем распространение "альпийского" типа человека. Раса в Европе привела не к единству, а к раздору, а языковое родство не обеспечивает взаимопонимания.

ГЛАВА III. ВКЛАД ГРЕЦИИ И РИМА

Современная история - единственная подлинная и важная история, настоящее - единственный объект исторического знания; то, что представляет собой настоящее и как оно правильно понимается, придает истории единство и оправдывает изучение прошлого

(древней истории); вся история - это *наша* история, и в противном случае она не имеет для нас ни смысла, ни ценности. История классической древности - это история молодости современного мира, формирования ныне скрытых, но все еще мощных надежд, страхов, замыслов и мыслей, составляющих субстрат европейского сознания; как это все еще объединяет разделенную Европу и дает основание надеяться на восстановление и углубление союза. Наш долг перед греками: (а) само понятие цивилизации, (б) идея ее реализации через знание, (в) идеал свободы как внутреннего духа истинной цивилизации. Как грекам не удалось реализовать все это в теории и на практике и как, тем не менее, они преподали свой урок миру; заслуги Греции перед миром в создании искусства, наук и философии; греческий идеал жизни, выходящей за рамки "цивилизованной" жизни, но ставшей возможной благодаря ей и придающей цивилизованной жизни новую и более высокую ценность; недостатки и достоинства этого идеала.

Римляне - наследники всего этого; как, сделав его более прозаичным, они сделали его более практичным и более эффективно реализовали его. Все это наиболее заметно в императорский период. Римский идеал : (а) мир во всем мире, (б) обеспеченный и поддерживаемый централизованной системой законов, исходящих от единой власти и исполняемых ею. Влияние этого идеала на последующую и современную мысль и практику. Причины его упадка и падения: (а) незнание экономической подструктуры цивилизованной жизни, (б) пренебрежение возможностями ее расширения и защиты, (в) рост идеи национальности. Революция как последняя великая попытка восстановить полный римский идеал в его отжившей форме.

Уроки, которые нам еще предстоит извлечь из изучения как успехов, так и неудач греко-римской цивилизации; как их рассмотрение может одновременно отрезвить наши ожидания и вселить в нас надежду в настоящем. Силы, которые ее создали, все еще поддерживают ее и не проявляют признаков истощения. Но чтобы они продолжали действовать, мы должны изучать эти силы и усваивать уроки, которые несет в себе древний опыт их работы, прилагая усилия сначала для понимания греко-римской мысли и практики, а затем для лучшего обучения им.

ГЛАВА IV. СРЕДНИЕ ВЕКА

I. Средневековый мир. Географические масштабы. Экономическая структура: ее черты однородности и замкнутости: влияние подъема национальной экономики на средневековое общество. Лингвистическая основа. Средневековая схема общеевропейской системы сословий, а не баланса сил.

II. Единство средневековой цивилизации в ее великий период (1050-1300 гг.) Церковное. Попытка церкви достичь общего синтеза человеческой жизни путем применения христианских принципов. (1) Контроль над войной и миром и феодальный мир: Божье перемирие и крестовые походы: папство как международная власть: средневековая концепция войны. (2) Контроль над торговлей и коммерцией и экономическим миром: справедливые зарплаты и цены: средневековый город. (3) Контроль над обучением и образованием и миром мысли: примирение греческой науки и христианской веры: аллегорическая интерпретация мира и ее влияние на естественные науки.

III. Средневековая теория общества. Органическая концепция общества: средневековая мысль *naturaliter Platonica*. Единое общество человечества. Отсюда (1) мало понятий о государстве, суверенитете или государственном праве; но универсальное общество, тем не менее, должно быть каким-то образом согласовано с существованием различных королевств. Отсюда, опять же, (2) отсутствие различия между церковью и государством как

двумя отдельными обществами: это две отдельные власти, *regnum* и *sacerdotium*, но они управляют одним и тем же обществом. Единое общество человечества - это церковная схема, объединяющая огромное разнообразие личных групп.

IV. Влияние права на превращение королевства в государство - процесс, начавшийся рано в Англии и Франции, но в целом завершившийся лишь около 1500 года. Новые условия - географические, экономические, лингвистические - которые подготовили почву для нового мира XVI века. Пропасть между этим миром и старым средневековым миром. Надежда на единство в наши дни.

ГЛАВА V. ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ В ПРАВЕ

Проблема в древнем мире. Закон универсальный и верховный над человечеством (Софокл, "Антигона"). Закон произвольный и меняющийся от места к месту (Геродот). Природа и условности. Неправота чужака в античности. Закон был "законом граждан". Допуск иностранца к правовой защите. Рим разрабатывает закон людей всех народов (*ius gentium*), который реагирует на закон граждан (*ius civile*) и в конце концов объединяется с ним. Закон природы.

Распад Древнего мира; Средние века. Захватчики приносят с собой свой собственный закон. В основанных ими королевствах у каждого человека был свой "личный закон". Местное право. Феодалное право. Зарождение национального права: Англия, Франция, Германия. Римское право в Средние века. Каноническое право.

Современный мир. Рецепция римского права. Государственный суверенитет. Современные кодексы. Единство и разнообразие права в рамках политической единицы. Разделение мира на территории английского общего права и земли, где преобладают концепции римского права. Силы, способствующие единству: понятие "закон природы"; стремление к общим целям. Международное право, частное и публичное.

ГЛАВА VI. ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Вопрос о месте национальности в искусстве и литературе. В Средние века ей практически не было места. Средневековый эпос; его характер. Средневековый роман. Современное европейское искусство и литература преодолевают национальные условия. Характер истика новой европейской литературы XIV века: Данте, Боккаччо, Чосер. Драматургия Англии и Испании XVI-XVII веков. Живопись и скульптура XIV-XVII веков. Классический ум и принцип хорошего вкуса и здравого смысла. Реализм Дефо и Хогарта и испанский пикарескный роман. Сентиментализм в восемнадцатом веке. Поэзия и живопись природы. Великая революция и романтическое движение. Великая литература и искусство не национальны, а общечеловечны.

ГЛАВА VII. НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

Западная цивилизация обладает определенным единством (1) в смысле единства характера, (2) в том, что она имеет общее происхождение, в конечном счете в греко-римской цивилизации, но более непосредственно в средневековом христианстве, и (3) в том смысле, что ее части поддерживали постоянную связь идей. (4) Различные качества немецких, французских и английских мыслителей в значительной степени дополняли друг друга, (5) а история науки и спекулятивной философии в значительной степени является историей взаимодействия различных национальных школ. (6) То же самое можно сказать и о политической мысли. (7) Таким образом, мир мысли образует содружество, которое

превосходит все национальные различия и, несмотря на войну, остается основой подлинного единства.

ГЛАВА VIII. ЕДИНСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

Различие между единством и единообразием. Историческое единство; происхождение школы и университета. Оба инструмента средневековой церкви для поддержания единой системы во всем западном христианстве. Важность латыни как универсального языка образования. Подавление вернакуляра и национальных движений. Реформация; общеевропейское движение. Эразм. Новое учение, основанное на классической литературе. Тенденция к объединению; влияние Реформации и национальных церквей. Рост национальной литературы. Политические влияния, Французская революция и национальное государство. Существенное единство, сохраняющееся не только в изучении естественных наук, но и в историческом единстве, данном христианством и духом Греции.

ГЛАВА IX. ТОРГОВЛЯ И ФИНАНСЫ

Торговля и финансы - практическое выражение инстинкта самосохранения, присущего не только всем людям, но и всем живым существам. Раннее появление привычки к торговле у мальчиков. Первые примеры торговли. Покупка Авраамом места для погребения у Ефрона Хеттеянина. Торговля Соломона с Хирамом из Тира. Геродот, первый историк, открывает свою историю упоминанием о торговле. Торговля основана на специализации и является одновременно причиной единения и разъединения. Она распространяется от отдельных людей к сообществам. Внешняя торговля стимулируется различиями в стоимости товаров в разных сообществах. Специализация повышает эффективность, но превращает рабочего в машину и спекулянта на шансах, что другие захотят получить то, что он производит. Международная торговля также способствует как единству, так и трениям. В целом, торговля способствует единству. Аналогично финансы, или торговля деньгами. Его происхождение и развитие. Католический вкус Лондона к иностранным ценным бумагам: иногда он предпочитает их отечественным изделиям. Влияние иностранных инвестиций на производство и потребление в стране. Иностранные финансы и производственная специализация.

ГЛАВА X. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Взаимозависимость характерна как для стран, так и для классов. Факт, донесенный до нас европейской войной. Важность международных действий в отношении повышения социальных и промышленных стандартов. Эта истина была осознана Робертом Оуэном столетие назад. Деятельность Оуэна и его последователей в направлении установления международного минимума условий труда. Действия Швейцарского федерального совета. Германский император созывает первую конференцию по защите рабочих 1890 года. Формальный провал и существенные достижения этой конференции. Основание Международной ассоциации по трудовому законодательству и Международного бюро труда. Устав и работа этих органов. Двухгодичные конференции ассоциации: тематика и методы. Международные конвенции 1906 года, их сфера действия и значение. Последующая деятельность Ассоциации. Ее нынешнее положение и надежды на будущее.

ГЛАВА XI. ОБЩИЕ ИДЕАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Идеалы возникают из осознаваемых социальных бед. В последние годы они вызвали: а) общие действия европейских правительств и б) действия отдельных правительств под влиянием зарубежного опыта. Также наблюдается рост настроений, еще не воплощенных в

законах или институтах, в отношении (i) положения женщин и детей, (ii) социальных каст и (iii) расширения совместных действий цивилизованных государств по проведению реформ.

ГЛАВА XII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА

Девятнадцатое столетие внесло три великих вклада в возможность международного правительства: политическое осознание национальности, рост содержания и методов международного права и прогресс федерализма. В других областях, не связанных с политикой, особенно в торговле и финансах, выросла сеть международного сотрудничества. Более тесный политический союз необходим для трех целей: во-первых, для укрепления, расширения и улучшения санкций существующего международного права; во-вторых, для урегулирования разногласий между нациями; в-третьих, для позитивного сотрудничества ради общего блага. Этот прогресс предполагает некоторое дальнейшее уменьшение "суверенитета" и "независимости". Но эти понятия не имеют абсолютной силы. В Гаагских конвенциях и других межправительственных документах уже существуют зачатки международного правительства. Для создания эффективной безопасности мира необходим общий договор, предусматривающий передачу всех споров на рассмотрение арбитража или примирения с такими гарантиями принятия решения, которые обеспечат доверие. Проверкой доверия является добровольное сокращение вооружений. Интернационалисты расходятся во мнениях относительно характера и жесткости санкций. Одни полагаются исключительно на "мораторий" и давление общественного мнения: другие принуждают к представлению всех вопросов, но не к принятию решений: третьи, опять же, применяют силу, дипломатическую, экономическую или военную, к обоим процессам.

Интернационализм, чтобы быть эффективным, требует механизма для решения новых вопросов до того, как они перерастут в споры. Насколько состояние умов после этой войны будет способствовать прогрессу интернационализма? Возможно ли или вероятно ли духовное обращение, соответствующее процессу биологического мутатизма?

ГЛАВА XIII. РЕЛИГИЯ

История Европы свидетельствует о том, что, хотя церковь оказала значительное влияние на рост общего типа цивилизации на Западе, в современную эпоху религия оказалась скорее разделяющим, чем объединяющим фактором. Однако в последние поколения-два наблюдается снижение догматического и сектантского накала. Эти перемены во многом обусловлены ростом научного духа, и, как и в других сферах исследований, так и в изучении религии, международное сотрудничество неуклонно развивается. Как литературная критика, так и психологический анализ способствовали расширению симпатий. Более глубокое понимание некоторых элементов христианского идеала и христианской надежды также должно быть принято во внимание как фактор, способствующий новому католицизму, который находит свое выражение в таких движениях, как Движение школ для взрослых и Студенческое христианское движение, а также в постоянно растущем требовании более тесного сотрудничества в миссионерской работе.

Помимо этого, отчасти благодаря сравнительному изучению религий, мы осознаем, что религиозная мысль на Западе обладает некоторыми общими чертами, в частности, верой в солидарность человечества и в реальность прогресса. Сами по себе эти два убеждения не образуют тесного союза, и обе веры должны быть определены и подкреплены чувством греха и сознанием Бога, которые Запад усвоил от Иисуса.

ГЛАВА XIV. РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Для обеспечения международного союза необходима основа правильных чувств, даже большая, чем усовершенствованный политический механизм. Мы должны начать с патриотизма, просветить и расширить его. Из трех западных наций, лидирующих в искусстве и науке, Франция и Англия в результате войны стали тесными союзниками в защите политики союза свободных и мирных народов всего мира. Позиция Италии, России и США.

Расширение арбитражных методов и создание лиг мира или даже всемирного государства - это вопросы, требующие серьезных размышлений; но распространение понятия гуманности, сотрудничества всего человечества в общем деле является более фундаментальным и может быть начато любым человеком у себя дома. Эта идея, зародившаяся еще у стоиков, получила полное развитие с приходом современной науки. Она проявляется во многих формах, и распространение точных наук является ее самым мощным подспорьем. Она совершенно не зависит от национальности и будет все больше направлена на облегчение человеческих страданий и улучшение жизни.

Окончательным критерием высокой международной цели являются совместные усилия более сильных народов по защите и помощи более слабым и менее развитым. Случай Африки и Брюссельская конференция 1889 года. Аналогия с обращением с молодежью на родине.

I

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНСТВА

Перед лицом величайшей трагедии в истории мы обращаемся именно к истории. Что она учит нас ожидать в качестве решения конфликта? Насколько и в какой форме мы можем ожидать, что единство человечества, центром которого должна стать Европа, выйдет из этого испытания?

На ум приходят только два случая, когда со времен распада Римской империи раскол, столь серьезный, как нынешний, угрожал единству западного мира. Первый - это Реформация и война, которую она повлекла за собой вплоть до Вестфальского мира. Второй - борьба с Наполеоном, завершившаяся сто лет назад. Последняя во многих отношениях была более близкой параллелью. Это была борьба независимых народов Европы против непомерных амбиций и агрессии одной державы. Она объединила их в союз, который достиг своей цели и пережил успешное завершение войны примерно на лет. Мы надеемся и предсказываем, что нынешняя война будет продолжена подобным курсом, с сообществом наций, гораздо более широким и прочным, чем Священный союз.

Борьба во времена Реформации была менее похожа на нынешнюю, как по своим причинам, так и по ходу, но она имеет некоторые особенности, которые делают ее полезной для исследования постоянных объединяющих элементов, которые держат и будут держать Запад вместе, несмотря на периодические катаклизмы и столкновение соперничающих интересов и страстей. Такой человек, как Эразм, трепещущий перед катастрофой, готовый пойти на огромные жертвы, чтобы избежать открытого разрыва, не уверенный в том, что окончательная корректировка может восстановить гармонию мира, не был похож на некоторых из нас, кто надеялся на умиротворение врага, кто считал, что почти любой мир лучше любой войны, кто все еще боится, что разрыв в единстве является жизненно важным или непоправимым для многих поколений.

И все же решение, принятое триста лет назад, может внушить нам осторожный оптимизм, сильное, хотя и не безмерное доверие. Правое дело восторжествовало, в конце концов, полностью. Свобода была обеспечена как для церквей, так и для отдельных людей во всем мире. Злые черты папской системы, против которых, собственно, и был направлен удар, тихо, но полностью исчезли, и институт выжил, сам реформированный. Не прошло и ста лет, как мир перешел к завоеванию новых точек опоры и установлению более широкого единства на более прочном основании.

Поэтому оба предыдущих случая полны надежд. Европейская система, как мы увидим из этих очерков, является необходимым ядром любого цивилизованного порядка, охватывающего весь мир; и большие конвульсии, которые до сих пор время от времени происходили в ней, представляют собой моменты особой ценности для изучения условий, в которых она существует. Это патологический опыт, который выявляет силу и слабость нормальных функций. Мы стремимся и надеемся на более длительное состояние общего здоровья и не отчаиваемся в пациенте даже при этом тяжелом приступе. Он пережил и более серьезные заболевания. Ведь хотя нынешняя война - самая гигантская из всех, что когда-либо видел мир, само ее величие - результат некоторых из тех современных достижений - научного мастерства, улучшенных коммуникаций, национальной сплоченности, на которых в конечном итоге будет построена лучшая организация всего общего богатства наций. *Passi graviora*; мы пережили бури XVI и XVII веков, когда старый римский порядок и его продолжение в католической церкви были в самом слабом состоянии, а восстанавливающая сила науки, социальных реформ и национализма едва начала свою работу. Мы не должны потерпеть неудачу с нашими большими силами настоящего времени, чтобы восстановить и создать Европу более свободную, более сильную и более единую, чем та, которая сейчас кажется потрясенной до глубины души.

Процесс обретения большего единства между ведущими нациями мира, как и все аспекты человеческой эволюции, должен рассматриваться с двух точек зрения, различных в теории, но неразрывных в жизни. Чего требует сама природа человека? Как эта природа выражалась и влияла в истории на внешние условия, географию, климат, конфликты и смешение рас, которые накладывал театр его появления?

Если посмотреть на природу человека как таковую, насколько мы можем выделить ее из окружающей среды, то она отличается от природы низших животных двумя особенностями, обе из которых по сути своей социальны и стремятся к единству. Он более глубоко и надолго привязан к представителям своего вида, привязанностью, симпатией, почитанием, традициями, чем любое другое существо. Он - разумное существо, а разум сам по себе требует контакта и согласия различных умов. Несравненно большая сила, которую он приобрел в мире, над всеми другими видами и над самой природой, обусловлена действием этих двух факторов. Вначале он был физически менее силен, чем многие другие существа, и если он сражался с себе подобными, то другие виды животных делали то же самое. Он опережал их благодаря своему разуму, а разум действовал и должен действовать благодаря согласованности действий мыслящих существ. Этот концерт - не просто, и даже не в основном, привязанность тех, кто живет одно и то же время, к сотрудничеству ради какой-то общей цели; у человека это сознательная последовательность одного поколения за другим. Иногда движение адаптации происходит медленнее, иногда быстрее, но в каждом случае живые продолжают дело мертвых, и их сотрудничество как во времени, так и в пространстве обусловлено действием тех же качеств привязанности и разума, социальных факторов, благодаря которым в любой момент сообщество людей оказывается связанным вместе.

Если посмотреть на этот вопрос *априорно*, то становится ясно, что огромное сообщество человечества, хотя в последние годы оно все теснее контактирует по всей планете, все же действует и должно действовать, привычно и ежеминутно, через множество более мелких агрегатов. Среди них ведущими являются семья и страна или нация. Первая не имеет прямого отношения к нашему исследованию, вторая играет в нем главную роль. Первая в меньшей степени зависит от внешних условий формирования земли и т. п. и, следовательно, является более универсальной, более чисто человеческой. Второй сформировался под влиянием географических условий, расовых качеств, очевидных случайностей истории. Его отношение к более крупным единицам человеческого общества поднимает самые сложные, фундаментальные и неизбежные вопросы. Обуздать агрессивный национализм - вот коренная проблема нынешней войны. Постоянное примирение национализма с человечеством означало бы установление вечного мира.

Западное общество, да и все человечество в целом, состоит из этих более мелких единиц, семьи и нации, с их различными промежуточными группами, но исторический процесс отнюдь не соответствует этому логическому порядку. Общество не создавалось упорядоченно, путем образования семей, а затем объединения семей в сотни, сотен - в графства, графств - в нации, и так далее до целого. Германский бог мог бы сделать это, но путь природы и истории был менее совершенен. Малые формы человеческих объединений формировались, видоизменялись и в целом совершенствовались на протяжении всего процесса. В какой-то момент, что очень важно для нашей аргументации, более крупная форма объединения была достигнута еще до того, как были сформулированы необходимые составные элементы. Это был греко-римский мир, окружавший Средиземноморье и завершившийся Римской империей II века н. э. Он стал ядром, из которого развился западный мир современной цивилизации; однако он существовал, сложившись в своих основных очертаниях, еще до того, как национальные единицы, необходимые ему для внутренней гармонии и сплоченности, приняли какую-либо определенную форму. Именно трудностям их роста и взаимного приспособления мы обязаны большинством конфликтов современной истории.

В этой книге мы вернемся сначала к еще более раннему этапу, этапу предистории, к тому времени, когда никто, не одаренный сверхчеловеческой проницательностью и предвидением, не мог предвидеть, каким путем пойдет человеческая цивилизация. По всему миру на протяжении десятков тысяч лет сохранялась культура, связанная с каменными орудиями и отмеченная сходством, которое часто бывает чрезвычайно поразительным, у рас и племен, широко разделенных расстояниями и климатическими условиями. Сырье для человеческого продукта в науке, искусстве и изобретательстве было одинаковым по текстуре, хотя часто изобиловало деталями и воображением. Но в нем еще не было единства органического целого, связанного общей целью и осознающего себя.

Для сплочения большого количества людей, благодаря которым можно было бы создать богатство и обеспечить достаточный досуг и независимость для интеллектуальной жизни, не продиктованной нуждами существования, требовалось особое совпадение благоприятных физических условий. Богатые и уединенные речные бассейны во многих частях света обеспечивали это, и, как следствие, мы находим подобные крупные сообщества, возникшие в конце каменного века в таких местах, как Китай, Перу, Мексика, и, прежде всего, в Месопотамии и Египте. Последние из названных стран приобрели особое значение для дальнейшего развития благодаря близости к Средиземному морю, которое должно было стать великим местом встречи и школой обучения для смелых духом и пытливых умов. Из оживленного общения этих замкнутых вод возникла цивилизация, называемая минойской,

или эгейской, с центром на Крите, которую превзошли торговая деятельность финикийцев, искусство и наука греков.

Именно с появлением греков была поставлена печать на притязаниях Средиземноморья быть местом рождения высшего типа человеческой цивилизации, центром, из которого должно было распространиться единство духа, пока материальная сила, а также покоряющий разум не признали европейского или западного человека в качестве лидера расы. Превосходство грека заключалось в его достижениях в трех направлениях: как мыслителя, как художника и как строителя города-государства. Для нашей цели наиболее важны первое и последнее, а первое - самое важное из всех.

Город-государство был важен как первый пример свободного, самоуправляемого сообщества, в котором человек реализовывал свои способности, живя и умирая вместе со своими собратьями и ради них. Этот новый тип человеческого сообщества имел первостепенное значение в дальнейшем. Во многих вопросах он послужил образцом для римлян и, таким образом, стал точкой опоры для восходящего движения западного мира. В работах греческих философов, особенно Платона и Аристотеля, она также вдохновила на самые ранние и глубокие размышления о природе социальной жизни и правления. Но она так и не обрела постоянство политических единиц, необходимых для создания Европейского содружества. Для этого нужны были нации, а греки были расой, а не нацией. Полису не хватало размера, разнообразия элементов и территориальной основы, на которой держится современная нация.

Именно в их достижениях как мыслителей и художников, прежде всего в их науке и философии, мы находим наиболее фундаментальный и долгосрочный вклад греков в единство и прогресс человечества. Когда они соединились с упорством, организаторским и правовым гением римлян, был создан прочный центр цивилизованной жизни, который пережил потрясения двух тысяч лет роста и конфликтов и переживет потрясения современности. Греки объединили мир мысли и искусства; римляне попытались организовать мир людей, который находился ближе всего к ним в странах вокруг Средиземного моря. Оба усилия имели неоценимую ценность и непреходящий эффект, но оба были, исходя из условий проблемы, несовершенными решениями, блестящими, но преждевременными набросками юношеского гения. Грек, работая сначала на материале, накопленном поколениями халдейских и египетских жрецов, открыл в их грубых, неорганизованных и неточных наблюдениях геометрии и астрономии элементы единства в многообразии, которые и составляют науку. Доискиваясь до причин, сопоставляя и исправляя отдельные факты, он пришел к первым уравнениям в математике, первым законам природы. Его работа в этой области и в области медицины продолжалась до тех пор, пока не завершилась римская оккупация средиземноморского мира. Она постепенно угасала в теологической атмосфере Александрии, а с чисто человеческой стороны завершилась стоицизмом с примесью универсальной философии и римского права. Стоическая империя II века н. э. стала высшей точкой совместных усилий греков и римлян по достижению единства и гуманизма в мысли и практике. Ее блеск, пока она существовала, благородство ее ведущих людей, устойчивость основных линий ее структуры - вот мера нашего долга перед строителями греко-римского мира.

Римский вклад в результат, который в итоге так прекрасно объединил оба движения, по своему происхождению и природе был необычайно не похож на греческий. Римлянин не анализировал свои концепции. Он принимал то, что приходило к нему от предков или от других народов, не подвергая анализу, за исключением тех случаев, когда нужно было убедиться, что новые материи могут быть использованы в старых формах без вывиха на

практике. Он был прагматиком, грек - идеалистом. Этот инстинкт адаптации и последовательности сделал римлянина пионером в области права, как грека - пионером в науке. Он сделал возможным объединение в одну политическую систему разнообразных территорий и народов от Тигра до Солуэйского лимана на достаточно долгое время, чтобы большая часть этой территории была окончательно цивилизована по римскому образцу. Но, подобно наброску художника к его картине, целое было набросано до того, как части были проработаны в окончательной форме; и сам набросок был серьезно несовершенен более чем в одном пункте. Неудача, которую Август потерпел на восточном берегу Рейна, так и не была исправлена, и германские племена оставались нероманизированными до тех пор, пока церковь в седьмом и восьмом веках не возобновила работу по другим направлениям. Это поражение Вара и легенда о Германе стали для германцев символом национального величия в таком смысле, в каком ни один из других национальных конфликтов с Римом никогда не принимался. Для нас Боадицея - варварка, и мы с благодарностью и удовольствием следим за признаками цивилизации, оставленными римской оккупацией. Для нас римлянин на протяжении веков был защитой от варварства, и мы сожалеем, что нам приходится заново делать многое из того, чему он нас когда-то научил. Но Римская империя, когда ее приняли германцы, уже не была той Империей, которая основала единство Европы. Это была Германская империя, и хотя античный мир будоражил его воображение, он всегда видел его немецкими глазами.

Следующим этапом единства стала средневековая церковь, унаследовавшая рамки Римской империи и расширившая область нравственной и цивилизованной жизни, начало которой положил Рим.

В нее была включена Германия, и она сыграла в ней выдающуюся роль. Римские миссионеры, некоторые через Англию и Ирландию, пошли дальше, чем пытались римские легионы, а меч Карла Великого сделал все остальное. Германия в позднее Средневековье была, пожалуй, самым ценным из всех владений Папы, а ее князья-епископы - его величайшими лейтенантами. Моральное и религиозное воздействие католической дисциплины, обращенной к тем сторонам человеческой природы, которые Греция и Рим оставили нетронутыми, нигде не ощущалось так глубоко, как у немцев. Духовно они были подняты, по крайней мере, до уровня остальной Западной Европы, но политически они оставались некорпоративной, самой феодальной и военной нацией Запада.

Рост наций был, с политической стороны, главным достижением Средневековья. Рим заложил основу великой системы, и в нее хлынули варвары с севера и востока, готы, франки, гунны, мавры, лангобарды, племена на уровне гомеровских греков, когда они докатились до Эгейского моря. Они приходили как орды мигрантов, а на территории, цивилизованной Римом и католической церковью, оседали как нации, смешиваясь с прежним населением и разделяясь по географическим конфигурациям континента. Преимущество среди них имели Франция и Англия. Они обрели свое единство как нации раньше, чем другие страны Запада - Англия в той форме, которая сохранялась практически без изменений в течение шестисот лет. Испания, разорванная на части маврами, была полностью консолидирована лишь в конце XV века, чтобы отправить последних крестоносцев под командованием Колумба на поиски новых миров для завоевания через Атлантику. Но Италия и Германия, и особенно последняя, оставались распавшимися до нашего времени. Обе они объединились примерно в одно и то же время, пятьдесят лет назад, но разными методами и в разном духе. Италия, по природе своей компактная географическая единица, была скреплена демократическим энтузиазмом, душой которого были Кавур и Мадзини, а правой рукой - Гарибальди. Германия, огромная по силе и численности, прочно укрепилась в центральной части

континента, но не смогла зажечься национальной жизнью в тот же демократический момент. Она была приведена в политическое состояние молотом Тора, который, поднимаясь и опускаясь, наносил сокрушительные удары как по друзьям, так и по врагам, как по Австрии, так и по Франции, по датчанам и полякам, по либералам и социалистам, по маленьким королям и великим церковникам. И теперь это творение Франкенштейна среди государств предлагает самую серьезную проблему в согласовании национальных претензий с европейским единством. Мы должны проверить и ассимилировать - если мир хочет жить как единое целое - одну державу, которая до сих пор наиболее настойчиво и успешно развивала свои собственные ресурсы, но в наименьшей степени подчинялась интересам целого.

Есть те, кто рассматривает все национальные барьеры и организации как некое препятствие, кто предпочел бы простой интернационализм миру, каким мы его знаем, с его сдерживаемыми страстями и привязанностями, его постоянной опасностью взрыва, его медленным продвижением по извилистым каналам к более широкому взгляду и более надежной опоре. Многие реформаторы, начиная с Платона, занимали аналогичную позицию по отношению к меньшему институту - семье, которая часто оказывается препятствием на пути к социальным утопиям дома. Идеал Канта о космополитической конституции как цели всех человеческих усилий скорее склоняется на эту сторону баланса. Но необходимо соблюдать баланс и поддерживать полную ценность семьи и нации, чтобы не допустить теорий или тенденций, которые превратили бы всех нас в космополитов. Взгляд на другие элементы, составляющие единство европейского общества, поможет скорректировать перспективу.

Единство Римской империи было в основном политическим и военным. Оно длилось от четырех до пятисот лет. Единство, возникшее в католической церкви, было религиозным и нравственным и продолжалось тысячу лет. Менее обязывающее с одной стороны, оно было более проникающим и всепроникающим с другой, и хотя теперь оно разрушено, оно все еще сохраняет свою силу над многими миллионами умов, в то время как римскую политическую и правовую структуру приходится искать в формальных институтах, которые впитали ее дух и преобразовали ее букву. Но за пределами собственно церковной структуры мы имеем множество родственных и производных институтов, которые служили делу единства в моральной и интеллектуальной сфере. Позже мы поговорим о более совершенном и прочном единстве науки. Университеты в Средние века и в эпоху Возрождения стремились к той же цели, используя в философии и теологии материал, который должен был изнашиваться с распространением знаний и течением времени. Но в период своего расцвета им удалось создать более полное сообщество ученых, чем когда-либо в Европе до или после этого. Тогда, как и всегда, царство подлинной любви к истине или даже честного диспута не зависело от расовых или политических различий, и ученый отправлялся из Оксфорда в Париж или из Роттердама в Болонью только для того, чтобы расширить свой кругозор или посидеть у ног какого-нибудь всемирно известного учителя.

И странствующий ученый был далеко не единственным социальным звеном. Многие торговые маршруты удивляют нас длиной и авантюристичностью своего пути. Янтарь с Балтики попадал на юг Италии и Испании, а небольшие лодки из Ирландии попадали в устья Луары и Гаронны, когда берега Ла-Манша становились непроходимыми из-за варваров с севера.

Средневековая Европа на самом деле представляла собой гораздо большее единство, чем может показаться современному путешественнику, и в основном благодаря влиянию церкви. Духовное единство глубоко проникало в природу человека, и когда такой человек, как Эразм, в начале шестнадцатого века рассматривал перспективы, мы можем понять его ужас и решительное воздержание от любого шага, который ускорила бы распад единого

организованного тела, представляющего старую объединенную культуру христианства, и мог бы сдерживать новые силы, угрожающие эгоизму и беспорядку во все более широких кругах на земном шаре. Ибо следует отметить, что новые силы экспансии давали о себе знать, когда единство Церкви подвергалось угрозе изнутри. Исследователи расширяли, на восток и запад, сферу, в которой европеец должен был оказывать свое влияние на другие народы как во благо, так и во зло, и шестнадцатый век становится, таким образом, одним, возможно, самым критическим из всех поворотных моментов в истории Запада. Опасность смешалась с надеждой, беспорядок - с новым знанием и новой силой, и кризис еще не преодолен. Но к настоящему времени мы уже немного разобрались в природе новых сил и видим, что они должны и когда-нибудь будут более полно действовать в направлении единства цивилизованного мира, здоровой независимости частей и растущей гармонии целого. Мало что из этого мог увидеть наблюдатель на заре Реформации.

Национализм, демократия, колониальная экспансия, религиозные изменения, рост знаний и их применение в промышленности и социальных реформах - вот основные черты, отличающие наш современный мир от средневекового, и мы должны рассмотреть, насколько они способствуют единству человечества.

Шестнадцатый век ознаменовался как укреплением национальных правительств, так и началом европейской колонизации. Англия, Франция, Испания, Португалия, Голландия - все они обосновались под властью центрального правительства, более сильного и независимого, чем то, которым они пользовались ранее, и застолбили за собой владения за морями. В каждом случае этот процесс сопровождался войнами, и, как мы знаем, отсталость Германии в этот период в десять раз усилилась для остальной Европы в последнее время. Таким образом, национальная экспансия представляется очевидной провокацией международных распрей. Не желая ни игнорировать факты, ни преуменьшать опасности, обратимся здесь к другой стороне вопроса. Где была зажжена искра, которая привела к нынешнему пожару? В той части Европы, где национальные образования были наименее стабильны и развиты, где условия правления и общественного устройства наиболее далеки от наших собственных. Кто может сомневаться, что если бы на Балканах туркам удалось создать хотя бы такое правительство, какое мы поддерживаем в Индии, или, что еще лучше, если бы балканские государства, помимо турок, обрели свою независимость в федерации, подобной швейцарской, агрессия Центральных держав была бы остановлена? Компактная, устоявшаяся национальная единица сама по себе не представляет опасности, но опасность представляют слабые, угнетенные или разобщенные национальности, которые не нашли безопасности и служат приманкой для своих экспансивных соседей.

Таким образом, сильные и независимые государства, как постулирует Кант в своем *"Вечном мире"*, являются гарантией мира, камнями в храме человечества. Еще одно соображение, не получившее широкого признания, подкрепляет этот вывод. В последние годы все передовые и прогрессивные страны в первую очередь думают о социальных реформах. Это было заметно и у нас, и у французов, и у Соединенных Штатов, и у небольших, более развитых стран Европы. Германия тоже, хотя ее первые силы были отданы организации войны, имела в этом вопросе две разные души. Ее социал-демократы и часть правящего класса последовательно и успешно работали над улучшением положения народа и часто опережали другие страны в этом процессе. Само собой разумеется, что, во-первых, для проведения широких социальных реформ необходимо сильное национальное правительство, а во-вторых, если правительства посвящают себя этому всем сердцем, то их энергия в меньшей степени будет направлена на причинение вреда соседям. В Германии, к несчастью для нее самой и для всего мира, не было правительства, которое могло бы

говорить от имени всего народа и нести перед ним ответственность. По-настоящему национальное правительство в Германии или где-либо еще не стало бы затевать эту войну.

Колониальная экспансия, которая была связана со вспышкой национальных чувств в XVI веке и с тех пор часто приводила к конфликтам между европейскими нациями, также предстает в ином свете, если изучить ее с учетом фактов, о которых не мечтали в XVI и XVII веках. Американские континенты, которые казались первым мореплавателям богатыми поместьями, возделываемыми в интересах владельцев дома, превратились в мощные и независимые страны, исключительно мирные (за исключением внутренних стычек), стремящиеся к созданию новых типов жизни и управления, надеющиеся, возможно, удержать равновесие в затянувшемся состязании держав Старого Света. Таким образом, круг средиземноморского мира, расширенный открытиями шестнадцатого века, сегодня находит свое завершение в новых государствах по ту сторону Атлантики, которые в целом имеют огромный перевес на стороне мира и хотят удержать свои позиции в западной цивилизации силой богатства и промышленности, а не оружия. Для нас также ясно, а когда-нибудь станет ясно и германским державам, что Британская империя, самая большая политическая совокупность на земном шаре, по сути, является лигой свободных народов, не подвергающихся никакому принуждению со стороны центра, но чутко реагирующих на посягательства на их власть или свободу со стороны третьих лиц, сильных от их общего удовлетворения условиями и институтами их жизни, а не благодаря каким-либо систематическим правилам, навязанным сверху. Даже Индия и другие защищенные государства и доминионы, хотя еще и не являются самоуправляемыми, неуклонно движутся в направлении ответственности и добровольного объединения с Британской империей или Содружеством в целом.

Таково гораздо более обширное сообщество наций, пришедшее на смену Западной Европе шестнадцатого века; при этом не упоминается место России или стран, расположенных еще дальше на восток. Картина не представляет собой кипение противоречивых страстей и амбиций во всем мире. В целом, это масса мужчин и женщин, которые трудятся в свое удовольствие, не заботясь о том, чтобы их государство или нация расширили свои границы, и менее всего о том, чтобы спровоцировать нападение; мало осознавая исторический долг наций друг перед другом, но желая добра другим, за исключением тех случаев, когда они пересекают путь личных желаний; быстро набирая силу, ощущая реальную общность между живыми людьми, но едва осознавая, как человеческая сила была создана в прошлом и как бесконечно она может быть улучшена, а мир усовершенствован гармонией и неуклонно направленными усилиями в будущем. То, что чувство братства укрепилось в мире, особенно с середины восемнадцатого века, несомненно. Голоса протеста доносятся до нас даже из Германии сквозь бурю ненависти. Но смутная симпатия, стремление к миру и отвращение к ужасам войны нуждаются в просвещении, в обоснованном убеждении, что все народы, особенно те, которые находятся в авангарде, являются партнерами в общем деле и необходимы друг другу, и прежде всего, возможно, в учреждениях, которые склоняют к сотрудничеству и делают внезапный и катастрофический разрыв как можно более трудным. Многие из этих институтов мира находились в процессе становления, когда разразилась война. Многие из самых глубоких связей между нациями не осознаются или остаются на заднем плане из-за националистических учителей или националистической прессы.

Из всех современных шагов к международному единству наиболее бесспорным, наиболее прочно основанным и наиболее далеко идущим является наука и различные ее применения как для развития связей между различными частями света, так и для облегчения страданий, укрепления и освещения человеческой жизни. Поэтому чем больше внимания мы сможем

уделить развитию науки в преподавании истории, тем большее место человечество, или объединенный разум человечества, займет в той картине прогресса мира, которая есть у каждого из нас, более или менее полная и отчетливая. На протяжении нескольких сотен лет, кульминацией которых стали три или четыре века нашей эры, доминирующей фигурой в картине был триумфальный город-государство Рим, постепенно покоривший и охвативший весь мир. Затем в течение примерно тысячи лет картина представляла собой религиозную организацию, возглавляющую цивилизованный мир, а национальности появлялись лишь как несколько тусклые и неопределенные фигуры. Затем, с разрывом в Церкви и появлением других религиозных организаций и форм мышления, национальные фигуры становятся преобладающими на сцене и привлекают почти все внимание, которое уделяется, за исключением нескольких любопытных, изучению истории. Национализм, некогда бывший недостатком в Западной Европе, в течение некоторого времени был в избытке. Средство от этого - не прямая атака на него, за исключением тех случаев, когда он не оставляет нам выбора, а предоставление ограничивающих и контролирующих идей. Из всех этих идей наиболее точно подходит наука, потому что, будучи наукой, она не знает различий между французским и немецким, английским и русским. Не существует французской физики или немецкой химии, и если нам говорят, что у пруссаков есть своя теория антропологии, основанная на преобладании определенного типа черепа, которую оспаривают другие антропологи, мы совершенно уверены, что в этом случае наука еще не сказала своего последнего слова.

Мы ставим физическую науку на первое место, потому что она содержит наибольшее количество определенных и принятых законов. Чем дальше мы уходим от математической точности, тем больше мы подвержены разногласиям, которые могут, как в случае с антропологией, группироваться вокруг какого-нибудь национального вопроса. Но через все науки, а также философию и религию легко проследить растущее единство метода и результата, перед которым национальные различия часто сводятся к разнице в стиле. Стиль - национальный, а истина - общечеловеческая.

Мы не можем быть уверены, что если бы каждый житель Западной Европы был ученым, то войны прекратились бы на земле: некоторые профессора слишком хорошо нас учили для этого. Но в той мере, в какой люди придут к осознанию того, что огромный объем организованных знаний - это общее достояние, полученное благодаря совместным усилиям разных наций, и что его можно увеличить только совместными действиями, и можно увеличить настолько, что вся жизнь станет счастливее и благороднее, в той мере они будут против войны. И в различных сферах ее применения, в увеличении производства и ускорении коммуникации, в продлении жизни и лечении болезней, в защите рабочих и удешевлении продуктов питания, люди видят естественные плоды деятельности, основой которой является общая мысль, а конечной целью - общее благо.

Правду говорят, что легче проследить рост науки как совместного продукта сотрудничающих умов, чем найти рост общих чувств среди людей и наций, которые ее создали. Это верно в отношении отдельных людей, но не менее верно и в отношении групп и наций. Мы можем успешно работать с кем-то над проблемой, учиться у учителя или товарища, если он нам лично не нравится и мы не стремимся к его обществу в отрыве от потребностей нашей общей работы. Такое часто случалось, и будет случаться снова, как в частной, так и в общественной жизни. Но хотя отдельные антипатии могут усиливаться, склонность к неприязни к другим людям является уменьшающимся качеством среди цивилизованных людей. В конечном итоге здравый смысл и необходимость возобладают. Мы рождаемся, чтобы прожить

некоторое время до смерти; и мы должны жить на одной планете, иногда по соседству с теми, кто поклялся в неугасающей ненависти.

II

ЕДИНСТВО В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА^[1]

Новая перспектива, со всем ее смещением ценностей, навязанная нам войной, затрагивает прошлое не меньше, чем настоящее и будущее. Как бы объективно мы ни пытались представить себе данные истории, мы не можем освободиться от необходимости представлять их с точки зрения, которая в конечном счете должна быть нашей собственной. Мы можем путем тренировок и критики приблизить себя к центру событий, более близко познакомиться с существенными факторами и отдалиться от тривиальной периферии; но это вопрос степени, а историческое исследование - в конечном счете дело умственной триангуляции. Как геодезист в поле, мы наиболее безопасны в определении любой третьей позиции, если у нас уже есть знания о двух и о том, как третья выглядит с обеих. И даже если бы мы действительно находились в центре событий, я полагаю, что мы могли бы бесполезно использовать наш круг углов, если бы не обладали божественным даром определять расстояния.

Поэтому историк принимает свои ограничения как правила игры и отправляется в путь, чтобы посмотреть на единство с другой стороны. Это его редкий шанс, если события сдвинут его с места и заставят взглянуть на мир, в котором, как и сейчас, половина его собственной карьеры находится внутри картины; возможно, ее не очень легко найти в один момент - как можно не узнать себя на групповой фотографии - но тем не менее она там есть и понятна только в связи с ее реальным окружением.

Оглядываясь назад, на историю антропологии и доисторической археологии, большая часть которой приходится на годы после 1870-го, а почти вся - на 1815-й, первое, что поражает нас сейчас, - это частота и тонкость ее реакции на современные мысли и устремления. Несколько величайших людей осознали это в свое время. Я цитирую Карла Эрнста фон Бэра, основателя сравнительной эмбриологии, а в важных вопросах - учителя таких разных людей, как Хаксли, Спенсер и Фрэнсис Бальфур. Он умер в 1876 году, когда политическая антропология еще только зарождалась; но в своей великой книге о человеке он "апеллирует к опыту всех стран и эпох, что если один народ обладает властью и пытается совершить злодеяние против другого, он также не упускает случая представить другого как очень никчемного и некомпетентного, и повторяет это убеждение часто и настойчиво" (*Der Mensch*, ii. 235). Нам легко расставить здесь все точки над *i* и крестики над *t*; менее легко, пожалуй, понять, что фон Бэра беспокоило упорство британских и американских этнологов в полигенистической ереси, которое он прослеживал (и справедливо) в их нежелании относиться к "черному брату" как к своему родственнику. Решение в этом этнологическом споре было принято по умолчанию, с победой Севера в Гражданской войне в Америке; и в 1871 году лев лег вместе с ягненком, даже в Лондоне; заядлые враги в Этнологическом обществе и Антропологическом слили свои судьбы в одном Антропологическом институте. В 1915 году нежелание "высоких светлых людей, пришедших с севера" - заимствую фразу профессора Риджуэя - общаться с простыми брюнетками за Рейном и Дунаем, в свою очередь, предстает перед тем же трибуналом, что и полигенизм в 1862 году.

Наша тема, "Единство в доисторические времена", охватывает три основные темы: (1) единство человеческих усилий и разума в борьбе человека с природой и с ближними; (2)

особые условия, которые способствовали или препятствовали единству доисторической культуры в том, что в других местах называют "северо-западным квадрантом" территории Старого Света к западу от Арарата и Медийских холмов и к северу от Сахары, колыбелью и яслями современного "западного мира"; и (3) сходящиеся линии развития в этом регионе, которые можно проследить на протяжении веков, прежде чем римская политика позволила греческой культуре проникнуть почти так же глубоко в полуостровную Европу, как завоевания Александра открыли для нее внутренние районы Ближнего Востока.

Когда мы говорим о единстве в человеческих делах, и особенно сейчас, когда высшим единством для одних кажется национализм, а для других - отрицание или, скорее, вытеснение национализма, мы имеем в виду довольно сложный результат нескольких различных вещей. Эта сложность, возможно, неосознанно, была признана в первом гуманистическом кредо: "Я верю в одну кровь, одну речь, один культ, один конгруэнтный способ жизни".^[2] Современная этнология, действительно, склонна подводить культ под образ жизни, как особый тонкий тест на соответствие, и рассматривать язык, наряду с культом и образом жизни, как еще одно проявление того же человеческого разума; различая, таким образом, два вида единства - одно физическое или морфологическое, как один вид животных в животном царстве, другое культурное или психологическое, как единственный воплощенный обитатель царства разума; и классифицируя "науку о человеке" соответственно. Но, в сущности, это афинское кредо будет служить: наши новейшие этнологи, да и государственные деятели, сталкиваются с той же лигой проблем.

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ВИДА ЖИВОТНЫХ

Что бы ни думали греческие государственные деятели о пропасти между греками и персами или греками и варварами вообще, греческие этнологи не ставили фундаментального барьера между различными видами человека. Будучи хорошими натуралистами и опытными животноводами, они принимали белых, коричневых и черных мужчин и были готовы принять любую другую породу, с которой мог бы столкнуться Неарх или Пифей, как членов одного братства, точно так же, как они принимали белых, коричневых или черных овец, с рогами Аммона или без них. Эратосфен, самый философский и, следовательно, самый *политический* из всех, был рожден в Кириное, где некоторые греки, кажется, были чернокожими; он работал в Александрии, где университет был человеческим зоопарком, как в Лондоне или Берлине. Их простая фермерская теория естественного отбора приписывала "обгоревшее лицо" эфиопцев солнечным ожогам, а другие расовые типы - значительным факторам региона и режима. Классическим трактатом является трактат Гиппократов "О воздухе, воде и местах".^[3]

В современном мире также не было серьезных сомнений в специфическом единстве человечества, передаваемом из древности, пока Линней и Бюффон не усовершенствовали биологические понятия рода и вида (для обоих этих понятий в греческом языке есть только одно слово) и не определили виды по критерию плодовитости. К этому времени не только великие исследователи, но и каждый капитан корабля знал, что белые люди, во всяком случае, образуют плодовые союзы со всеми известными видами человечества. Но в восемнадцатом веке стало известно, причем тем же эмпирическим путем, что плодовитость союзов между белыми и черными была несовершенной; а поскольку это был единственный человеческий крест, для которого имелось большое количество доказательств, создалось впечатление, что зоологическая дистанция между этими расами была больше, чем предполагалось ранее. С другой стороны, авторы "Прав человека" XVIII века потребовали пересмотреть существующую практику рабства негров; в результате возникли разногласия. Аболиционисты утверждали, что "черный брат" действительно является кровным братом и

имеет право на "права человека"; их оппоненты отвечали, что негр, будучи (по их мнению) представителем другого вида, может по праву считаться во всех отношениях одним из домашних животных белого человека и быть его собственностью, а также его грубой рабочей силой. На рубеже веков приверженность Кьюве придала престиж полигенезу с его научной стороны: и потребовалось все благоразумие Причарда в следующем поколении, чтобы переломить ситуацию даже в Англии. Однако Гражданская война в Америке, о которой уже упоминалось, так близко совпала по времени с работой Дарвина и Лайелла о реальном значении видов и о древности человека, что спор был закрыт без горечи. Новая фаза полигенизма, которая, кажется, открывается сейчас, с последовательными открытиями четвертичной стратификации рас и анализом семейного древа *Hominidae*, проведенным Китом, начинается с совершенно других данных, не подкрепленных страхами или надеждами на "неандертальское" происхождение негра или любого живого или недавнего *Homo*.

Таким образом, "человеческая семья" представляется восстановленной как нечто большее, чем просто фраза; и сепаратистам (которые всегда с нами) приходится отступать к другому критерию разобщенности.

ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК РАЗУМНОГО ЖИВОТНОГО

Опустив на мгновение язык (который со времен первого рассказа о "Вавилонской башне" несколько утратил свою значимость как симптом единства человечества), или, скорее, его как одно из наиболее существенных проявлений рациональности и, по сути, ее главный инструмент, мы приходим к единству человека как существа, обладающего разумом и выражающего эту способность рассуждать в конкретных способах жизни в любых внешних условиях. Эти условия почти бесконечно разнообразны, поэтому не всегда легко сравнивать примеры реакции человека на них. Для доказательства единообразия человеческого мышления, действительно, приходится начинать почти с животного мира. "Разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, органов, размеров, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не питается той же пищей, не подвержен тем же болезням, не исцеляется теми же средствами, не согревается и не охлаждается тем же летом и зимой, что и христианин? И не только голод людей и их чувствительность к "одному и тому же лету и зиме" схожи: их способы утоления голода, их поведение в поисках пищи, их элементарные организации "ради поддержания жизни", по выражению Аристотеля, демонстрируют один психический тип во всем. В приручении даров природы все то же самое: создание орудий труда и оружия, импровизация одежды и укрытий, почти инстинктивный импульс к "игре с огнем", который отталкивает других животных. Стил и отделка могут варьироваться, и они варьируются в зависимости от культурной провинции; но в последнем механическом анализе лопата остается лопатой во всем мире, а кельт - кельтом.

Заслуга покойного генерала Питт-Риверса в этой стране и Клемма за рубежом - установить этот аспект "эволюции культуры" вне всяких сомнений: как и работа Буше де Пертеса, сэра Джона Эванса и сэра Джона Лаббока - перейти в обратном направлении, от критерия полезности к гипотезе дизайна и выводу, что некоторые камни, предположительно дочеловеческой древности, должны быть делом рук человека, приспособленных к человеческому мозгу, подобному нашему. Более широкий диапазон наблюдений Тайлора, заметно дополненный другими работами Лаббока, охватывает все виды человеческой деятельности в одной формуле сравнения, которая действительно так же стара, как Фукидид.[4] Из современной практики дикости мы можем сделать вывод о ранних стадиях развитой культуры.

И все же на эту "примитивную культуру", если воспользоваться ставшим классическим выражением, столь разумную и при этом столь полную единообразия, в ее интимном взаимодействии руки и языка с мозгом, падают пятна тени; хаос таких невероятных нелепостей и (в самом широком смысле) "варварств", что милосердная гипотеза о том, что то тут, то там человек сбивается с пути и просто *перестает думать*, едва ли кажется адекватной для объяснения происходящего, а писатели вроде Леви-Брюля провоцируют пессимистов на догадку о том, что может существовать дикарская логика, отличная от нашей и все же "логичная" в каком-то последовательном смысле; которая *ставит под сомнение* выводы и даже аксиомы, которые для нас ясны как день, и является "знанием зла" наряду со знанием добра.

Но примеры этого "примитивного мышления", когда мы подходим к их анализу, все, кажется, сводятся к одному или другому виду заблуждений, как их объясняют наши собственные учебники логики. Если их изучение и доказывает что-либо, так это хорошо знакомый афоризм о том, что, хотя существует только один правильный способ делать и думать, есть бесчисленное множество способов ошибаться. Среди самых разумных людей (в период их расцвета), которых когда-либо видел мир, были самые ужасные выкидыши разума и морали; и на протяжении всех их великих веков в их языке не было слова ни для дьявола, ни для греха. Для греков все человеческие проступки сводились к одной простой категории [греч. *hamartia*], "совершение ошибки", или, лучше, "совершение промаха". Это сленг тренировки в стрельбе по мишеням, поскольку коррелирует [греч. *otochazein*], используемый для всех счастливых догадок об истине, также является лишь словом, означающим "меткий выстрел".

Но зачем делать ошибки? К чему эти неудачи в координации между замыслом и исполнением, между истиной природы и теорией и практикой человека? Почему это падение от лучшего к небрежной или устаревшей работе, если назвать только два основных вида технологических ошибок? И снова ответ приходит от ионийского физика, минуя Лукреция. Это только на первый взгляд "хотя разум общий для всех, большинство людей живет так, как будто у них есть свой собственный способ мышления", [5] минутное отчаяние Гераклита, предвосхитившее Леви-Брюля почти дословно. Стоит проникнуть, вместе с самим Гераклитом, под поверхность, и "все люди способны понять себя и мыслить здраво". [6] Именно неумение мыслить, а не какой-то особый и нелогичный тип мышления, является причиной проблемы: отказ от того "организованного здравого смысла", который является содержанием всей "науки".

Такая дезорганизация здравого смысла, "идиотское" мышление, в гераклитовском смысле [греч. *idia phronêsis*], может быть столь же совокупным, заблуждение за заблуждением, и столь же тщательно ошибочным, сколь совокупно и тщательно правильной является ткань знания. "Согрешил ли этот человек или его родители, что он родился слепым? В этом трагедия примитивной культуры: мозги есть, глаза есть; только они никогда не видели ничего прямого, потому что в мире, где они воспитывались, не было ничего прямого, что можно было бы увидеть.

Лукреций уловил половину проблемы, когда отнес организованные абсурды своих современников к наследственному страху: который, в конечном счете, является нарушением высшей деятельности, доходящим до отречения. Его начало - это атаксия, а кульминация - паралич. В психическом аспекте это провал воли к познанию; принятие неполноценности, на которую нас обрекает невежество.

Вторая половина проблемы, менее четко диагностированная Лукрецием, но обнаруженная, как мы видели, Гераклитом, - это наследственная гордыня, основанная на невежестве не меньше, чем лукрецианский страх. Это "ложь в душе", убежденность, против которой выступал Сократ, как до, так и после него, что мы знаем, как обстоят дела, тогда как на самом деле это не так. Как и страх, в своем ментальном аспекте это неспособность воли к знанию; опять же, признание низшего статуса невежественных.

Организованный страх приводит к *табу* - систематическому запрету на эксперименты, которые могут противоречить гипотезе; а организованная гордость - к *магии* с ее систематическим игнорированием результатов каждого проведенного эксперимента, если он противоречит гипотезе. Именно эти две надстройки невежества, поочередно подавляющие и настаивающие, придают гламур иррациональности большей части поведения человечества и маскируют его исконный рационализм, а также его мораль. Охваченные страхом и гордыней, ремесленники и земледельцы, исследователи и реформаторы находятся в одинаковом положении. "Я мог бы сделать то или иное и сделать это таким образом, но могу ли я?", и если такое мнение, как считается, говорит: "Ты не должен", то ошибочная подмена "не должен" на "можно" не может не поставить под угрозу продвижение вперед. Это может быть вопрос об обломке кремневого топора или профсоюзное правило о высокоскоростном токарном станке; но если мастер подчиняется мнению как таковому, а не через позитивное совпадение с ним своих собственных суждений, он принимает ошибочное заключение как свое собственное и позволяет своей работе стать подержанной и самой лучшей.

Поэтому широкое единообразие в поведении и материальной культуре может быть следствием невежества не в меньшей степени, чем знаний, и если мы не имеем очень полного представления о регионе и внешних условиях, то нелегко решить, является ли какое-либо из этих единообразий разумным или нет. История взаимоотношений вполне благонамеренных завоевателей с институтами и искусствами своих подданных полна трагедий такого рода. Мне приходит на ум пример Парагвая, где воздержание от детоубийства после обращения в христианство едва не привело к вымиранию туземного племени, поскольку численность населения сразу же стала превышать средства к существованию; и только когда комитет в Лондоне был побужден (как раз вовремя) направить средства миссии на покупку семян и сельскохозяйственных орудий, опасность была предотвращена. Я не ставлю перед собой цель похвалить детоубийство; я лишь хочу сказать, что если человек не может жить только хлебом, то он не сможет продолжать жить даже хорошей жизнью, если ему действительно не хватает хлеба. Поэтому с преданностью идеальному единству культуры мы должны сочетать терпимость к широкому разнообразию, видя, насколько разнообразно окружение, составляющее дом человека. Если бы природа была однородной в географическом смысле, от полюса до полюса, цивилизация могла бы быть как практически, так и идеально единой, хотя можно справедливо сомневаться, что в таком мире возникла бы цивилизация, такая, какой мы ее знаем; но при нынешнем распределении суши и воды, температуры и осадков, а также комплекса растений и животных, который возникает в результате их взаимодействия, единство явлений культуры перестает быть практически осуществимым, и некоторым (как мы видели) стало трудно даже сохранить веру в единство человеческого разума.

На самом деле, только на довольно позднем этапе развития науки, как в старом мире, так и в нашем, кто-то задумывался о существовании такого единства вообще. То, что люди чужой крови должны вести себя чужими и непонятными способами, казалось одинаково

естественным и греку, и мореплавателям эпохи Возрождения. И Геродот и Боден, если назвать только первооткрывателей и мастеров, сходятся во мнении о причине. Разнообразие в поведении человека - не коварная уловка первородного греха: это реакция его единственного разума на разнообразие природы. Только когда опыт добавил к наблюдениям за привычками жизни чужих людей близость с ними, общая человечность в их поведении стала проявляться так часто и очевидно, что вызывает удивление. Согласие с этим открытием подразумевается Фукидидом и Гоббсом и признается Аристотелем и Локком. Если бы Европа ворвалась на Великий Восток во времена Локка, как греки ворвались в Персию во времена Аристотеля, мы могли бы получить более полную аналогию между этнологией Монтескье и Эратосфена, чем мы можем проследить в действительности. Недостаток автора *"Персидских писем"* заключается в его знаниях о Персии, а не о Париже и Лондоне: Эратосфен, как мы помним, родился в Кириное, а работал в Александрии.

ЧЕЛОВЕК В КОНФЛИКТЕ С ПРИРОДОЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КВАДРАНТЕ СТАРОГО СВЕТА

От этого довольно общего обзора человеческих способностей мы переходим к более актуальному вопросу: какого рода единство человеческих достижений мы находим в том регионе или, скорее, в тех регионах Старого Света, где, как представляется, берут свое начало потоки современной культуры? Вырвавшаяся из-под моего пера оговорка - уже половина ответа, поскольку мы имеем дело не с одним однородным регионом, а с целым кластером регионов во всех климатических зонах - от арктической тундры до Сахары и Нила, и на всех высотах - от альпийских до морских. Единство доисторической культуры в таких условиях в лучшем случае может быть лишь вопросом степени.

Современная этнология, освободившаяся от веры в непосредственное кровосмешение человечества благодаря распространению менее инфантильных представлений о Ноевом ковчеге, переходит к вопросу достаточности языка как связующего звена, и тут же спотыкается о Вавилонскую башню.

Два современных направления открытий, как правило, определяют результат. Геология дает нам очень большой промежуток времени с тех пор, как северо-западный квадрант начал вновь заселяться людьми после ледникового периода и принял примерно нынешнее распределение суши и воды. Археология, которая в этом аспекте является особой стратиграфией человека, санкционирует увеличение времени с момента появления в Европе не просто людей, а организованных человеческих обществ, что намного превышает период, необходимый или обычно предполагаемый для распространения любого известного индоевропейского языка с любой возможной "родины" в любой регион, где на нем говорили в начале исторического времени. И археологические данные не только позволяют нам обнаружить такие общества, оседло жившие некоторое время на том или ином месте по всей Европе и ее окрестностям; они прослеживают не просто одну "доисторическую культуру", а целый ряд различных типов такой культуры, каждый из которых имеет свое географическое распространение, и распространение, которое расширяется и сужается в разные времена, вытесняя один тип культуры здесь, другой там, и в свою очередь вытесняемый другими.

Нелегко представить масштабы этого разнообразия тем, кто не знаком с физическим состоянием Европы, которая еще находилась в основном на "глухой" стадии эксплуатации. Но это даст некоторое представление о диапазоне контрастов, если мы вернемся к методу Фукидида,^[7] и сравним неэксплуатируемую Европу времен до появления сельского хозяйства с неэксплуатируемой Америкой в момент ее открытия европейцами. Здесь, в тех же географических пределах северной умеренной зоны и с гораздо более простой схемой рельефа, характерной для Нового Света, мы имеем такие разные цивилизации, как

эскимосская, алгонкинская, обитающая в хвойных лесах, гуронов и ирокезов в лиственных лесах, садоводов-мускогеев на юго-востоке, охотящихся на буйволов сиу в прериях, хищных апачей и блэкфитов в предгорьях, прибрежных и тугайных рыболовов на тихоокеанском склоне: В настоящее время их распространение и пересечение столь же узнаваемо по модам на их трубки и прочий дебрис, как и представителей культуры "рядных могил" или изготовителей "band-keramik" в Центральной Европе.

Помня об этой аналогии доисторической Европы с доколумбовой Северной Америкой, давайте классифицируем проблемы существования, которые эти регионы Старого Света предложили доисторическому человеку; и подумаем, предоставив ему весь разум в мире и единообразное телосложение (если угодно), как он должен сформулировать решения, которые должны показать хоть какие-то следы единообразия и все же быть для него решениями одной прометеевской проблемы - как поддерживать жизнь здесь и сейчас?

Вдоль арктического побережья, однородного от пролива Беринга почти до Северного мыса, мы имеем замерзший тундровый регион с характерной тундровой культурой; задвинутой теперь далеко на север с тех пор, как Европа превратилась в обитаемый мир, но прежде широко распространенной по краям сокращающегося ледяного щита. Здесь мы охотимся на крупных животных и морского зверя, а также очень изобретательно ловим мелких оленей; ловим рыбу в больших реках, текущих на север; и в конце концов (небеса знают, через сколько времени или как далеко назад) мы позаимствовали понятие, вероятно, у пасторалей, неосторожно забредших слишком далеко по этим северным речным дорогам через леса, и одомашнили нашего лучшего из зверей, северного оленя; перехватив здесь марш у наших аляскинских кузенов, которые называют их карибу и так с ними обращаются: У *них* не было пасторалей в прериях к югу, чтобы научить их обратному, и когда русские пришли и привезли оленей из Азии, глупые парни выпустили их на волю и охотились на них, пока не съели всех.

К югу от тундры планету опоясывает Великий северный лес, прерываемый лишь безлесным морем. Здесь мы тоже охотимся, ставим ловушки и едим ягоды из подлеска, как алгонкины или тацитские германцы, многие из которых разбирались в скоте не больше, чем алгонкины. Но мы не предоставлены сами себе, как тундровики и алгонкины. Наш лесной мир постоянно находится под угрозой распада, а вместе с ним и наши деревянные ремесла. Любимцы с прирученными животными (плохой спорт для таких спортсменов, как мы) приходят из парковых зон на юг, поднимаются по травянистым полянам, вытапывают подлесок и пугают дичь. Люди спасаются от всего этого "там", потому что никто не может приручить степного буйвола и загнать его в охотничьи угодья; тоже мне спорт, степной буйвол! А еще хуже - люди, которые приходят рубить и сжигать наши великие деревья, вырывать дерн и подлесок, и все для того, чтобы посадить свои причудливые травы с жирными семенами, которые нравятся оленям; и это единственное, что заставляет этих людей драться, если мы или олени заходим на их участки с жирной травой. Эти люди тоже приезжают с юга и юго-востока, и им приходится возвращаться туда за семенами, если их посевы не удались. Конечно, они любят, чтобы их животные были ручными, как и все остальные; но травы - это их первая тетива, как мы говорим, луки.

К югу, охватывая альпийские хребты, за исключением тех мест, где снежные вершины пробивают его ковровый покров, лесной массив меняет свой характер, а не уступает место чему-то свежему на берегах озерного края Старого Света. То тут, то там, на обособленных плато, заключенных среди хребтов (как бассейн Соленого озера и Шошонские плато в Америке), встречаются изолированные травянистые равнины, повторяющие в меньшем масштабе великие луга, окаймляющие Черное море и Каспий. Примерами могут служить

сердце Испании и Малой Азии, а также миниатюрные луга Балканского полуострова, такие как Фессалия и Восточная Фракия.

Именно в южной трети, или примерно там, непрерывного Леса, где лиственные лесные деревья начинают уступать место вечнозеленым, как они сами вытеснили хвойные деревья дальше на север, начинается садоводство и древоводство с мельчайшими подразделениями, характерные для Средиземноморского региона. Назвать это сельским хозяйством - значит преувеличить его масштабы. Это скорее северное продолжение тропического *Хакбау*, как немцы называют те формы выращивания растений, которые обходятся без плуга и лопаты, а используют только мотыги или мотыжки, которые представляют собой не более чем кельты для измельчения земли. Достаточно посмотреть, как греческий крестьянин и его вола, которых Гомер называл "пешими", работают своим вергилиевским плугом в углублениях поля размером не больше кочана капусты, к тому же усаженного оливковыми деревьями, чтобы понять, насколько действительно в этом виде земледелия вол заменяет бедняку домашнего раба. Ведь домашний раб может справиться с *зарра*, похожей на левантийскую мотыгу, там, где вол не смог бы повернуться, но где можно заставить расти пищевые растения, а оливковое дерево будет пышно расти.

Этот вид садоводства действительно очень точно повторяет рацион мускогских земледельцев в юго-восточных штатах, которые составляют так называемые "цивилизованные племена" и, почти единственные среди краснокожих, "все живут самостоятельно и процветают".[8] В Старом Свете, как и в Новом, его распространение тесно связано с определенными пределами осадков и температуры, и прежде всего с тем, в какой степени осадки сконцентрированы в нескольких зимних месяцах, так что сухое теплое лето гарантировано, которое человек может смягчить и даже использовать, если у него есть доступ к многолетней воде. Поэтому в довольно ранние времена он распространился и до сих пор преобладает по всему гористому побережью Средиземного моря, от Сирии через Южную Европу до Алжира и Туниса, и проникает вглубь страны и в леса, пока летние облака и дожди не сдерживают его. В этом регионе его распространения греческие и римские легенды предают веру в то, что выращивание зерновых пришло поздно и заменило основной рацион из плодов деревьев, каштана, грецкого ореха, филберта и желудей.[9] А когда появились "более благородные травы", преобладали ячмень и красная пшеница, как, впрочем, они преобладают и сейчас.

Но это лишь одна часть распространения садовой культуры. Далеко на севере вдоль Атлантического побережья и вглубь материка, где ощущается мягкий атлантический климат, преобладает тот же тип. Его древняя граница прослеживается метеорологически, например, в жалобах Тацита на суровость земель за Рейном. В этом северном регионе зерновые культуры переходят от красной пшеницы к белой, от ячменя к овсу и от того и другого к ржи. Легкость, с которой были акклиматизированы мускогский картофель и томат, и их широкое распространение в настоящее время в Атлантике и Средиземноморье, точно иллюстрируют место, которое занимала примитивная культура мотыги в экономике Старого Света. Ранними памятниками этой культуры, в которой мотыга и плуг одинаково заметны, являются наскальные рисунки "*meraviglie*" над Вентимильей.[10] Прекрасным цветком этой культуры является минойская цивилизация на Крите и Южном Эгейском море. Египетское сельское хозяйство также в значительной степени является мотыжным.

На юго-востоке, за Карпатами, а также внутри них, на великой равнине Венгрии, мы встречаем совершенно иной режим; обширные безлиственные и безлесные луга, простирающиеся за Черным морем и Каспием до подножия гор Северной Персии и отрогов среднеазиатских нагорий. Здесь, если человек хочет сохранить себя, он должен быть

хозяином прирученных животных, которые могут питаться травой и, в свою очередь, поддерживать его. К югу от восточного продолжения лесистой горной зоны, через Малую Азию в Персию, а также к югу от Средиземноморской озерной области и хребтов Сирии и "Малой Африки" Туниса, Алжира и Марокко, которые частично окружают ее, лежит другая группа лугов, Аравия и Сахара, пустынных, но способных поддерживать значительную популяцию кочевых скотоводов по их окраинам и в оазисах, а также время от времени выбрасывать их в вулканические эмиграции.

С точки зрения человека, глубокое различие между северной и южной группой этих лугов, которые в совокупности лежат вдоль великой горной зоны Старого Света с востока на запад, заключается в следующем. Южные пастбища содержат почти исключительно овец и коз; одомашненные лошади появились у них недавно (самое раннее - около 2000 года до н. э.) и с северо-востока; а в качестве транспорта они используют верблюдов и ослов, а не колесные транспортные средства. С другой стороны, у северян достаточно многолетних пастбищ, чтобы можно было использовать волов; они привычно пользуются лошадьми; а древесина парковой зоны, где она переходит в северный лес, использовалась для строительства колесных повозок и плугов. Оснащенные этими основными орудиями цивилизации, колесные кочевники снова и снова проникали в Горную зону с севера, довольно поздно завезли повозку в Египет и, возможно, даже в Вавилонию, хотя, за этими исключениями, на юге так и не возникло вторичного центра тележных людей. Очевидные причины этой неудачи кроются в нехватке парковых зон и многолетних пастбищ для крупного рогатого скота. В лучшем случае Ассирия и Сирия использовали конную колесницу для войны, но эти регионы, как и хеттские колесницы в Малой Азии, ахейские завоеватели Греческого полуострова и галлы в Западно-Центральной Европе, находятся скорее на парковых окраинах горной зоны и среди тех межгорных плато, которые мы уже отмечали, чем на границе собственно пастбищ. В частности, все они ведут оседлый образ жизни и в этом отношении контрастируют с мигрирующими скифскими повозками в северной части Пастбища. Единственные кочевники-тележники в пределах горной зоны - цыгане,^[11] и они, похоже, в основном сформировали свою привычку к жизни на самом большом межгорном плато из всех, обширной столовой земле Персии.

Плуг проследить не так просто. Все, что можно с уверенностью сказать в настоящее время, это то, что это устройство для использования силы крупного рогатого скота, чтобы разбить почву под зерновые культуры, глубоко и равномерно, и, прежде всего, быстрее, чем человек может вскопать ее мотыгой. Своими силами человек едва ли сможет взрыхлить достаточно земли, чтобы обеспечить свой дом зерном, за исключением орошаемых земель. С простейшими плугами он может сделать это и даже больше, и при этом у него остается свободное время для других занятий в течение пахотного сезона. Но пока неясно, в каком регионе впервые начали пахать. Вероятно, это произошло на сравнительно хорошо обводненной и поросшей лесом окраине одного из крупных лугов; но к северу или к югу от Горной зоны или вокруг прерывистых плато в ее пределах - неясно. Предположение о наличии крупного рогатого скота говорит в пользу севера, однако в Вавилонии и даже в Египте крупный рогатый скот был с очень ранних времен. Северная Сирия, похоже, оспаривает с Вавилонией приоритет в производстве пшеницы. Где-то в этом регионе мы можем условно поместить колыбель того, что я могу назвать хлебно-сырной культурой, в которой основными продуктами питания являются зерновые культуры и скот, причем последний ценится за свою силу и молочные продукты, но не в первую очередь за свою плоть.

Распространившись на запад, хлебно-сырная культура подвергается региональным изменениям. На юге, среди средиземноморской вечнозеленой флоры и старого мотыжного земледелия, недостаток летней травы делает крупный рогатый скот бесполезным как для доения, так и для получения говядины; их разводят исключительно для тяги, как показывают их походка и строение, и в то время как сыр поставляют овцы и козы, масло и животные жиры заменяются растительным маслом, главным из которых является олива, характерный средиземноморский продукт, вечнозеленый, глубоко укореняющийся против летней засухи и дающий мясистые плоды. В результате возникает хлебно-оливковая культура, знакомая всем посетителям средиземноморских земель. В лиственных лесах Юго-Центральной Европы на вырубках есть трава и достаточно молока, но разведение коз и овец ограничено, так как подлесок становится все глубже и гуще, а основным источником жиров является лесная свинья: в стране, изобилующей ветчиной и колбасами, мы достигаем культуры хлеба и бекона. Еще дальше и позже, в той мере, в какой лес распахивается полускотоводческим населением, более влажное лето открывает луговые угодья с многолетними травами и возможностью сенокоса. Здесь урожай зерновых может быть настолько велик, что остается кое-что для откорма скота; а к хлебу и сыру фермер северо-западных равнин добавляет говядину. Когда зерна в изобилии, конечно, крупнокостная лошадь севера постепенно заменяет вола у плуга и позволяет разводить ее, как и нас, не для тяговой силы, а исключительно для дойки и убийства. Именно на этом заключительном этапе хлебопашество переходит в Новый Свет и в южную умеренную зону. Это была довольно длинная и полная банальностей история, но суть ее к этому времени уже ясна. Какой бы ни была надстройка социальных институтов, искусств и наук, религии и философии, которую возвели на ней европейские люди, режим, сделавший Западный мир тем, чем он является, с момента возникновения металлургии и до наших дней, в целом был культурой хлеба; основанной на сочетании пастбищной и сельскохозяйственной жизни, в которой крупный скот сотрудничает с человеком в трудоемкой подготовке почвы, требующей выращивания зерновых культур. Но сама хлебная культура всегда дополняется той или иной формой молочного продукта, типичным из которых является сыр. Почти всегда она дополняется еще и жирами: в Средиземноморье - оливками и маслом, что предполагает обширную культуру деревьев, в лесных районах - свиным мясом, а на Атлантическом побережье - маслом и говядиной.

В отношении продуктов питания наблюдается тот же географический контроль: с оливковой культурой идут вина и бренди юга; с лесной культурой - сидры и вишневые бренди Центральной Европы; с обильными зерновыми и луговыми травами - пиво и виски Севера. В деталях, конечно, распределение типов причудливо запутано, но основной контур ясен, и мы получаем первый проблеск целостной европейской культуры, на почти животном уровне региональных фудквестов.

РАСА, ЯЗЫК И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОРЫ ЕДИНСТВА

В нашем исследовании мы отдали предпочтение простой животной борьбе человека с природой за существование по двум различным причинам. Первая - экономическая, а именно: поскольку эта борьба, без всяких оговорок, является борьбой высокоинтеллектуального вида животных за существование в тех или иных условиях, она в равной степени постигает каждую породу или расу этого вида, когда-либо подвергавшуюся воздействию этих условий; и далее, она не более смягчается соображениями языка, чем соображениями расы. Вторая причина - историческая или археологическая. Распространение хлебной культуры датируется таким далеким периодом в истории человека в этом регионе, что можно с уверенностью сказать, что она предшествовала не только

распространению преобладающей индоевропейской группы языков, но даже нынешнему распределению расовых типов. Он, несомненно, достиг Италии и Атлантического побережья Британских островов до того, как туда прибыли брахицефалические "альпийцы"; и тем более до вторжения бореалов в Британию и на противоположные побережья. Действительно, правильнее было бы сказать, что в целом каждый вид человека, который изменил свое распространение, должен был рано или поздно принять типы культуры, соответствующие регионам, в которые он проник, чем связывать распространение любого элемента культуры, столь фундаментального, как завоевание пищи, с миграциями любого расового типа.

Раса, действительно, в Европе, как и за ее пределами, была ничем иным, как фактором единства. Когда мы говорим (на платформах) о европейцах как о "белых людях", мы рискуем забыть о том, что знает каждый практичный человек в нашей аудитории: мы имеем дело как минимум с тремя различными породами людей, которые, действительно, довольно несовершенны в белизне своей кожи, но сильно отличаются в других аспектах строения и телосложения, включая устойчивость к определенным типам климата и региональным заболеваниям, и не в последнюю очередь в темпераменте и качестве их реакции на вызовы природы в виде трудностей или поблажек. Из этих трех пород людей только одна - светловолосые бореальные гиганты (единственные "белые люди" в строгом смысле слова - с дефектами пигмента кожи, волос и глаз) - является сейчас исключительно европейской и обитает в ареале "бореальных" групп животных и растений. Его поборники в этнологической прога ganda, похоже, придерживаются двоякого мнения относительно его раннего распространения: либо его "дом" находился вокруг Балтики, и в этом случае трудно понять, почему его следует представлять как цивилизатор, учитывая культурную отсталость этого региона; либо это было на евразийских лугах, и в этом случае он такой же вторженец в полуостровную Европу, как и его брахицефалический "альпийский" соперник, и его претензии на роль представителя коренного европейского человека должны исчезнуть. Та большая роль, которую он сыграл в европейской истории, частично объясняется его огромной физической силой, превосходящей (как я полагаю) только силу негра, частично - его нежеланием не столько скрещиваться с более пигментированными видами, сколько допускать скрещенное потомство к полноценному партнерству с собой. Даже среди себе подобных у него есть свои критерии, по которым один "белый человек" узнает другого и политически объединяется с ним.

Наиболее сильно внешне контрастирует с бореальным типом средиземноморский брюнет легкого телосложения. То, что его родина находится на юге, что он тесно связан с жителями африканских и аравийских лугов и что он был одним из первых послеледниковых исследователей Атлантического побережья, признается. Возникают сомнения в том, насколько глубоко он проник из этих южных и западных областей в сердце полуостровной Европы. Конечно, по мере продвижения на юго-восток он все больше и больше ограничивается средиземноморским побережьем и, наконец, не имеет ранней монополии даже на острова. В этом отношении показателен контраст между Критом и Кипром. Средиземноморский тип, по сути, подтверждает для антрополога тесное зоологическое родство между юго-западной Европой и северо-западной Африкой.

Но если Европа "заканчивается на Пиренеях", то антропологически она также заканчивается на Балканах или даже на Карпатах; ведь весь Балканский полуостров и большая часть высокогорного ядра полуостровной Европы по существу непрерывны с Малой Азией и следующими на восток частями Горной зоны, в том, что касается человеческого населения, не меньше, чем в животном и растительном мире. Биологическая непрерывность так же полна у Босфора, как и у Гибралтара. Здесь спорным остается не столько вопрос о том,

являются ли "альпийские" типы в конечном итоге анатолийскими, сколько вопрос о том, было ли их распространение в Европе ранним или поздним, и были ли их предшественники здесь преимущественно "бореальными" или "средиземноморскими". Трудно, а возможно, и не нужно решать, что в этом больше виновато - отсутствие доказательств или политический энтузиазм; ведь круглоголовые в доисторической и современной Европе - такая же спорная тема, как и их английские тезки в XVII веке.

К этому в целом троякому анализу европейского человека добавим лишь то, что с тех пор, как старое "сарматское" море сократилось до своих нынешних размеров и оставило открытыми луга между Тяньшанем и Карпатами, происходило неуклонное движение монголоидов на запад, пока не появилась достаточно сильная Московия; и что вдоль северного лесного массива также происходило движение на запад, более медленное, но не менее упорное; и станет ясно, что не в расе нужно искать какую-то единую основу нашей европейской культуры.

Не следует искать такую основу и в языке. Люди часто говорят об индоевропейской речи, как будто они действительно путают лингвистическое родство с взаимопониманием. Но если вы хотите проверить объединяющее влияние родственных языков, соберите в одной комнате валлийца, немца, русского и грека и посмотрите, во что выльется "концерт Европы". Вероятность того, что если они вообще будут общаться, то сделают это на французском, который в строгом смысле слова является "современным" языком; если же вы позволите им писать и дадите им время, то есть шанс, что грек навяжет свой язык остальным трем.

Нет нужды углубляться в этот вопрос, достаточно вспомнить о роковом расколе культуры европейского полуострова, который произошел в результате языкового отчуждения Константинополя от Рима; средиземноморской базы, понимавшей латынь, от той, что думала по-гречески. В этом трагическом отношении, которое турецкое завоевание с его лингвистическим и религиозным продолжением только усугубило, Европа по-прежнему заканчивается на "Спасе"; в то время как величайшие дочери Рима вновь завоевали больше, чем все, что Карфаген когда-либо удерживал в Африке. И возвращение Британии в сообщество наций также совпадает с латинизацией ее речи, на которой в 1611 году была поставлена печать. Как бы поздно это ни было, но в любом случае в предыстории региона распространение одного типа языковой структуры по Европе принесло не мир, а меч.

А что же тогда с религией? Насколько правы были этнологи старшего поколения, когда (скорее вопреки языку, чем благодаря ему) согласовывали свой собственный Олимп с конфедеративными политеизмами Севера? Здесь тоже нужно помнить о датах и очистить себя от энтузиазма. Не от Тацита или Цезаря, и даже не от столь близкой к месту обитания олимпийцев Фракии времен Геродота мы получаем наше современное представление о близости Олимпа к Асгарду. Если верить северным генеалогиям, - а они вряд ли сократили реальный интервал намеренно, - империя Рима достигла своего полного размаха, когда Асгард только строился, или даже раньше. А Олимп строился, по греческим представлениям, за несколько поколений до Троянской войны. В обоих случаях мы имеем дело с политическими и почти историческими сделками; не в таких законченных обществах, как эти, Великие Боги (или их почитатели) отправлялись из "дома" по лицу Европы, чтобы объединить ее.

А когда мы оставляем позади олимпийские сооружения и заглядываем в культы, которые они служили для объединения, такое единообразие, какое они представляют, оказывается слишком большим. Боги под открытым небом Тацита (*Germania*, гл. 9) характерны для

семитских народов и многих других народов, которые либо не ведут оседлый образ жизни, либо сами не могут "замкнуться в стенах", а бродят по "лесам и рощам".

Оставив, таким образом, эти высокие произведения разума, язык и религию, которые оказались лишь слепыми проводниками и "недолгим пребыванием" в этом лабиринте, обратимся к материальным свидетельствам промышленной и эстетической деятельности. Здесь мы, по крайней мере, начинаем получать нечто похожее на свидетельства из первых рук, поскольку у нас есть сам предмет производства, а не впечатления Цезаря о кельтском боге или расшифровка скифских слов Геродотом. Мы можем сами судить о тканях и стилях, и хотя, конечно, у нас есть только предметы наименее скоропортящихся сортов, камень, металл, керамика, в гончарном деле мы имеем, во всяком случае, наиболее подражательное из искусств, а значит, и самую широкую основу для выводов о принципах того или иного стиля. Кроме того, за пределами средиземноморского Средиземноморья гончарные изделия не распространяются далеко: их используют в быту, а не в торговле. Судьба Джона Гилпина типична для тех, кто перевозил на лошади вещи в бутылках. Однако, как и слова, горшки больше говорят нам о границах и контрастах, чем о единообразии. Они ужасно провинциальны и рассказывают свои истории с придыханием. Мы можем проследить наши *Bandkeramik*, *Schnurkeramik*, *Urfirnismalerei* и все эти технологические идиомы по всей карте, как мы можем проследить языки *centum* и *satem*. Но даже если бы мы могли объединить "Bandkeramiker" с "Satemvölker", как предлагают недавние энтузиасты, мы были бы не ближе к общей технологии для Европы, чем к общему языку.

Металлические и даже каменные орудия не слишком помогают нам, хотя торговля ими велась более широко, чем гончарными изделиями, и они образуют более крупные провинции. В современной Европе, таким же образом, перочинные ножи более единообразны, чем молочные кувшины; а там, где они различаются, их можно отнести к меньшему числу типов. Но единства нет, и в настоящее время не предвидится. Если мы хотим чего-то большего, то обращаемся к великим кризисам материальной культуры, таким как появление бронзы, железа, стекла и глазурованной глиняной посуды; и все это мы воспринимаем не как поворотные пункты целого, а как процессы внутри него, затрагивающие то один регион, то другой, в последовательности, которая четко географична и очень изменчива по скорости. Бронзе, например, потребовалось несколько тысяч лет, чтобы проникнуть на континент Европы; железу, возможно, столько же сотен; платине - чуть больше пятидесяти лет, а радио - менее пяти.

Однако из этих вещественных доказательств мы получаем совершенно неоспоримую последовательность стилей во времени в каждой местности, где мы можем обнаружить стратифицированные останки. Мертвецы, как говорится, не рассказывают сказок; горшки же правдивы и красноречивы по той самой причине, что, будучи разбитыми, они мертвы и с ними покончено, и им позволено спокойно лежать в своих мусорных кучах. Интервалы, конечно, мы не можем так легко измерить; но в последовательности мы можем быть уверены, и, сравнивая последовательности на разных участках, мы можем далеко продвинуться в прослеживании распространения и вытеснения стиля, иногда на обширных территориях, а иногда, с помощью географии, мы можем быть уверены в маршрутах, по которым путешествовали инновации. Из этого, однако, нельзя сделать никаких выводов о перемещениях людей: мода на тарелки с ивовыми узорами - не показатель нашей "желтой опасности". Но там, где могут путешествовать произведения искусства, могут путешествовать и идеи; они могут путешествовать прямо через границы расы, языка и даже религии, подразумевая под ними обычаи каждого региона и его эндемичного населения. Несколько купцов, или ремесленников, или философов производят преобразования в

культуре и приводят к единообразию, о котором язык или культовые сооружения не дают нам никаких указаний, или, в лучшем случае, последствия упадка.

Это не просто эфемерный интерес, который привлекает внимание к значению двигателей войны среди этого класса переносимых изобретений. В систематическом виде эта тема мало изучена, но быстрота, с которой действительно важные изменения в оборудовании и организации переходят из лагеря в лагерь и революционизируют не только армии, но и государства, когда речь идет о выживании или поражении, имеет свои иллюстрации во многих фазах войны и относится к великим нивелировщикам национальной или региональной гордости.

Зафиксированные перемещения народов в исторические времена и предыдущие перемещения, вытекающие из языка и других признаков, указывают на давно сложившееся распределение того, что можно описать в метеорологической терминологии как *человеческое давление*; определенные регионы характеризуются либо всегда, либо неоднократно высоким человеческим давлением, и отток людей в циклонические области или вихри низкого человеческого давления в человеческой оболочке (или биосфере) планеты. Типичными регионами высокого давления являются Аравийский полуостров с его повторяющимися кризисами семитских извержений и великие евразийские луга. Типичными регионами низкого антропогенного давления и повторяющихся извержений являются южно-европейские полуострова. Иногда регион играет обе роли, попеременно принимая жителей и выгружая их на другие земли; примерами могут служить Венгерская равнина, Скандинавия и Британия. Другие регионы также вряд ли могут похвастаться собственным населением, но являются простыми путями передачи, как Западная Швейцария и регион Геллеспонта. Я говорю сейчас, конечно, о древних временах. Причины этих периодических перемещений неясны; но сами перемещения и тот факт, что они повторяются на региональном уровне, являются предметом истории.

Среди таких движений выделяются дрейф на запад из Азии в полуостровную Европу в трех параллельных колоннах, через тундру, лес и степь, и вспомогательные южные дрейфы из восточной части Центральной Европы в Балканские земли и вокруг Адриатики. Как мы уже видели, направление этих потоков детально определяется физическими особенностями регионов, а вместе с ними и образ жизни, который должен вести каждый народ, чтобы выжить в пути.

И здесь мы сразу же сталкиваемся с новым фактором, который убедительно свидетельствует о более общем единообразии культуры в пределах полуостровной Европы, чем можно было бы ожидать от ее физического характера. И хотя отдельные люди часто очень быстро реагируют на новое окружение и могут менять свой образ жизни почти так же, как меняют одежду, общества реагируют гораздо медленнее, причем в темпе, свойственном, как правило, самым упрямым их членам. Поэтому, столкнувшись с возможностью или необходимостью изменить привычки, например, в ходе миграции, они должны либо отказаться от нее, как пугливая лошадь, либо (если они согласятся) начать свою новую карьеру, будучи плохо подготовленными и внося коррективы то тут, то там в очень нерабочей манере. Лишь изредка появляется государственный деятель или "законодатель", именно тогда, когда он нужен, чтобы вывести Израиль из Египта в пустыню, а из пустыни - в хорошую землю за Иорданом, и канонизировать новый кодекс поведения, соответствующий новому набору потребностей. Эта социальная инерция, о которой печально свидетельствует политическая история, конечно же, наименее ощутима и наиболее эффективна, когда область перехода имеет пологий уклон; и мы уже видели, что это особенно заметно в районе

паркового края северных лугов, где они выходят на полуостровную Европу. Давайте проследим эту разгадку подробнее.

Как мы уже видели, можно с уверенностью предположить, что в течение долгого времени каждая группа новоприбывших в полуостровную Европу приходила с определенным типом социальной организации, который позволял ей добиться успеха либо в тундре, либо в северных лесах, либо в степи, либо (если она приходила через Босфор) на закрытых плато Малой Азии и за ее пределами. Тундра нас не очень волнует, так как Белое море прорезает ее насквозь и глубоко вдается в лес, отгораживая саамов от самодийцев и их сородичей. Классические описания жителей Северо-Германской равнины ясно показывают, что их культура даже в первом веке до нашей эры была в лучшем случае прерывистым продолжением, в лучшем случае была неполным продолжением пастушеской жизни степной окраины, а менее удачливые племена либо никогда не имели скота, как охотничьи краснокожие соответствующей лесной зоны Северной Америки, либо потеряли его с тех пор, как ушли в лес, и содержали себя охотой и грабежом, как разбитые пасторали, населяющие восточный край бассейна Конго; чатти времен Тацита пользовались тиранической гегемонией, не похожей на гегемонию Пяти народов.

Вероятно, именно этому движению на запад от более чисто пастушеского состояния к менее, мы должны приписать единственное действительно крупное единство европейской цивилизации в поздние доисторические века, а именно, ее социальную организацию в патриархальных домохозяйствах, связанных в кланы и племена. Мы можем сомневаться в том, что этот социальный тип навсегда адаптирован к лесному режиму, в большей степени, чем к индустриальной жизни. Конечно, лесные народы за пределами полуостровной Европы демонстрируют его лишь изредка и несовершенно. Но он характерен для всех пастушеских народов; однажды установившись, он объединяется и сохраняется под воздействием сильных внешних стрессов; и в ранней Европе его способность (при всей прочности его структуры) рано или поздно распасться на более индивидуалистические порядки была нейтрализована постоянным дрейфом новых пастбищных народов на запад от одного из основных мест его обитания. Пастбищная Аравия, заметим мимоходом, с начала истории выполняла ту же функцию для своих маргинальных соседей от Вавилонии до Палестины и Египта.

С другой стороны, теперь мы понимаем, почему феминизм, периодически возникающий в нашем "западном" мире, достигает кульминации на тех этапах его истории, когда этот мир достаточно силен, чтобы на время закрыть пути для вторжения; в далеком прошлом, оставившем нам великих богинь и другие матрилинейные пережитки; в промышленной Вавилонии; в минойских дворцах; в Греции пятого и четвертого веков, как признает Аристофан вместе с Еврипидом и отстаивают Еврипид с Платоном; в *Femmes savantes* возрождающейся Европы; во Франции восемнадцатого века, которая казалась себе такой неприступной; и в Европе *fin-de-siècle* вчерашнего дня, сносящей свои амбары, чтобы построить новые.

Никто не станет утверждать, что эта патриархально-родовая структура благоприятствовала политическому единству или крупным предприятиям любого рода. На самом деле на протяжении всей ранней истории Европы эти сплоченные родственные группы с их внутренней изоляцией и неспособностью оказать что-либо, кроме пассивного сопротивления силам, которые должны были их разрушить, были непреодолимым барьером на пути к чему-либо политически более масштабному. "Если бы только они могли держаться вместе, они бы правили миром", - судит Геродот о Скифии, Фукидид о Фракии, Полибий и

Цезарь о Галлии, Тацит о Германии: каждый с невысказанным послесловием "но слава богу, что они не могут!".

Но хотя патриархальное общество препятствовало росту политической структуры, пока оно оставалось нетронутым, и создавало прочный социальный скелет, на котором можно было выстроить нравы и идеалы, являющиеся одними из самых высоких достижений человека, оно имело свои опасности, и теперь так почти поддалось им, что для того, чтобы увидеть его институты в рабочем состоянии, нам нужно проникнуть в Албанию или в наименее современную глушь славяноязычного Востока. В качестве примера можно привести греческое родоплеменное общество, растворившееся в исторические времена под двойной атакой индивидуализма, промышленного и торгового, с одной стороны, и федерализма городского государства - с другой. Для Аристотеля деревня-община была "колонией" ([греч. *ароікіα*]) или прямым потомством патриархального хозяйства, но он нигде не признает, что город-государство является "колонией" деревни-общины. Напротив, рискуя нарушить собственную теорию государства как естественного порождения политической природы человека, он делает акцент на "человеке, который первым познакомил их друг с другом", как на "авторе величайших преимуществ". И именно этот процесс "представления их друг другу", когда члены доселе автономных кланов стали друзьями, а не врагами, и отныне все были гражданами одного города-государства, завершил тот период миграций и политического хаоса, который отделяет минойскую эпоху от эллинской в греческих землях. Миссия Рима среди племенных обществ Италии по сути та же самая; и именно отсутствие такого миссионера политического просвещения за границами Римского государства в его имперской полноте делает раннесредневековые проблемы, которые по сути были теми же самыми, столь медленно решаемыми.

Мы находимся на границе истории и покидаем полуостровную Европу - ибо луга все еще остаются за ее пределами, как отдельное географическое образование, - в которой разнообразные расы, и языки, и религиозные схемы, и материальные культуры почти полностью распространялись в форме обществ одного гомогенного типа, автономных, правда, как государства в самых слабых федерациях, и ежегодно вовлеченных, где-нибудь в межплеменную вражду и войну; Но они были достаточно знакомы с обычаями друг друга, чтобы знать, что в их основе лежат одни и те же большие потребности, не просто "жить", а "жить хорошо", и уважать это общее наследие межплеменных обычаев, настолько, что в своих самых крайних отношениях с принятыми чужаками они были склонны "вести войну как мягкие люди". Для гомеровской аудитории было несомненным доказательством того, что Одиссей действительно находится "на задворках", когда циклоп не смог повести себя, когда в его пещеру пришел чужак: он был "чудовищем, знающим не по правилам".^[12] Это была критика отчаяния, как у М. Леви-Брюля: ведь у циклопа была "воля к власти".^[13]

Итак, здесь была социальная структура и политический мир, *ойкумена*, где *люди* могли *жить*, терпимо относясь к довольно большим различиям в деталях, в рамках общего единообразия: ведь племенное общество в Средней Италии или даже в Западной Греции, как мы впервые видим его, отнюдь не было однородным с племенным обществом за Альпами во времена Цезаря и Тацита. Но если не считать этих вариаций, племенная Европа представляла собой единое целое; и так было до тех пор, пока не возникало новых проблем в отношениях между человеком и природой, которые могли бы нарушить баланс, установленный той культурой хлеба, о которой мы только что говорили. Ведь патриархальные племенные общества, какими мы их наблюдаем, например, в Албании, - это не больше и не меньше, чем политический аспект этой культуры, и их разновидности и отклонения

находятся в тесной взаимосвязи с теми разновидностями, которые, как мы видели, принимает Хлебная культура.

Точно так же разрушение этой социальной структуры происходит шаг за шагом в связи с двумя большими изменениями, которым подвергается нормальная хлебная культура. С одной стороны, первобытная самодостаточность (ретроспективный идеал греческой политической мысли) была нарушена безвозвратно, как только был установлен контакт с регионом, подобным древней Скифии, где, по словам Геродота, "не бывает землетрясений и выращивают пшеницу на продажу"; ведь в горной зоне вы никогда не защищены от потрясений и почти никогда не имеете излишков зерна. Вступив в заморский контакт с подобными странами, стало выгоднее покупать зерно там и платить за него, увеличивая производство нефти и вина, чем выращивать все у себя дома; в процессе обмена появился новый, "безграничный" источник богатства.

С другой стороны, масло и вино требовали гораздо меньше труда, чем зерновые культуры, и давали больше свободного времени (что для греков означало возможность заняться чем-то другим), а современное открытие минеральных богатств и многих видов ремесел, опять же в значительной степени (хотя и не полностью) привнесенных из-за океана, создало еще один источник богатства, не менее "безграничный" и опасно неуправляемый, в мире, где богатство любого рода было буквально "так мало хорошего". И это промышленное богатство, как и его торговый аналог, было личным богатством, целиком и полностью обязанным мастерству и натиску, и ни в коем случае не клану или сородичам. Когда поэт проклинал открытие металлов, он указывал на "ключевую отрасль" всего промышленного развития; а когда он проклинал изобретение мореплавания, он бил в корень всех проблем, которые открыли автономным племенам хлеборобов в полуостровной Европе земли, иначе созданные и наделенные природой, эксплуатация которых вначале казалась такой простой и очевидной, но на самом деле стала такой глубокой революцией для обществ, члены которых попытались это сделать. Древо познания добра и зла было для него корабельной сосной.^[14]

Но распад раннего европейского общества и культуры под воздействием контактов с регионами за пределами Европы - это не дело доисторических времен. Задача данного очерка выполнена, когда он представил это общество и культуру как разумную попытку человека "хорошо жить" в исключительно европейском мире.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Маретт, *Антропология*. Библиотека Домашнего университета.

Дж. Л. Майрес, *Рассвет истории*. Библиотека Домашнего университета.

ПЯТНАДЦАТЬ:

[1] Эта глава не была подвергнута редактированию профессором Майресом, поскольку остальную часть книги он не видел. Находясь некоторое время за границей на военных работах, с ним невозможно было связаться; поэтому мы сочли лучшим напечатать его статью в том виде, в каком она была написана за несколько месяцев до прочтения лекций.

[2] Геродот, viii. 144. После битвы при Саламине, когда посланник Ксеркса предлагает афинянам отказаться от греческого дела, они говорят, что не могут предать то, что "одной крови и одной речи, и учреждения богов у них общие, и жертвоприношения, и образ жизни схожий".

[3] Подробнее см. раздел о Геродоте в "*Антропологии и классике*", а также E.E. Sikes, *The Anthropology of the Greeks*.

[4] Фукидид i. 6 [Greek: polla d' an kai alla tis apodeixeie, to palaion Hellênikon omoiotropa tô nun barbarikô diaitômenon].

[5] [Greek: tou gar logon eontos xynon, zôousin oi polloi ôs idian echoutes phronêsin].

[6] [Greek: anthrôpoisi pasi metesti ginôskein eautous kai sôphroneein].

[7] Фукидид, i. 5. Он тоже, как водится, иллюстрирует первобытный Старый Свет, огибающий берега Эгейского моря в Греции, современным Западом в глуши Этолии.

[8] Farrand, *The Basis of American History*, 1904, p. 270.

[9] [Греч. balanêphagoi andres], "люди, поедающие желуди", из греческой традиционной этнологии.

[10] Бикнелл, *Доисторические наскальные рисунки в итальянских Приморских Альпах*, Бордигера, 1902; *Дальнейшие исследования*, 1903. Я начинаю подозревать, что набросанные и заштрихованные ограждения, сопровождающие рисунки волов, плугов и людей с мотыгами, могут представлять собой участки для возделывания земли.

[11] Ценной информацией о цыганах я обязан моему другу доктору Джону Сэмпсону из Ливерпульского университета, но он ни в коей мере не несет ответственности за ее интерпретацию.

[12] *Одиссея* ix. 428 [греч. pelôr, athemistia eidôs].

[13] *Odyssey* ix. 214-15:

[Greek: andr' epeleusesthai megalên epieimenon alkên,
agrimon, oute dikas en eidota oute themistas].

[14] Гораций, *Эпос* xvi. В его "лучшей земле".

Non huc Argoo contendit remige pinus,
Neque impudica Colchis intulit pedem....
Iuppiter illa piæ secrevit litora genti,
Ut inquinavit ære tempus aureum;

Ære, dehinc ferro duravit sæcula; quorum
Piis secunda, vate me, datur fuga.

III

ВКЛАД ГРЕЦИИ И РИМА

Может показаться верхом парадокса начинать рассуждения о Древнем мире с утверждения о том, что единственной подлинной и важной историей является современная история. Однако размышления над этой доктриной покажут, что она не только согласуется с серьезным и устойчивым интересом к тому, что называется античностью (и вообще к прошлому), но и является его единственным рациональным основанием и оправданием. Если бы прошлое действительно было прошлым, оно было бы мертвым и покончило с ним, и для нас, живых, было бы мудро позволить мертвым хоронить своих мертвецов. Многое из того, что было сделано и выстрадано под солнцем, действительно уже не вспомнить, и оно похоронено в забвении. В таком забвении кроется факт и свидетельство прогресса. Не бойтесь его призрака"; никакая некромантия не может и не должна вызывать ушедших духов или заставлять их произносить значимые речи перед живыми людьми. Цепь звеньев, некогда связывавшая этап за этапом человеческой истории, где-то навсегда прервалась; и когда мы прослеживаем в памяти расы или отдельного человека Ариадну-зацепку, которую мы здесь называем "единством истории", она исчезает где-то за пределами нашего зрения в темной глубине и бездне времени. Правда, в последнее время археология и антропология бросают свои поисковые лучи во тьму, проникая чуть глубже, чем раньше, в туман, окружающий истоки нашей цивилизации; но перед этой тускло освещенной областью предистории все еще лежит и всегда будет лежать непроницаемая пелена. По мере того как мы снова мысленно движемся вперед по течению времени, свет, доступный нам некоторое время, увеличивается, увеличивается, пока мы не достигаем настоящего, где он грозит ослепить нас своим ослепительным избытком, а затем внезапно меркнет и гаснет в сумерках и окончательной тьме, которой скрыто от нас будущее. Из всего потока истории наш лучший или предельный интеллект освещает лишь небольшую часть, да и то несовершенно.

Наше невежество бесконечно превышает наше знание", - и мудрого историка отрезвляет, но не обескураживает это напоминание о границах его возможного понимания. Ни далекое прошлое, ни далекое будущее не могут быть ни объектами познания, ни, правильно говоря, субъектами суждения. Если наше ненасытное любопытство вечно находит себе удовлетворение, мы также помним, что ни в прошлом, ни в будущем мы не живем, что мы действуем и на нас действуют, определяют или определили для нас, что мы делаем или должны делать, что мы страдаем или должны страдать. Только настоящее реально, и только о нем возможно подлинное знание. Но если это так, то также и то, что только из него мы можем узнать истинную природу. Что мы должны узнать (или погибнуть в слепоте), так это то, чем мы сейчас являемся и где мы сейчас находимся. Все остальное так называемое знание или понимание, если только оно не способствует выработке истинного суждения о нашем нынешнем "я", о нашей нынешней ситуации и мире, - лишь суэта или дрова, в лучшем случае риторический прием для того, чтобы представить себе или другим то, о чем мы так судим в отношении одного и другого. Подлинное понимание, как бы оно ни маскировалось под хронику или пророчество, всегда относится к настоящему или ни к чему.

Но это настоящее - не сиюминутное место встречи двух вечностей и не тот краткий отрезок времени, который психологи называли "мнимым настоящим". Его содержанием является все, что не является мертвым прошлым или нерожденным будущим; это все, что еще или уже живет, что еще или уже действует и формируется в нашем внутреннем "я" или в нашем внешнем окружении - словом, то, что современно, созвучно нашим нынешним поступкам и страданиям. По отношению к такому настоящему бесполезно пытаться установить границы датировки до или после. Новая концепция единства истории встает перед нами, когда мы осознаем, что Прошлое и Будущее не *отделены* от Настоящего, но встречаются и становятся единым целым в своей живой и конкретной актуальности. Это факт, центр, к

которому сходятся и от которого расходятся все радиусы; и в Настоящем Прошлом и Будущее живут и существуют, вместе и одновременно.

Помня об этом, мы подходим к записям истории в новом духе и с новой надеждой. Мы не хотим знать ни истоков, ни концов, мы не ожидаем космогонии и не ищем апокалиптического видения. Наша цель - понять, что мы собой представляем и где мы сейчас находимся, и мы понимаем, что для того, чтобы понять это, мы не должны ограничивать наше исследование только тем, что было приобретено или выросло недавно. Ни мы сами, ни наше окружение не ограничены хронологическими рамками; мы современны пирамидам так же, как и Эйфелевой башне. Мы не просто наследники, а воплощение веков. Как наши тела - всего лишь формы, в которых мирские силы Земли продолжают свою безвременную деятельность, так и наши духи, наши умы, наши сущности - это формы, в которых другие духи, ныне забытые или смутно помнящие, все еще живут, движутся и имеют свое существо, выполняя работу, которую, пока их имена еще были названы, они начали или продвинули. Не из благочестивой благодарности мы должны трудиться, чтобы спасти память о них от быстро надвигающегося забвения, но потому, что только так мы сможем достичь того знания о себе и своем мире, которое для нас, живых людей, важно все и только оно. Такое изучение не лишит нас награды, которую мы ищем. Приближаясь к трудам историка, мы не будем ревновать, потому что он приходит к нам с рассказом, или, как мы его называем, с "историей" - повествованием о "старых несчастьях и давних сражениях". И хотя он так излагает историю, разбивая ее на части, наполовину скрывая, наполовину раскрывая ее логические связи и конечное единство, ее реальный смысл, ее конечное значение, которое также является ее настоящим, - это отчет о том, что мы сейчас собой представляем и в какой ситуации мы сейчас находимся; и если каким-то образом для каждого из нас ее послание не превратится в такой отчет, не сублимируется в такое квинтэссенциальное суждение о настоящем, история останется лишь "сказкой, состоящей из шума и ярости, ничего не значащей". Она в глубочайшем смысле бесполезна для нас, если только в конце концов мы не можем сказать: "*De nobis fabula narratur*" - это *наша* история, которую мы слушали.

Это особенно верно в отношении истории Древнего мира - мира классической античности. Это не мертвый мир; его дела и мысли не ушли в прошлое, а все еще живут, все еще "дышат и горят" в нас. Из них во многом состоят наши нынешние "я" и наш нынешний мир. Не только, повторяю, в том смысле, что тогда были заложены основы того и другого, не только в том смысле, что мы являемся наследниками трудов наших предков. Мы - греки и римляне, ставшие теми, кем мы являемся сейчас, благодаря их поступкам, мыслям и опыту, наш мир - их мир, на более поздней стадии эволюции, никогда не прерывавшейся, но всегда единой и единственной. Наши рождения и смерти - лишь сон и забвение в непрерывной биографии духа, который не над нами, а во всех нас, является героем истории европейской цивилизации, которая сама является частью истории человечества. Таким образом, история античности, и особенно классической античности, - это запись мыслей и поступков нашей собственной юности.

Наши поступки (а также наши мысли) до сих пор путешествуют с нами издалека, И то, кем мы были, делает нас теми, кто мы есть.

Именно в таком духе и с таким убеждением я приглашаю вас подойти к изучению классической античности - не просто с благодарностью и благоговением, не просто с праздным и бесполезным любопытством, а как искателей знаний о себе и своем мире. Ибо какое еще знание имеет значение?

Этот поиск - лишь начало пути, который должен продолжаться всю жизнь. Возможно, я ошибаюсь, называя его началом, и есть другие, кто хотел бы и предлагает вам начать раньше. Я могу лишь попросить вас начать с того, с чего начал я, или начать самому. Во всяком случае, если вы начнете позже или в другом месте, я уверен, что вы потеряете много света на своих нынешних "я" и на свой нынешний мир. Моим собственным искушением было остановиться слишком рано и перепрыгнуть промежуточный период - "Средневековье" - между древностью и современностью. К счастью для вас, у вас есть проводники, которые укажут вам путь выгодного и поучительного путешествия по неизвестной мне или несовершенно изученной земле. Однако я должен, не споря ни с кем из моих коллег-лекторов, сказать пару слов о том, что истинное начало современного разума и его мира - нашего разума и нашего мира - лежит позже и в другом месте, нежели в классической античности. День рождения и место рождения этого разума и его мира определялись по-разному. Нам предлагают найти одно, скажем, в конце XVI века, а другое - не с той же точки зрения - на равнинах и в лесах Северной Европы, в пустынях Аравии или в каком-то еще более туманно обозначенном регионе Востока. Но я должен заявить о своей убежденности в том, что наша цивилизация - и я особо помню, что мы англичане, - не только по происхождению, но и по сути своей является греко-римской, измененной, несомненно, под влиянием неизвестных влияний на ранних стадиях, но все же греко-римской, выросшей до более крупного роста и более ясного самосознания, сформированной до своей нынешней формы той же жизненной и жизнеутверждающей силой, постоянно оживляемой и вновь освещаемой размышлениями о своем собственном прошлом. Это настоящий инстинкт, который в этой стране все еще основывает нашу систему высшего образования на изучении языков и литературы классической древности. Мы, англичане, являемся сонаследниками, то есть потомками классической античности, вместе с Францией, Италией и Грецией, да и с Германией, ибо европейская цивилизация - и не только европейская - это, повторяю, по сути своей все еще греко-римская, а не тевтонская или семитская. По крайней мере, если это наследство не принадлежит нам по происхождению, то оно принадлежит нам по усыновлению, и мы в равной степени являемся законными членами семьи. И узы такого духовного родства ближе и прочнее, чем кровные, если, конечно, кровные вообще существуют.

Дела и мысли, о которых я буду говорить, - мечты, планы, надежды и стремления - несомненно, принадлежат и нам, это материал и вещество нашего существа, наш внутренний *гений*, наше руководящее и контролирующее "я", то, что мы в юности представляли и задумывали, во что верили, что в более зрелом возрасте задумали и отчасти осуществили. Если мы обратимся внутрь себя, то не сможем прочесть их там, потому что символы малы и блеклы; но когда мы слышим, как их история пересказывается профессиональными историками, мы осознаем ее как запись прошлого, которое является нашим собственным, и в то же время это прошлое, которое мы разделяем с другими народами, которые являются нашими партнерами в работе по сохранению, углублению, расширению, обогащению современной цивилизации Европы и мира.

В большинстве из нас во все времена и в каждом из нас в большинстве случаев эти влияния и их действия лежат глубоко под порогом сознания, некоторые из них глубже, чем может прозвучать любой отвес самоанализа. Они также являются невидимым фундаментом социальной и политической надстройки, в которой мы живем. Или, если воспользоваться другим примером, они образуют плодородную почву, в которой мы, со всей нашей деятельностью и институтами, укоренены и из которой мы черпаем немалую часть нашей духовной подпитки. Поэтому здесь и сейчас очень уместно рассмотреть их, ибо в этой идентичности основ кроется первичное единство нынешней рассеянной жизни Европы,

которая распалась на столь многочисленные и столь сильно различающиеся течения национальной жизни. Все мы духовно исходим из одного и того же древнего дома, и хорошо и мудро вспоминать о нем. Так мы и другие будем тем более расположены вновь скрепить старые узы и сплести новые, которые однажды смогут восстановить в более широком масштабе, в более организованной полноте и более действенной силе первозданное единство, которое интересы и страсти с грубой жестокостью, по крайней мере внешне, нарушили и растворили, а потому на время задержали или ослабили.

У меня много предшественников в задаче ответить на вопрос: "Чем мы обязаны грекам? Любой ответ, который я должен предложить, должен быть несовершенным в имеющемся в моем распоряжении объеме; он также должен быть абстрактным; и, наконец, он не может не быть по форме догматическим. Но я думаю, что не будет лишним сказать, что именно грекам мы обязаны самой концепцией цивилизации, а через нее в значительной степени и самим ее существованием. Истина этого более очевидна, если мы сформулируем ее иначе, сказав, что греки впервые четко осознали контраст между варварским и цивилизованным состоянием человечества и избавили себя и нас от первого, определив второе и попытавшись, не без успеха, утвердить его в реальной действительности. Несомненно, и до них люди ощущали давление варварства внутри и снаружи и строили мечты о чем-то лучшем, но именно греки впервые определили и задумали идеал и тем самым сделали возможным его воплощение. Их отличительная особенность заключалась в том, что они поставили перед собой задачу не просто представить, а придумать идеал цивилизованной жизни, и, узко и абстрактно подойдя к цели, они вычленили основные существенные линии ее структуры, постоянные законы ее развития и благополучия. При этом они открыли необходимость и действенность знания для ведения человеческой жизни, индивидуальной и коллективной; и нашли в знании не просто средство для жизни, а новую и возвышенную форму самой жизни, поднятую над сковывающими условиями, разочарованиями и огорчениями чисто практической жизни. Так они создали науку и философию, завещав нам идеалы и результаты одной и другой. Мы можем пока определить их вклад как заключающийся в мысли о Цивилизации через Знание, мысли, которая была не просто мыслью, а мощным и эффективным инструментом действия, не просто идеалом, а идеалом, управляющим, направляющим и реализуемым в действии и жизни.

Мы также должны признать еще одно мощнейшее влияние, проводниками которого они были, - тесно связанное с другим. Греки впервые четко сформулировали идеал Свободы и сознательно следовали ему. Я говорю, что он был тесно связан с другим, поскольку они подразумевали под ним не только свободу от физических или политических ограничений, но и внутреннюю свободу от предрассудков и страстей, и они считали, что знание и свобода делают друг друга возможными. Мы можем изменить нашу формулу и переформулировать их вклад как идею и факт цивилизации, рассматриваемой как процесс в Свободе и для Свободы под контролем Знания или Разума, каждый из которых вдохновляет, направляет и оплодотворяет другой. Теория и практика, таким образом, сотрудничают и помогают друг другу двигаться вперед; каждая из них в своем продвижении освобождает другую для дальнейших усилий. Несколько способностей человеческого духа гармонично взаимодействуют друг с другом во взаимном уважении и взаимном союзе. Отсюда вытекает еще одна отличительная черта греческого идеала - цельность или всесторонняя полнота; в нем нет односторонней настойчивости на том или ином элементе человеческой природы, нет тенденции к аскетическому искажению, нет страха или ревности к тому, что является просто человеческим, запятанным его животным происхождением или мирскими ассоциациями.

Но не стоит преувеличивать. Этот идеал был несовершенен в определении, еще более несовершенен в исполнении и реализации. Было бы нелепо полагать, что его придерживались все греки; на самом деле его отстаивало лишь меньшинство. Те, кто сейчас находит в ней импульс и руководство греческой истории, могут оказаться в затруднительном положении, если им придется предъявить доказательства своей веры, и они будут вынуждены признать, что против их интерпретации можно многое возразить. Во-первых, следует признать очевидное отсутствие внутреннего единства в греческом мире, разделенном на мелкие и враждебные друг другу гражданские группы, а во-вторых, слабую согласованность каждой из этих групп внутри себя (ведь каждая из них, можно сказать, раздиралась внутренними фракциями). Общеизвестно также, что греческая цивилизация покоилась на рабстве, так что варварство не было изгнано, а осталось как внутреннее и постоянно присутствующее зло. Свобода и просвещение не были ни в мыслях, ни на практике предназначены для всех людей, но только для греков, а среди них в реальности - лишь для привилегированного меньшинства. Представление о цивилизованном мире или даже о цивилизованной Греции если и существовало, то только в чувстве или воображении, а не в ясном видении или отчетливой мысли, тем более не в качестве идеала практической политики. С другой стороны, столь узко понятый идеал *в принципе* не ограничивался "избранным народом" или одним сортом крови. Он представлял собой программу, распространяющуюся на всех, кто мог доказать свое право считаться членом общей расы человечества. По мере того как исчезали особенности греческой цивилизации, все яснее вырисовывались черты этого общего человечества, и грек, когда ему приходилось отказываться от своего приходского и провинциального мышления, оказывался уже по духу готовым занять свое место гражданина мира. Он выучил свой урок, и весь мир пошел к нему в школу, чтобы сначала узнать от него, что такое цивилизация, а затем улучшить его наставления.

Мир так и поступил, но не навсегда; ибо всякий раз, когда человечество, по крайней мере европейское, начинало терять веру в мечту о цивилизации или вновь освобождалось от угрозы внешнего или внутреннего варварства, оно неизменно возвращалось к мысли и жизни Греции и неиссякаемо черпало из нее новый свет и новые плоды, ибо это его собственная мысль и его собственная жизнь, а в жилах его еще текла свежесть и бодрость, нежность и надежда его бессмертной юности. Размышляя о незабвенном долге, которым мы обязаны Греции, мы воскрешаем в памяти то, что дух, который ныне живет и движется в нас, не только совершил когда-то, но и продолжает совершать в каждом новом поколении, совершая все лучше, если он повторяет свои прежние достижения с большей сознательностью и более продуманной тщательностью. Мы тоже должны здесь и сейчас определить, что мы понимаем под цивилизацией, под знаниями, под свободой. Иначе наше будущее будет определяться за нас, а не нами. Что должно получиться из этой борьбы? Просто все, что может из нее выйти, или что-то, что мы подразумеваем, *должно* из нее выйти? Конечно, если мы не хотим оказаться банкротами перед нашей нынешней проблемой, мы должны пройти школу Греции, Рима, классической античности и, в конце концов, всей истории, то есть нашего собственного опыта в целом; иначе из распространяющегося хаоса не родится заново ни один цивилизованный космос. Наша цивилизация потрясена до основания, перед нами и нашими потомками стоит задача вновь построить в Европе город, пригодный для жизни человека; и при его проектировании и реконструкции мы должны брать пример с наших предшественников, которые первыми нашли путь спасения от внешнего и внутреннего варварства, делая для нас и в нас то, что мы сделали бы для и в наших преемниках.

Первым и самым очевидным достижением греческого разума стало освобождение себя в сфере воображения. За прекрасными творениями греческого искусства скрывается темный и уродливый фон, но он все-таки скрывается за ними. Это было его первое завоевание. Под магическими чарами искусства ненавистные и ужасающие формы варварской религии отступили, и мир воображения был заселен благодатными и привлекательными фигурами. Греческий пантеон, при всех его недостатках, - это мир достойного и прекрасного человечества. Ни один шип или угроза не омрачают его яркой красоты. В целом боги, являющиеся его обитателями, очеловечены и гуманны, они друзья и союзники людей, поэтому не чувствуют себя униженными или беспомощными в отношениях с ними. Боги и люди одного рода", и их общий мир - это мир, в котором люди чувствуют себя как дома. Мрачные тени есть, но они не скрывают никаких тайн, которые бы ужасали и не давали покоя человеку. Воображение свободно следовать своим собственным законам и создавать прекрасное и любимое. Язык больше не тиран, но добровольный и ловкий слуга, а греческий язык, отражающий, как и все языки, дух своих пользователей, является самым совершенным инструментом, который когда-либо придумывал человеческий разум для выражения своих мечтаний. Созданные тогда произведения с тех пор преследуют разум Европы, как страсть, и мы вправе говорить о них как о бессмертных, "радости на века".

Таким образом, греческий разум очеловечил свой мир и тем самым очеловечил себя, или, скорее, одухотворил, не растягивая до предела нити, связывавшие его с миром. Но он не остановился на этом, и мы поступаем неправильно, если останавливаемся исключительно на его триумфальных достижениях в литературе и искусстве. Ведь "речь создала мысль, которая есть мера вселенной". Греки были не только высшими художниками, но и пионерами мысли. Они впервые измерили Вселенную, в которой жили, утверждая, что разум человека - это ее мера, и она поддается и подчиняется разуму. Мир, в котором они жили, был не только прекрасен для воображения, но и разумен, пронизан и управляем для интеллекта. Пути его и все в нем было закономерно и упорядоченно, предсказуемо, объяснимо, а не эксцентрично, хаотично, озадачивающе и непостижимо. Природа была не только познаваема, но и управляема благодаря знанию о ней - это было царство, над которым человек мог властвовать, делая его все более и более пригодным для жизни домом. В ней, пользуясь ее помощью, он строил свои дома и города, уютно устраиваясь в своих жилищах. Но мысль, позволившая ему заложить надежный фундамент, экономический, социальный или политический, для своей жизни, имела другие задачи и обещала другие плоды. Греческий ум заинтересовался знанием ради него самого и самого себя как познавателя своего мира.

Вторым и более важным творением греческого разума стала наука или науки. Ни в одной более ранней цивилизации мы не можем обнаружить ничего, кроме слабых зародышей этой науки, в то время как в греческой цивилизации она расцветает и плодоносит почти сразу. Прежде всего, мы должны думать о математике, арифметике, геометрии, оптике, акустике и астрономии, но мы не должны забывать и о более поздних и, возможно, не совсем успешных достижениях в физике и химии, ботанике и зоологии, анатомии и физиологии. Несомненно, особенно в тех науках, где требуются эксперименты и которые оказались столь плодотворными для расширения наших знаний, были серьезные недостатки, и слишком много доверия возлагалось на простые наблюдения и поспешные догадки; но то, чего они достигли в науке, не менее, а скорее более чудесно, чем то, чего они достигли в искусстве. Идея науки была там, освобожденная от ограничивающих ограничений практической необходимости, идея свободной и потому еще более мощной науки. Вся физическая - и не только физическая - среда человеческой жизни была объявлена ​​проницаемой для

человеческой мысли и, следовательно, управляемой человеческой волей или, во всяком случае, уже дружественной и поддающейся человеческим целям.

Но было сделано и третье достижение. Греческий разум осознал себя знающим и, следовательно, властелином и хозяином своего мира. Обратившись внутрь себя, он открыл себя как центр своей вселенной и отправился исследовать эту новую внутреннюю сферу бытия. В осознании самого себя он нашел неисчерпаемый интерес и силу. Так она создала философию, свой последний и величайший дар человечеству. Тем самым она освободилась даже от пут Науки, которая стала ее слугой, а не хозяином, и в то же время окончательно освободилась от сужающего и ослепляющего влияния страсти и воображения и всех оков чисто практических потребностей и ограниченности. Здесь же он зафиксировал идею или идеал. Жизнь без размышлений о жизни, без самоанализа, самоизучения и самопознания - это жизнь, недостойная человека". Тем самым она открыла "я", более глубокое, чем физическое существо человека, и окружающую среду, более широкую и реальную, более стабильную и постоянную, чем физический космос, обнаружив в одном и другом нечто более долговечное, существенное и ценное, чем показывает себя наука или экономическое и политическое благоразумие, но что одно только придает смысл и ценность одному и другому. Так впервые в сознании человека возникла концепция жизни, не утонувшей в природе и практике, но превосходящей их и являющейся целью или смыслом их существования - жизни интенсивной деятельности, неизменного интереса, неисчерпаемой и вечной ценности.

Эта жизнь на протяжении всего периода существования греческой мысли понималась слишком узко. О ней часто думали и говорили как о жизни зрителя, стороннего наблюдателя или созерцателя, как о жизни замкнутой или изолированной, отрезанной от того, что мы должны называть обычными человеческими делами и заботами, жизни, в которую мы или, по крайней мере, немногие из нас могли в редкие промежутки времени и при исключительно благоприятных обстоятельствах впадать или переноситься. Однако в принципе она была открыта для всех, и уж точно не ограничивалась теми, кто был привилегирован по рождению, богатству или социальному положению. Она не была наградой за магическую благосклонность или аскетические упражнения, ее достигал проторенный путь лояльного гражданина и решительного студента. В нем не было ни эзотерической тайны, ни потустороннего мира. И если достижение ее было высокой привилегией, то ее достижение влекло за собой настоятельную обязанность спуститься в обычный мир, чтобы наставлять, просвещать, утешать, помогать, играть роль в великом деле и работе человеческой цивилизации. В каком-то смысле это было и остается самым постоянным и плодотворным даром Греции европейскому миру.

Итак, вот три идеи или идеала, которые греки внедрились в саму структуру и субстанцию современного разума: идея искусства, идея науки, идея философии; во всех трех идеях были представлены и еще более глубоко внедрены идеи свободы как мотива и цели цивилизованной жизни и знания как ее проводника и союзника. Может показаться, что я слишком много остановился на теории и недостаточно сказал о конкретном вкладе Греции в практическую разработку определенного типа или типов корпоративной жизни, таких как город-государство; но факт остается фактом: в греческой цивилизации теория постоянно опережала практику, и она наделила человечество гораздо больше идеями или идеалами, чем практическими иллюстрациями или образцами для подражания. И все же не стоит преувеличивать или представлять эти идеи как просто утопические или такие, о которых только мечтают. Брожение, которое они вызвали, разорвало ткань греческих социальных и

политических институтов, но оно прояснилось и стабилизировалось, как энтузиазм юности может превратиться в трезвые замыслы серьезного и энергичного человека.

Зрелище распада греческой цивилизации не из приятных. Слава, которой была Греция, исчезает из мира, оставляя его серым и тусклым, но было и нечто худшее: упадок, вырождение и коррупция. Заикливаться на этом - грех Хама. Тем не менее произошедшее не было простым рецидивом варварства, а, напротив, вытеснением формы цивилизации, сделавшей свое дело, другой формой, менее привлекательной, но более прочной и основательной. Римляне выглядят взрослыми и серьезными людьми по сравнению с вечной юностью Греции (греки были "всегда детьми"), но они прекрасно осознают, как многому они научились и должны были научиться у своих предшественников в деле цивилизации мира. Настолько, что во многих областях цивилизованной жизни они считают себя подражателями греков и воплощают их идеи. В этом они были менее чем справедливы по отношению к самим себе, ведь даже в мире искусства они продолжали творить; и, конечно, в литературе они создали произведения, недостойные стоять рядом с избранными ими образцами. Особенно они создали прозаический стиль, который, не переставая быть художественным, служил трезвым и серьезным целям политического ораторства и исторической летописи. Но больше всего их особый гений проявился в прикладных искусствах, которые ввели греческую науку в жизнь в архитектуре и инженерии. Их дороги, мосты и акведуки до сих пор свидетельствуют о них. Было бы большой ошибкой отказывать им в плодотворном прогрессе в науках, потому что их открытия так быстро подтверждаются на практике и так мало отделяются в выраженной теории от их применения.

Но прежде чем перейти к подсчету их вклада в европейскую цивилизацию, следует исправить одно заблуждение, которое слишком легко возникает в результате случайности нашего воспитания. В Англии принято концентрировать внимание на коротком периоде истории Рима, игнорируя, с одной стороны, ранний республиканский период, а с другой - поздний императорский. Таким образом, для нашего воображения теряются те фигуры и их деяния, которые, например, Шекспиру казались наиболее характерными для Рима, а для нашего более вдумчивого рассмотрения - те достижения, которые наиболее глубоко сформировали ткань Европы. Последнее - более значительная потеря, и здесь мы должны помнить, что именно история *императорского* Рима наиболее актуальна для нашей цели и наиболее информативна. При Империи Рим работал как мастер, а не как подмастерье или ученик. Театр ее цивилизаторской деятельности был здесь чуть меньше, чем весь известный тогда мир, и небезосновательно хвастаются, что она превратила в город то, что раньше было лишь миром, можно сказать, просто географическим выражением. Записи об этом прогрессе слишком похожи на повествование о непрекращающихся войнах, и мы привыкли думать об империи как о гигантской военной державе, но на самом деле она была по своей цели и результатам в основном мирной, и так казалось тем, кто жил под ее властью. Для них ее империя называлась "Римский мир". Именно память о ней преследовала умы людей, когда она тоже разрушилась от внутренних экономических расстройств и внешнего давления, а растерянная и разделенная Европа обратилась к ней как к образцу восстановленной цивилизации.

Целью и результатом Римской империи был мир, мир во всем мире. Правда, эта цель была не очень четко определена теми, кто ее преследовал, но (возможно, именно поэтому) средства для ее достижения были более практичными и более эффективно выполнялись. Цивилизованный мир был един и должен был рассматриваться как единое целое; это был Рим под единым правительством и единым главой. Тогда возникла идея верховного суверенитета, единого и неделимого, что было совершенно необходимым условием мира во

всем мире. Но и необходимость организации была так же осознана, настоянна, реализована. Цивилизованный мир был покрыт сетью учреждений, через которые воля императора текла и циркулировала по всей империи. Мир через систему и порядок - вот в чем заключался секрет римского успеха. Но для полноты объяснения необходимо добавить еще две идеи. Первая - это идея или идеал справедливости; ни одна система и ни один порядок не могли работать, если они не были и не внушали своим подданным мысль о том, что они были скрупулезно и точно справедливы. Вторая идея заключалась в том, что для того, чтобы быть таковой, она должна быть правовой системой, основанной на известном своде юридических прав и обязанностей, определяющих и контролирующих все поведение подданных по отношению к государю и друг к другу. Понятие, которое римляне, не столько своими мыслями или речами, сколько своими действиями, пополнили мировой запас, заключалось в том, что мир обеспечивается и поддерживается справедливым действием во всем цивилизованном мире единой для всех системы законов, исходящей от единой центральной власти и обеспечиваемой ею.

Идея, по меньшей мере, грандиозная, а в таком виде кажется слишком высокой и трудной для человеческой природы. Тем не менее на протяжении веков она применялась, и применялась с удивительным успехом. И, несмотря на очевидный провал, в конце концов идея о ней перестала доминировать в умах людей. Я не говорю здесь о преходящем подражании ей со стороны Каролингов, о попытках ее реституции или копирования в духовной сфере Церкви, а также о ее призрачном выживании в призрачной форме Священной Римской империи. Но я хотел бы указать на то, как она все еще мысленно управляет нами, когда без существенного изменения идеи мы переносим ее применение на нацию и по-прежнему ищем секрет ее мира и силы в организации всей ее деятельности по закону, исходящему от суверенной воли, живущей где-то внутри ее структуры, и приводимому в исполнение, закону, требующему и получающему повиновение от всех верных подданных. Не угасает также надежда, что путь к более широкому или всемирному миру лежит через восстановление подобной системы в ее применении к международным отношениям. Хотя я не могу разделить эту надежду (или, более того, желание, чтобы ее осуществление было предпринято), я не нахожу возможным судить, что она еще не потеряла своей силы в умах людей или не имеет элементов важности в связи с нашей нынешней проблемой и недоумением.

Пожалуй, более целесообразно спросить, чему мы должны научиться из истории как ее успехов, так и ее неудач. В том, что она на время и надолго увенчалась успехом в истории Европы, сомневаться не приходится, и на ее постоянных последствиях зиждется многое из того, что является наиболее прочным и стабильным в цивилизации современной Европы. Благодаря ей был мир, и опять же благодаря ей и ее достижениям Европа устояла и пережила внутренние беспорядки и нашествие варваров, так что, как я уже сказал выше, то, что до сих пор существует как объединенная или союзная Европа, - это римский или романизированный мир. Римские идеи и идеалы до сих пор удерживают ее вместе, хотя Римская империя пришла в упадок и пала, и никакая другая империя не поднялась и, я верю, может подняться на ее руинах. В мои задачи не входит анализ причин этого упадка и падения, хотя несколько слов о них, возможно, будут неуместны. Во-первых, она пришла в упадок и разрушилась потому, что те, кто управлял ею, игнорировали ее экономической структуры, не обращая внимания ни на причины, подрывающие ее материальную основу, ни на те огромные страдания, которые повлекли за собой пренебрежение и последующая дезорганизация этой основы. Во-вторых, и отчасти из-за этого пренебрежения, они недостаточно укрепили ее защиту от внешнего нападения; я имею в виду не столько небрежность в военной подготовке, сколько отказ от прежней политики приобщения

варварских или полумцивилизованных соседей к высшей системе и тем самым расширения ареала цивилизации. Возможно, причудливо предполагать, что мы сейчас страдаем от наказания за то, что Рим не смог романизировать, то есть цивилизовать своих тевтонских соседей. В-третьих, они ошиблись, не распознав и не приняв во внимание новые силы, которые в виде идей входили в концепцию цивилизованной жизни, идей, которые мы объединяем под названием феодализма, идеи национальности. Под влиянием того и другого идеал единого мирового государства с единообразной или жесткой системой законов, опирающейся на суверенную волю, единую и неделимую, растворился или, по крайней мере, начал растворяться, признав себя неприспособленным или неадаптированным к потребностям новой и безмерно усложнившейся ситуации в мире. Никакое простое вмешательство в него не спасло и не могло спасти его; и основанная на нем организация Европы рухнула.

Революция конца XVIII - начала XIX века была во многом последней попыткой восстановить ее, и неудача в этом деле привела к ее гибели. Теперь мы не можем рассчитывать на реорганизацию цивилизованной Европы по образцу Римской империи или империи вообще, а более определенно сформулированная надежда на спасение путем создания или воссоздания международной системы права в каком-либо реальном смысле кажется мне неосуществимой мечтой - администрированием запоздалого нострума от нашей болезни, а не панацеи. Уроки истории говорят о другом. Римский идеал должен быть преобразован, должен возродиться, чтобы не сбить с пути наши ожидания и наши действия. Не более в политической или светской сфере, чем в духовной или церковной, "романизм" является возможным руководством к восстановлению современной европейской цивилизации. Для этого слишком много воды (и крови) утекло под мостом. Однако дух, давший ему жизнь и силу, бессмертен, и изучение секрета его жизнеспособности и мощи необходимо для нас. В работе по реконструкции мы должны учиться у римлян ценности системы и порядка, справедливости и закона, так же как у Греции мы должны заново учиться любви к свободе и правде.

Греки дали нам идею достойной жизни, которую цивилизация делает возможной, но не производит напрямую. Эту жизнь в ее существенных чертах они правильно поняли, но ее содержание они не смогли сформулировать, и то ли из-за этого, то ли нет, они не смогли осознать ее необходимые условия, материальные, экономические, политические и т. д. Римляне осознали это более эффективно, но они упустили из виду цель в средствах, обеспечив себе мир, комфорт, легкость, досуг, которые они не использовали с особой пользой. Говорят, что ни в один период мировой истории цивилизованные люди не были так счастливы, как во времена Римской империи. С большей долей правды можно сказать, что ни в одно время цивилизованные люди не были так несчастны, потому что счастье, которое им досталось, было пустым, просто мертвым морским плодом, пылью и пеплом во рту; настоящей Смертью в жизни. Жизнь была лишена вкуса, и они отворачивались от нее в усталости, отвращении и отчаянии, ища и находя в философии - плодах размышлений о жизни - ничего лучшего, чем утешение для ран и разочарований жизни. Так те, кто отдал свою жизнь Риму, потеряли сердце и, уйдя в себя, не нашли там ничего, кроме одиночества и пустоты. Цивилизация была лишь шелухой ушедшей жизни.

Тем не менее, как живому телу необходимо создать костный скелет, а живой душе - превратить свои импульсы в привычки, а стремления - в правила и планы действий, так и цивилизация в целом должна создать внутри и вокруг себя структуру упорядоченного и систематического мышления и действия, в рамках которой высшие силы, ныне признанные и отстраненные, смогут тем более свободно выполнять свою работу. Без такой механической

или, по-видимому, недуховной основы эти силы могут работать лишь бегло, хаотично и неэффективно, как это было в греческом мире. Прозаическому делу создания или воссоздания и поддержания в бытии такой структуры должна быть посвящена большая часть нашей энергии, и во всем этом у римлян нам еще есть чему поучиться. Если мы откажемся усвоить и переварить этот урок, отвернувшись от такой заботы с отвращением или презрением, наша жизнь будет потеряна в напрасных мечтах, в пустых желаниях и пустых сожалениях; а царство Свободы и Истины будет отнято у нас и отдано другим, которые знали, как вырасти и встретить, как люди, трудности и опасности, без которых его невозможно завоевать или удержать. От вдохновляющих видений этих идеалов мы должны обратиться, как мы это делали, когда мы и наш мир были римлянами, к серьезной и трезвой задаче создания политической и правовой структуры, на основе которой вечный дух европейской цивилизации сможет возобновить свою работу по расширению, углублению, обогащению общей жизни человечества.

Кажется, будто мы - наследники их опыта, - столкнувшись с еще более ужасающей проблемой, лишились даже надежд, утратив как идеал достойной жизни на этой земле, так и некую большую и сложную организацию, делающую эту жизнь возможной. Но это не так, ибо силы, которые в античности создали и долго поддерживали цивилизацию, сначала желанную, а затем сильную, не иссякли. Они по-прежнему делают греко-римскую цивилизацию, которая является нашей, вещью, ради которой стоит жить и умирать; они по-прежнему удерживают нас вместе в единстве и согласии, более глубоко, чем когда-либо звучал отвес, затуманенный, но не уничтоженный нынешним шумом и неразберихой битвы. Все еще в глубине души мы заботимся - и не только мы, но и наши враги, и все нейтралы, доброжелательные или недоброжелательные, - о целях, ради которых существует цивилизация, о мире, порядке и справедливости, которые являются их необходимыми условиями: у нас все еще есть ум, чтобы придумать, и воля, чтобы выполнить все, что необходимо для ее прогресса. Мы по-прежнему готовы изучать историю и полны решимости лучше ее изучить, познавать себя и свой мир и приспособлять свои идеи и поступки к ситуации, в которой мы оказались. Цивилизованный мир не потерял ни сердца, ни надежды; и не потеряет, пока мечты его бессмертной юности и планы его бессмертной мужественности не будут потеряны для его памяти или не выйдут за пределы его ретроспективного осмысления.

Примечание. Доктрина о том, что вся история - это современная история, была лучше всего изложена Бенедетто Кроче из Неаполя, из работ которого здесь заимствовано несколько выражений, с глубоким признанием долга перед ним.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Гегель, *Философия истории*, части II и III (следует читать не как философию, а как историю, направляемую и просвещаемую философией). Перевод в библиотеке Бона.

Марвин, *"Живое прошлое"*. Clarendon Press.

Адамсон, *Развитие греческой философии*. W. Blackwood. (За кратким, но содержательным изложением обратитесь к *"Истории философии"* Вебба. Home University Library.)

Butcher's *Some Aspects of the Greek Genius* ("Чем мы обязаны Греции"). Macmillan.

Murray's *Rise of the Greek Epic* ("Восхождение греческого эпоса"). Clarendon Press.

Warde Fowler's *Rome ("Рим")*. Библиотека Домашнего университета.

Bryce's *Holy Roman Empire*. Macmillan.

IV

ЕДИНСТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА[15]

Ergo humanum genus bene se habet et optime, quando secundum quod potest Deo adsimilatur. Sed genus humanum maxime Deo adsimilatur quando maxime est unum; vera enim ratio unius in solo illo est. Propter quod scriptum est: "Audi, Israel, Dominus Deus tuus unus est". DANTE, *De Monarchia*, i. viii.

I

Тот, кто сегодня закрывает глаза, чтобы мысленно представить себе мир, видит глобус, на котором масса Азии, большая часть Африки и протяженность Америки значительно перевешивают в равновесия скудный и засеянный морями континент Европы. Он видит всевозможные расы, белые и желтые, коричневые и черные, труждающиеся, подобно бесконечно малым частицам, на многих тысячах миль; и он знает, что бесконечное разнообразие верований и цивилизаций, практик и убеждений - одни беспамятно старые, другие грубо новые; одни сурово дикарские, другие мягко человеческие - разнообразили сердца тысячи миллионов живых существ. Но если мы хотим попасть в Средние века, в тот период их расцвета и славы, который длился с середины одиннадцатого до конца тринадцатого века, мы должны резко сузить наш взгляд. Известный мир двенадцатого века гораздо меньше нашего, и это мир гораздо большего единства. Это средиземноморский мир; и "Рим, глава мира, управляет поводьями круглого земного шара". Из Рима можно увидеть Сахару на юге; на востоке - Евфрат, Днестр и Вислу; на севере - Зунд и Каттегат (хотя некоторые, возможно, слышали об Исландии), а на западе - дальние берега Ирландии и Испании. За пределами этих границ есть что-то, во всяком случае, на востоке, но это что-то теневое и зыбкое, полное мифов и небылиц. Внутри этих границ есть ясный свет христианской Церкви и четкие очертания единого общества, членами которого являются все крещеные и которое объединяет всех в единое сообщество.

Экономически этот мир отличался от нашего так же, как и географически. Деньги если и не были неизвестны, то по большей части не использовались. В последние времена Римской империи они ушли на восток, чтобы купить шелка и пряности, и больше не возвращались. Со времен Диоклетиана общество вновь перешло на натуральную экономию. Налоги принимали форму либо оплаты личных услуг, либо квот на продукцию: рента выплачивалась либо трудом, либо едой. Наличие денег означает наличие богато артикулированного общества, бесконечно дифференцированного разделением труда и бесконечно связанного последовательным обменом. Общество Средневековья не было богато артикулированным. В городах были купцы и ремесленники, но основная масса населения жила в деревнях и добывала пропитание непосредственно на земле. Каждая деревня была практически самодостаточна; в крайнем случае, она импортировала такие товары, как железо и соль; в остальном она полагалась на себя и свои собственные ресурсы. Это порождало одновременно большое единообразие и большую изоляцию. Однообразие было велико, потому что большинство людей жили одной и той же серой, спокойной жизнью сельского хозяйства. Крестьянство Европы в те времена, когда большинство людей были крестьянами, жило одинаково, по одному и тому же обычаю, от Бервика до Каркассона и от Каркассона до

Магдебурга. Но была и большая изоляция. Мужчины были привязаны к своим поместьям, а жители Королевского Риптона могли даже говорить о "нации" своей деревни. Если они не были связаны условиями статуса и законными правами своего лорда, они все равно были связаны, но не менее сильно - отсутствием какой-либо альтернативной жизни. Города действительно существовали, но сами они были в значительной степени сельскохозяйственными - домами *summa rusticitas*, а промышленность и торговля в них были прерогативой местных гильдий. Обычай был королем всего, а обычай распределял людей по отделениям, в которых они, как правило, и оставались. Калейдоскопическое появление и исчезновение общества, основанного на денежном обмене, его быстрое богатство и быстрое банкротство, его неловкость альтернативных карьер, открытых для талантов, - все это было немыслимо и недостижимо. То же самое единообразие и та же изоляция отмечали, хотя и в меньшей степени, рыцарское сословие, которое занималось военным делом. Общая феодальная система, если можно так назвать систему, которая по сути своей была бессистемной, господствовала во всей Западной Европе, а когда Западная Европа отправилась в крестовый поход в Сирию, утвердилась и в Сирии. Историки пытались установить различия между феодализмом одной страны и другой - между феодализмом Англии, например, и феодализмом Франции. Сегодня принято считать, что им не удалось установить различия. Вотчина в Англии была едина с вотчиной во Франции, как поместье в одной стране было единым с поместьями в других странах, а город в одной стране - с городами в других. "Нельзя провести демаркационную линию между немецкими и французскими городами, - говорит известный бельгийский историк, - так же как нельзя провести различие между французским и немецким феодализмом".^[16] Историк, изучающий экономическую и институциональную жизнь Средневековья, будет ошибаться, если не будет исходить из предположения о ее общем единообразии. Но единообразие фьефа, как и единообразие манора и города, было совместимо со значительной изоляцией. Каждый фьеф был центром местной жизни и домом местных обычаев. Представители феодального класса жили, по большей части, локальной и изолированной жизнью. Бои, правда, собирали их вместе, но когда "сезон" заканчивался, и сорок дней службы проходили, жизнь возвращалась на круги своя в усадьбе, и если часть лета проводилась в компании, то большая часть зимы проходила в уединении. На общество такого порядка - стабильное, привычное, однообразное, с тысячами изолированных центров - Церковь снизошла с живительным вдохновением и всепроникающим единством. Большинство из нас сегодня находят большое поле для своего ума в экономическом соревновании или политической борьбе. В Средние века жизнь разума была открыта руками Церкви. Можно было бы сказать, что между теми временами и современностью существует точная антитеза, если бы не тот факт, что точные антитезы никогда не встречаются за пределами мира логики. Но это так же верно, как и большинство антитез: в то время как наш современный мир любопытно связан экономическими узами международных финансов, но при этом печально разделен (и никогда более печально, чем сегодня) столкновением различных национальных культур и различных верований, средневековый мир, разделенный экономически на отдельные поместья и отдельные города, каждый из которых вел самостоятельную жизнь, был все же связан единством культуры и единством веры. У него был единый разум и множество карманов. У нас один карман, а умов много. Именно поэтому многие умы в наши дни упорно стремятся в средневековье, чтобы найти утешение, которое они не могут почерпнуть из золотого века международных финансов.

Но регресс еще никогда не был путем прогресса. Вполне вероятно, например, что санитарные условия Средневековья были весьма неадекватными, а пища - удручающе несъедобной; и было бы бесполезно провоцировать бунт носа и желудка, чтобы удовлетворить тягу разума. Некритичный средневековье - дитя невежества по отношению к

Средним векам. Не желая превозносить национальные культуры, мы можем обратиться к эпохе, в которой они еще не родились, - к эпохе единой и интернациональной культуры; но при этом мы должны помнить, что сила Средневековья коренилась в слабости. Они находились на низкой ступени экономического развития; и именно потому, что они находились на низкой ступени экономического развития, им было так легко поверить в единство цивилизации. Единство в своем роде легко, когда мало факторов, которые нужно объединить; оно сложнее, и это более высокая вещь, когда это синтез многих различных элементов. Средние века не достигли национальной экономики: их экономика была в лучшем случае муниципальной, а по большей части - только приходской. Национальная экономика имеет более высокую экономическую ценность, чем муниципальная или приходская, потому что она означает производство большего количества благ при меньших затратах, а также более богатую и полную жизнь ума, с более разнообразными занятиями и более запутанными связями. Национальная экономика могла развиваться только вместе с национальной системой политики - возможно, мы могли бы сказать, что она могла развиваться только через национальную систему политики; и национальное государство, которое находится с нами сегодня, и некоторыми из работ которого мы недовольны, было необходимым условием экономического прогресса. С появлением национального государства легкомысленный интернационализм Средневековья должен был исчезнуть; а поскольку экономика и политика устремились в национальные русла, жизнь духа, до сих пор интернациональная, претерпела те же изменения, и национальные религии, если это не противоречие в терминах, были должным образом рождены. Но национальная экономика, национальное государство, национальная церковь - все это было неизвестно Средневековью. Его экономика была деревенской, его ментальная культура - международной, дарованной вселенской церковью (деревенской культуры не могло быть, а при вселенской церкви единственно возможная культура обязательно была международной); что же касается политики, то она была чем-то промежуточным - иногда приходской, когда местный феодал присваивал себе суверенитет, иногда национальной, когда в Израиле возникал сильный король, а иногда, при Карле Великом, почти международной.

Рассмотрение лингвистического фактора может пролить свет на этот вопрос. Здесь мы снова можем проследить ту же изоляцию и то же единообразие, которые мы наблюдали в мире экономики. В Средние века существовала бесконечность диалектов, но скудость языков. Говорят, что сегодня в Гелиголандской бухте и на Фарерах существуют диалекты, присущие одной семье. Нечто подобное, должно быть, существовало и в Средние века. Так же, как существовали местные обычаи в поместье, городе и вотчине, должны были существовать и местные диалекты в деревнях и даже хуторах. Но и здесь изоляция сочеталась с единообразием. В центральную эпоху Средневековья существовало, пожалуй, только два языка, имевших общую моду, и они не были ограничены национальными границами. Сначала была латынь, язык церкви, а поскольку обучение принадлежало церкви, то и язык обучения. Ученые пользовались одним и тем же языком в Оксфорде и Праге, в Париже и Болонье; и в пределах латинского христианства ученость представляла собой единое целое. Кроме латыни, единственным языком, имевшим широкую популярность в середине Средневековья, была вульгарная латынь, или романский язык. Для Данте, писавшего на в конце XIII века, романский язык все еще оставался единым *идиомом* - даже если он был *трифарием*, в зависимости от того, какое "да" было в нем: *oïl*, *oc* или *sì*.^[17] Из трех ветвей этой *идиомы* легко преобладала ветвь *oïl*, или Северная Франция. Нормандское завоевание Англии перенесло его в Лондон, норманнское завоевание Сицилии - в Палермо, крестовые походы - в Иерусалим. С ним можно было объехать почти весь средневековый мир из конца в конец. Это был язык дворов, язык шансонов, язык всей светской культуры. Это был язык

Англии, Франции и Италии, и сам святой Франциск в юности наслаждался литературой, которую он воплощал.

Таким образом, лингвистической основой средневековой цивилизации была латынь, либо в ее классической, либо в вульгарной форме. Конечно, существовали и другие языки, и некоторые из них пользовались немалой популярностью. Непосредственно перед периодом, о котором мы рассказываем, - периодом с 1050 по 1300 год - исландский язык имел широкое распространение. Его можно было услышать не только в Скандинавии и на Северных островах, но и на значительной части Британских островов, в Нормандии, на Руси - вдоль речной дороги, ведущей в Константинополь, и в самом Константинополе. Но факт остается фактом: лингвистическая основа средневековой мысли и литературы была латинской. Романский университет в Париже был столицей обучения: романский язык Северной Франции был языком общества. А поскольку языковая основа средневековой цивилизации была романской, то и сама средневековая цивилизация была романской. Гений латинского христианства был источником ее вдохновения: дух романских народов был дыханием ее бытия. Сувенир старой Римской империи послужил основой ее политических идей; а Священная Римская империя, если религиозное освящение придало ей новую святость, все равно оставалась римской. Однако вторжение тевтонов в империю оставило свой след, и император Средневековья всегда был тевтонского происхождения. Возможно, именно в этот момент в единстве средневековой схемы обнаружился фатальный изъян. Было бы бесполезно утверждать, что дуализм, проявившийся в борьбе папства и империи, имел в первую очередь или даже в значительной степени расовую основу. Эта борьба - борьба принципов, а не рас; это споры между светским и клерикальным взглядом на жизнь, а не между гением Рима и гением Германии. Гильдебранд выступал за свободную Церковь - Церковь, свободную от светской власти, поскольку она контролировалась папством. Генрих IV отстаивал право светской власти использовать духовенство в целях светского управления и контролировать епископат как один из органов светской администрации. Но факт остается фактом: схема, опирающаяся на тевтонского императора и римского понтифика, уже была внутренне противоречивой, прежде чем появились другие и более глубокие разногласия, которые усилили разлад.

Таковы были основы, на которых должно было держаться единство средневековой цивилизации. Существовал сжатый мир, который люди могли рассматривать как единство, с единым центром согласованности. Была низкая ступень экономического развития, что, с одной стороны, означало общее единообразие жизни во владениях, поместьях и городах, а с другой - местную обособленность, которая нуждалась, и в единстве Церкви нашла, какой-то способ объединения. При множестве разновидностей диалектов существовала общая идентичность языка, что делало возможным развитие и способствовало распространению единой и идентичной культуры. Национализм, будь то экономическое развитие или образ жизни и способ проявления человеческого духа, был еще практически неизвестен. Расы могли расходиться во мнениях, классы могли ссориться, короли могли воевать, но почти никогда не было национального конфликта в собственном смысле этого слова. Средневековые линии разделения, как часто говорят, были скорее горизонтальными, чем вертикальными. Существовали различные сословия, а не государства. Феодальный класс был однороден по всей Западной Европе: клерикальное сословие представляло собой единую корпорацию на всем пространстве латинского христианства; крестьянство и горожане Англии мало чем отличались от крестьянства и горожан Франции. Мы должны думать об общеевропейской системе сословий, а не о каком-либо балансе соперничающих держав.

Единство, которое покоилось на этих основах, начинает проявляться как реальность, а не только как идея, примерно в середине одиннадцатого века и длится до конца тринадцатого. Это единство, как мы уже видели, было по сути церковным. Оно было продуктом Церкви: можно почти сказать, что оно и было Церковью. До 1050 года католическая церковь, какой бы универсальной она ни была в теории, едва ли была универсальной на деле. Период франкских, саксонских и раннесалийских императоров был периодом того, что немецкие писатели называют *ландескирхе*. Власть епископа Рима еще не была полностью установлена, и великие церкви Реймса, Майнца и Милана были практически независимыми центрами. Независимые от папства, они не были независимы от светских правителей, в чьих владениях они находились. Напротив, их члены были глубоко вовлечены в мирскую деятельность; они были помещиками, феодалами и чиновниками в своих странах. Перед лицом этих фактов григорианское движение XI века преследует две тесно взаимосвязанные цели. Оно стремится утвердить вселенское главенство папства; оно стремится отстоять свободу духовенства от всякой светской власти. Одна цель является средством для достижения другой : папа не может быть универсальным примасом, если духовенство, которым он управляет, не свободно от светского контроля; и духовенство не может быть свободно от светского контроля, если универсальный примат папства не приведет к его освобождению. Григорианство одерживает большую, если не полную победу. Оно устанавливает теорию, а в значительной степени и практику церковного единства. Дни *ландескирхе* сочтены: начались дни Вселенской Церкви под вселенским главенством Рима. Но когда универсальность Церкви однажды была установлена в плане распространения, она начинает утверждаться и в плане интенсивности. Став всемогущим, папство стремится быть всемогущим. Хранительница истины, и только хранительница, божественного откровения, Церковь, под руководством папства, стремится воплотить истину во всех сферах жизни и контролировать в свете христианского принципа каждую игру человеческой деятельности. Обучение и воспитание, торговля и коммерция, война и мир - все это должно быть вовлечено в ее орбиту. Благодаря применению христианского принципа должен быть достигнут великий синтез человеческой жизни, а *lex Christi* должен стать *lex animata in terris*.

Это была величайшая амбиция, которую когда-либо лелеяли. Она означала не что иное, как установление на земле *гражданства Божьего*. И это Царство Божье должно было сильно отличаться от того, о котором писал святой Августин. Его город Божий не был ни реальной Церковью, ни реальным государством, ни слиянием того и другого. Это было духовное общество predetermined верующих, и как таковое оно полностью отличалось от государства и светского общества. Город Божий, который стремились основать великие средневековые папы, был городом этого мира, если не только этого мира. Он представлял собой слияние реальной Церкви, реформированной под папским руководством и управляемой папским контролем, с реальным светским обществом, аналогично реформированным и аналогично управляемым. Логически означало теократию, и булла Бонифация VIII, в которой он утверждал, что все человеческие существа подчиняются римскому понтифику, была ее необходимым результатом. Но теократия была лишь средством, причем средством, которому в лучшие времена папства никогда не придавалось особого значения. Важна была цель, а целью было приведение человеческой жизни в соответствие с божественной истиной. Цель может показаться фантастической, если не вспомнить о множестве средств, которыми располагала средневековая церковь. Семь таинств стали ядром ее организации. Центральное место среди этих семи занимало таинство Мессы, в котором хлеб и вино пресуществлялись в Божественное Тело и Кровь Господа. Через это таинство люди могли прикоснуться к Богу, а через его посредничество

верующий встречался с высшим объектом своей веры. Только священник мог совершать это великое таинство; и только те, кто был пригоден, могли быть допущены им к участию. Таинство покаяния, ставшее как бы притвором Мессы, позволяло священнику определять условия допуска. За пределами таинств находились церковные суды, осуществлявшие в значительной степени этическую и религиозную дисциплину над всеми христианами; а в резерве, самом страшном из всех видов оружия, находились полномочия отлучения и интердикта, которые могли отлучить людей и города от обрядов Церкви и присутствия Господа. Кто скажет, вспоминая все это, что цели средневековой Церкви были провидческими или неосуществимыми?

На какое-то время и в какой-то мере они действительно были достигнуты. Давайте рассмотрим по очереди каждое сословие и оценим их достижение: сначала речь пойдет о рыцарском мире и контроле Церкви над войной и миром; затем о мире общин и контроле Церкви над торговлей и коммерцией; и наконец, о мире клириков и контроле Церкви над обучением и воспитанием.

Контроль над войной и миром был постоянной целью Церкви с начала одиннадцатого века. Зло феодализма заключалось в его склонности к частным войнам. Чтобы излечить это зло, церковь придумала Божье перемирие. Перемирие было епархиальным делом. Форма перемирия утверждалась на епархиальном собрании, а жители епархии формировали *сообщество мира* для его соблюдения. В нем не было попытки положить абсолютный конец частным войнам; перемирие было направлено только на ограничение времени и сезонов, когда можно было вести вражду, и на определение лиц, которые должны были быть освобождены от ее угрозы. Но от стремления ограничить боевой инстинкт феодального общества церковь вскоре пришла к идее привлечь этот инстинкт под свое знамя и направить его на достижение собственных целей. Так возникло рыцарство, которое, как и большинство институтов Средневековья, было изобретением церкви. Рыцарство было посвящением боевого инстинкта защите вдов, безотцовщины и угнетенных; к началу XI века литургии уже содержали форму религиозной службы, посредством которой неопиты посвящались в рыцари. Кульминацией этой ранней и религиозной формы рыцарства (существовала и более поздняя, светская форма, придуманная трубадурами и труверами, которая занималась главным образом правилами любви рыцарей и дам) стали крестовые походы. В крестовых походах мы сталкиваемся, пожалуй, с наиболее типичным проявлением средневекового духа. Здесь мы видим, как духовенство приводит в соответствие с христианскими принципами, казалось бы, бесперспективный и неподатливый материал феодальной драки: здесь мы видим, как папство утверждает свое главенство в объединенной Европе, собирая христиан вместе для общей цели - нести знамя своей веры к могиле своего Искупителя. Здесь можно увидеть, как проникающее влияние христианского откровения пытается проникнуть даже во внешнюю политику (ведь что такое крестовые походы, как не внешняя политика христианского сообщества, контролируемого и направляемого папством?); и здесь даже инстинкт колониальной экспансии, столь часто являющийся причиной отчаянных войн, был приведен в соответствие с единством всех народов во Христе и поставлен на службу делу Того, "в Ком одном можно найти истинную природу Единого".

Нельзя забывать и о другом аспекте клерикального контроля над миром и войной в интересах христианского единства. Папство стремилось стать международным трибуналом. Потребность в таком трибунале была столь же средневековой, сколь и современной. Данте, который стремился оправдать положение и власть международного судьи для императора, а не для папы, начал спор знаменитыми словами. Между двумя князьями, один из которых ни в коей мере не подчиняется другому, могут возникнуть споры, как по их собственной вине, так

и по вине их подданных. Поэтому решение должно быть вынесено между ними. А так как ни один из них не может разбирать дела другого, потому что ни один из них не подчиняется другому, то должен быть третий, обладающий более широкой юрисдикцией, чтобы управлять обоими в пределах своей власти".[18] На такую расширенную юрисдикцию, которая действительно могла быть заявлена для императора, но которую он никогда не имел права осуществлять, претендовало и осуществляло папство. Папство, стремившееся к соблюдению христианских канонов поведения во всех сферах жизни и деятельности, никогда бы не признало, что споры между суверенными князьями выходят за рамки правил этого канона. Иннокентий III в письме к французским епископам, защищая свое право на третейское разбирательство между Францией и Англией, очень далек от подобного признания. "Наше дело, - утверждает он, - исправлять всех христиан за любой смертный грех, а если они пренебрегают исправлением, то принуждать их церковным порицанием. И если кто-то скажет, что с королями нужно обращаться одним образом, а с другими людьми - другим, то мы вызываем в ответ к закону Божьему, где написано: "Судите великих, как малых, и не должно быть между вами принятия лиц". Но если мы должны бороться с преступным грехом, то особенно мы обязаны это делать, когда обнаруживаем грех против мира".[19] Здесь, в этих словах Иннокентия, клерикальная претензия на контроль над миром и войной достигает своей высшей точки. Во имя христианского принципа, пронизывающего все сущее и сводящего все к единству, страшный арбитраж войны сам по себе должен быть представлен на более высокий и тонкий арбитраж. Требование было слишком высоким, чтобы его можно было поддержать или воплотить в жизнь. Но оно не слишком высоко, чтобы им можно было восхищаться.

Оно также не было полностью удалено от реальной жизни того времени. Даже для мирян Средневековья война не была простым конфликтом сил, в котором обязательно должна была победить сильнейшая держава. Это был конфликт прав перед наблюдающим за битвами Богом, в котором можно было рассчитывать на то, что наибольшее право выйдет победителем. Война между государствами была аналогична испытанию боем между отдельными людьми: это был законный способ проверки прав. Теперь же боевые испытания были способом процедуры в судах закона, причем способом, проведение и контроль которого принадлежали духовенству. Если, таким образом, война между государствами аналогична ордалии, то из этого следует, во-первых, что это юридическая процедура, для толкования которой нужен высокий суд (а какой суд может быть более компетентным, чем папская курия?), и, во-вторых, что это вопрос, который по своей природе затрагивает духовенство. Эти идеи были естественной основой для попыток Церкви контролировать вопросы войны и мира; и если мы будем помнить об этих идеях, то оправдаем Церковь в неосуществимом квишотизме.

Попытка контролировать торговлю и коммерцию была не менее возвышенной и не менее трудной. Возможно, остановить войну еще легче, чем остановить конкуренцию; и все же Церковь предприняла эту попытку. Христианский закон любви был противопоставлен экономическому закону спроса и предложения. Каноническая доктрина гласила, что покупатель должен брать не больше, а продавец - не меньше, чем справедливая цена товара - цена, которая на практике зависела от себестоимости. Правило для цен было также правилом для заработной платы: справедливая заработная плата была естественным дополнением справедливой цены. Запрет на ростовщичество и получение процентов был еще одним фактором в том же кругу идей. Если цены и заработная плата должны быть вознаграждением за проделанную работу, причем вознаграждением в точном эквиваленте, то, исходя из предположения канонистов, что ростовщик не делает никакой работы и что его заем не приносит никакой новой стоимости, следует, что за пользование заемными

деньгами не полагается и не может быть справедливо выплачено никакого вознаграждения. Работа - это единственное название всех приобретений, и все приобретения должны быть в точной пропорции к количеству проделанной работы. Это основной принцип, и это принцип Божественного закона: *In sudore frontis tuae comedes panem tuum*. Таким образом, снова, и снова на бесперспективном и трудноразрешимом материале, мы видим, как Церковь стремится обеспечить единство христианского принципа и свести множество к единому. Точно так же и по тем же мотивам, по которым частная война должна была быть изгнана из феодального класса в стране, конкуренция - частная война коммерции - должна была быть устранена из торговых классов в городах. Атака на конкуренцию, как и атака на войну, не была такой уж несбыточной надеждой, как это может показаться в современную эпоху. Даже в наши дни обычай остается силой, сдерживающей конкуренцию, а в Средние века обычай охватывал гораздо большую территорию, чем сегодня. Аренда земли, независимо от того, платилась ли она трудом или натурой, была обычной рентой; и в каждой средневековой общине класс землевладельцев составлял большинство. От фиксированной и привычной ренты было легко перейти к установлению справедливых цен на товары и услуги. Настроения мирян поддерживали клерикальные принципы. Гильдии заставляли своих членов продавать товары по единой цене и в духе коллективизма старались предотвратить создание углов и практику занижения цен. Правительства отказывались признавать "законы" спроса и предложения и пытались с помощью статуты рабочих заставить хозяев давать, а рабочих получать не больше и не меньше, чем "справедливую" и надлежащую зарплату.

Церковь стремилась проникнуть в жизнь городов не только через регулирование торговли и коммерции. В XIII веке в городах обосновались монахи; деятельность монахов - францисканцев и доминиканцев, остинцев и кармелитов - позволила Церкви оказывать на городскую жизнь влияние, не менее масштабное, чем то, которое она стремилась оказывать на феодальные классы. Города становились попечителями имущества, передаваемого в пользование орденам мендикантов, а процветавшие среди них ордена терциариев позволяли горожанам приобщаться к религиозным обществам, не оставляя мирской жизни. Средневековый город, где торговля и коммерция регулируются, пусть и несовершенно, христианскими принципами, где городской совет выступает в качестве попечителя религиозных орденов, а его члены прикреплены в качестве терциариев к этим орденам, можно рассматривать как некий тип христианского общества; и святой Фома, отчасти под влиянием этих условий, а отчасти и под влиянием аристотелевской философии полиса, находит в жизни города самое близкое приближение к этике христианства.

Контроль над обучением и воспитанием со стороны церкви - наиболее своеобразный и существенный аспект ее деятельности. Контроль над войной и миром был вопросом управления владениями баронства; контроль над торговлей и коммерцией был способом управления владениями коммун; но контроль над обучением и образованием был ни больше, ни меньше, как управлением Церковью самой себя и ее управлением ее собственными владениями. Средневековые авторы могут отличать *studium* от *sacerdotium*; но студенты средневекового университета - это все "духовенство", и учебные программы средневековых университетов по сути своей клерикальны. Все знания, правда, попадают в их сферу; но каждая отрасль знаний, от диалектики до астрономии, изучается под одним и тем же углом и с одной и той же целью - *во славу Господа*. Здесь, как и везде, пронизательный и ассимилирующий гений Церкви формировал и информировал материю, которая по своей природе не была легко восприимчива к клерикальным впечатлениям. Весь накопленный багаж светского образования веков - геометрия, астрономия и естественные науки,

грамматика и риторика, логика и метафизика - все это было материалом для лепки и проникновения; и на этом материале святой Фома совершил величайшее чудо подлинной алхимии, которое только можно найти в анналах образования.

Обучение, которое должна была преобразовать Церковь, было, по сути, обучением эллинского мира. Созданное веками проворной и изобретательной мысли, которые лежат между временем Фалеса и Гиппарха, оно было систематизировано в *научный свод* в ту эпоху греческой схоластики, которая обычно называется эллинистической. В своей систематизированной эллинистической форме она была воспринята римским миром и стала культурой Римской империи. Писателями от Птолемея до Боэция совокупность всех известных знаний была оформлена в виде дайджеста или серии пандектов; вместе с юридической кодификацией Юстиниана она была передана христианской церкви как наследие древнего мира. Отношение Церкви к этому наследию долгое время оставалось незыблемым и неопределенным. Логика, а тем более метафизика Аристотеля были не самыми удобными соседями для нового корпуса христианского откровения, переданного на хранение Церкви. В руках Беренгара Турского методы греческой логики оказались разъедающими для принятой доктрины мессы. В руках Абеляра, в *"Sic et Non"*, они служили для того, чтобы указать на необходимость критики текста христианской традиции. Чтобы сохранить единство, необходимо построить мост между светской наукой греков и религиозной верой Церкви. В тринадцатом веке этот мост был построен. Аристотель примирился со святым Августином, *"Органон"*, *"Этика"* и *"Политика"* были включены в тело христианской культуры, и средневековый инстинкт объединения отпраздновал свой величайший и, возможно, самый трудный триумф.

Тринадцатый век, таким образом, стал свидетелем единства цивилизации как структуры жизни и содержания человеческого разума. С одной стороны, возникла единая схема управления обществом, кульминацией которой стало всеобщее главенство Рима и римского понтифика. С другой стороны, в этой схеме и в этой структуре содержалось единое содержание мысли, направленное на проявление вечной славы Божьей. Каркас мы можем приписать главным образом Григорию VII; содержание - святому Фоме Аквинскому. Но все это единство - не столько продукт великих личностей, сколько общего инстинкта и общего убеждения. Люди видели мир *sub specie unitatis*; и его калейдоскопическое разнообразие неощутимо фокусировалось в единую схему под воздействием их видения. Небеса являли славу Божью, а небосвод - Его творение. Зоология, как и все остальное, стала добровольным слугой христианства, и были написаны *bestiaria moralizata*, чтобы показать, как все звери были созданы для примера и служили типом единственной и неповторимой истины. Для такого образа мышления все вещи были типами и аллегориями; и как каждый текст Библии был аллегорией для средневековой интерпретации, так и все вещи в мире творения, одушевленные и неодушевленные, драгоценность с ее "добродетелью" и зверь с его "моралью", стали аллегориями и притчами о небесных смыслах. Таким образом, мир восприятия становился нереальным, чтобы трансформироваться в реальный мир веры; и символизм, подобный символизму Хью Сен-Викторского, доминировал в мышлении людей, превращая все вещи (как и саму мессу, хотя и в меньшей степени) в *signa rei sacrae*.

Единство знания, таким образом, было куплено дорогой ценой. Вещи должны были перестать изучаться сами по себе и должны были быть аллегоризированы в типы, чтобы их можно было свести к единству. Возможно, покупка единства на таких условиях - плохая сделка; во всяком случае, очевидно, что в такой атмосфере научная мысль не будет процветать, а человек не научится легко приспосабливаться к законам окружающей среды. С точки зрения естествознания мы можем с готовностью осудить Средние века и все их

произведения; мы можем предпочесть один *опус* Роджера Бэкона всей "Сумме" святого Фомы. Но судить эпоху, лишенную естественных наук, нужно не по научному критерию, а по какому-то иному; и мы не должны спешить утверждать, что Средние века так легко находили Универсальное, потому что они так абсолютно игнорировали Частичное. Истина заключается в том, что хотя средневековые мыслители знали гораздо больше трудов Аристотеля, чем Платона, они были не менее лучшими платониками, чем аристотелианцами. Если бы они были лучшими аристотелистами, они были бы лучшими биологами; но поскольку они были хорошими платонистами, у них была концепция цели и системы человеческой жизни в обществе, которая, возможно, извиняет все, и даже больше, чем все, недостатки их биологии. Любой обзор политической теории Средневековья, каким бы кратким он ни был, сразу же покажет ее платоновский характер и непрекращающийся импульс к достижению единства.

III

Для средневековой мысли, как и для Платона, единство общества - это органическое единство, в том смысле, что каждый член общества является органом того целого, к которому он принадлежит, и выполняет функцию, одновременно свойственную ему самому и необходимую для полноценной жизни целого. Монашество, которое так часто искажают, обретает свое истинное значение в свете этой концепции. Монах - необходимый орган христианского общества, выполняющий свою функцию молитвы и преданности на благо не только себя, и не в первую очередь, а скорее каждого члена этого общества. Он молится за грехи всего мира и своей молитвой способствует осуществлению цели мира, которая заключается в достижении спасения. Точно так же концепция сокровищницы заслуг, впоследствии извращенная в системе индульгенций, относится к органической теории и практике общества. Заслуги, накопленные Христом и святыми, - это фонд для использования всем христианским обществом, фонд, из которого каждый член может черпать средства для своего спасения, просто потому, что каждый из них соответствующим образом соединен и связан со всеми остальными в единое тело для достижения единой цели. Но нам не нужно брать отдельные примеры платонизма средневековой мысли. Вся основная концепция системы сословий, которая повсеместно встречается в средневековой жизни, - это платоническая концепция. Сословия духовенства, баронства и коммун - это платоновские классы стражников, помощников и земледельцев. Платоновское кредо [греч. *to auton prattein*] ("исполняй свой собственный долг") - это христианское кредо "исполняй мой долг в том состоянии жизни, к которому Богу будет угодно меня призвать". Средние века полны спонтанного платонизма, вдохновленного *естественной платоновской душой* (*anima naturaliter Platonica*). Контроль, который средневековое духовенство осуществляло над христианским обществом в свете божественного откровения, повторяет контроль, который стражи Платона должны были осуществлять над гражданским обществом в свете Идеи Блага. Коммунизм средневекового монастыря напоминает коммунизм платоновской казармы. И если между обществом, которое представлял себе Платон, и обществом, которое представляла себе средневековая церковь, есть различия, то эти различия свидетельствуют лишь о том, что средневековая церковь пыталась возвысить платонизм и сделать это в свете концепций, которые сами были греческими, хотя и принадлежали Греции после времен Платона. Эти концепции, которые лелеяли стоические мыслители; которые проникли в римское право; и которые из римского права перетекли в учение и теорию ранних отцов Церкви - в основном две. Одна из них - концепция человеческого равенства; другая, соотносимая с ней, - концепция единого общества всего человеческого рода. Равенство людей и универсальность города Божьего, в котором все они находятся, - понятия, которые были не менее близки Марку Аврелию, чем святому Августину. Эти понятия сделали

инстинктивный платонизм средневековой церкви даже более возвышенным, чем платоновский. Если республика Платона остановилась на стадии гражданского общества, то *respublica Christiana* Средневековья поднялась до высоты единой *humana civilitas*. Если Платон разделил людей своей Республики на золотые, серебряные и бронзовые классы и зарезервировал экстаз аспекта божественной Идеи для одного класса, то средневековая Церковь открыла таинство Мессы и славу плода Божьего для всех верующих, и, если она верила в три сословия, то все же собрала их в одно вокруг общего алтаря Искупителя. Крепостное право еще могло оставаться и находить терпимость в экономической деятельности общества; но в самой Церкви, собранной вместе для сокровенных целей ее собственной жизни, не было "ни свободных, ни свободных".

Преобладание реализма, которым отмечена средневековая метафизика вплоть до конца XIII века, - еще одно платоновское наследство и еще один импульс к единству. Всеобщее *есть* и является реальной вещью, в которой частное участвует и обретает свою сущность в зависимости от степени участия. Единое превосходит множество; единство человечества больше, чем различия между людьми; и университет смертных, как пишет Оккам, - это единое сообщество. Если, таким образом, существует одно сообщество и только одно, то из этого вытекают некоторые негативные результаты, которые имеют свое значение. Во-первых, вряд ли можно говорить о том, что в Средние века существует какое-либо представление о государстве. Понятие государства подразумевает множественность, но множественность *ex hypothesi* не встречается. Понятие государства также подразумевает суверенитет, в смысле окончательного и полного контроля над своими членами со стороны каждого из нескольких обществ. Но и этого, опять же, *ex hypothesi* не найти. В средневековой системе существует один и только один окончательный контроль - контроль христианского принципа, осуществляемый в последней инстанции и повсеместно, без различия лиц, правящим наместником Христа. Но если плюрализм и суверенитет таким образом исчезнут из нашей политической философии, нам потребуются новая ориентация всей нашей теории. Мы должны забыть о том, чтобы говорить о нациях. Мы должны забыть, как, вероятно, многие из нас были бы очень рады забыть, претензии национальных культур, каждая из которых претендует на полное удовлетворение и реализацию национального разума; и мы должны помнить, вместе с Данте, что культура (которую он называл "цивилизованностью") является общим достоянием христианского человечества. Мы даже должны в какой-то степени забыть о существовании различных национальных законов. Правда, средневековая теория признавала факт существования обычного права, которое варьировалось от места к месту. Но это обычное право вряд ли было национальным: оно варьировалось не только от страны к стране, но и от фьефа к фьефу, и даже от поместья к поместью. Оно было слишком многообразным, чтобы быть национальным, и слишком бесконечно разнообразным, чтобы соответствовать политическим границам. Обычное право, согласно средневековой теории, также не было чем-то вроде высшего повеления. Превосходя все обычаи и верховенствуя над всеми установлениями, оно возвышалось над суверенным величием естественного права, которое едино и неделимо и проходит через все творение. "Все обычаи, - пишет великий канонист Грациан, - и все писанные законы, противоречащие естественному праву, должны быть признаны недействительными". Здесь, в этой концепции естественного закона, поддерживающего все творение, мы снова можем найти стоическое наследие для христианской церкви. Люди не должны жить в отдельных городах, отличающихся друг от друга различными системами правосудия, - так учил стоик Зенон, - но должен быть единый образ и порядок жизни, подобный тому, как единое стадо пасется на общем пастбище". Зенон, как и святой Павел, был родом из Киликии.^[20] Как и святой Павел, он учил доктрине единого общества, в котором нет ни иудеев, ни язычников, ни греков, ни варваров. Мы не ошибемся, если признаем в его учении и в учении его школы одно из величайших влияний,

помимо верховного и контролирующего влияния самого христианского принципа, которое обеспечило господство идеи единства в средневековой мысли.

Прежде чем перейти к другому негативному выводу из принципа единого сообщества, необходимо сделать небольшую оговорку в отношении только что сделанного заключения. Мы не можем полностью убрать государство из Средневековья одним росчерком пера и парадоксом. В средневековой Европе были государства, были короли, которые претендовали на *imperium* и осуществляли его. Эти вещи доставляли теоретикам, и особенно римским юристам, немало хлопот. Трудно было примирить единство *imperium* с множественностью королей. Некоторые прибегали к теории делегирования полномочий, и, похоже, именно этой теории посвящена "*De Monarchia*" Данте. Но был один современник Данте, который сказал мудрую вещь, пророчащую будущее. *Rex est in regno suo*, писал Бартол из Сассоферрато, *imperator regni sui*. В этой фразе мы можем услышать треск Средневековья. Когда короли становятся "полновластными императорами своих королевств" (это выражение было использовано в Англии Ричардом II, а имперский стиль затронул Генрих VIII), единство вскоре готовится вылететь из окна. Но она так и не вылетела полностью, пока Реформация не разрушила ткань Церкви и не превратила королей в пап, а также в императоров в своих владениях.

Теперь мы можем сделать еще один вывод из средневекового принципа единства. Сегодня мир признает, и признает уже почти четыре столетия, не только различие между государствами, но и различие между двумя обществами в каждом государстве - светским и религиозным. Эти два общества могут иметь разные законы (например, в вопросах брака), и в результате легко может возникнуть конфликт обязанностей и юрисдикций. Государство может разрешить то, что запрещает церковь, и в этом случае гражданин, который также является прихожанином, должен обязательно восстать против одного или другого общества, к которому он принадлежит. Конфликт между двумя обществами и различными обязательствами, которые они налагают, был конфликтом, неизвестным Средним векам. Короли действительно могли быть отлучены от церкви, и в этом случае их подданные были вынуждены решать, кому подчиняться - отлученному королю или отлученному папе. Но это был лишь конфликт между двумя различными преданностями двум различным властям; это не был конфликт между двумя различными членствами в двух различных обществах. Конфликт между двумя обществами - церковью и государством - вряд ли мог возникнуть в Средние века, потому что существовало только одно общество, неразделенное христианское содружество, которое было одновременно и церковью, и государством. Поскольку существовало только одно общество, крещение считалось допуском и к церковному служению, и к гражданству, которые в христианском содруестве были одним и только одним; и по той же причине отлучение, которое закрывало преступнику доступ ко всей религиозной жизни, исключало его в равной степени и тем же самым актом из всех гражданских прав. Отлученный не мог войти ни в церковь, ни в суд; не мог получить ни евхаристии, ни наследства; не мог владеть ни юре душ, ни акром земли. Гражданское право и религиозный статус подразумевали друг друга; и не только *extra ecclesiam nulla salus* было верным изречением, но и *extra ecclesiam nullum ius* было бы очень близко к истине. И здесь снова есть повод сказать, что государство как таковое едва ли можно проследить в Средние века. Государство - это организация светской жизни. Даже если оно выходит за рамки своей элементарной цели - обеспечения безопасности личности и имущества - и посвящает себя духовным целям, оно занимается развитием духа в его земном существовании и ограничивается расширением разума в рамках смертного общества. Средневековье больше думало о спасении, чем о безопасности, и больше о вечном обществе всех верующих, объединенных во Христе, их Главе, чем о каком-либо преходящем обществе только этого

мира. Они могли признавать королей, которые носили меч ради безопасности и вершили правосудие в силу своего помазания. Но короли, по их мнению, не были главами светских обществ. Они были агентами единого божественного содружества - защитниками Веры, которые владели светским мечом для достижения целей Бога. Таким образом, при наличии двух орденов служителей существовало одно общество; и поэтому, хотя можно было различать *regnum* и *sacerdotium*, государство и церковь нельзя было разделить. Стефан Турнейский, канонист двенадцатого века, признает две власти; но он знает только одно общество, под властью одного короля. Это общество - Церковь, этот царь - Христос.

В таких условиях, когда множественность государств не признается теорией, даже если она существует на практике, и когда различие между государством и церковью неизвестно и не проводится в жизнь, мы можем с полным правом сказать вместе с немецким писателем, чье имя я хотел бы упомянуть *honoris causa*, профессором Трельчем, что "не было никакого чувства к государству; не было общей и единообразной зависимости от центральной власти; не было всемогущего суверенитета; не было равного давления общественного гражданского права; не было абстрактной основы ассоциации в формальных и юридических правилах - или, во всяком случае, если что-то подобное присутствовало, это было делом только церкви, но никак не государства".^[21] В той мере, в какой социальная жизнь была осознанно сформулирована в виде схемы, достижение принадлежало духовенству, а схема - Церкви. Взаимозависимости и ассоциации светской жизни - королевства, вотчины и поместья - были лишь личными объединениями, основанными на чувствах преданности и бессознательных элементах обычая. Как мы видели, характерной чертой этих объединений была смесь единообразия и обособленности: они были одновременно очень похожи друг на друга на всей территории Западной Европы и (за исключением их связи в общем членстве во Вселенской Церкви) очень сильно отделены друг от друга. Но с одной из этих групп - королевством, которое в свое время должно было стать современным государством - связано будущее; и мы, пожалуй, закончим наше исследование кратким обзором линий его будущего развития.

IV

Развитие королевства в государство было в значительной степени делом рук юристов. Юриспруденция - профессия живучая, и в Англии, во всяком случае, ее представители оказывали большое влияние на политику с двенадцатого по двадцатый век - со времен Гланвилла, юстициара Генриха II, до дней мистера Асквита, премьер-министра Георга V. Возможно, именно в Англии мы впервые видим зародыши современного государства, появившиеся под заботливым присмотром королевских судей. Генрих II - своего рода суверен: его судьи формулируют ряд приказов, в основном в форме судебных актов, которые стали общим законом страны; а в Кларендонских конституциях мы уже можем видеть, как начинает проводиться различие между церковью и государством. При наличии суверена, закона и светской политики мы можем начать подозревать наличие государства. Во Франции аналогичное развитие, хотя и несколько позднее, чем в Англии, происходит сравнительно рано. К концу XIII века легисты Филиппа ле Беля создали нечто вроде *étatisme* во владениях своего господина. Двор короля начинает править страной и, гордясь своей молодой силой, вступает в борьбу с Бонифацием VIII, великим пророком Вселенской церкви, провозгласившим, что все человеческие существа подчинены римскому понтифику. Крах Бонифация при Ананьи в 1303 году - традиционная дата окончательного поражения средневекового папства. Повсюду, действительно, казалось, что в конце тринадцатого века наступил перелом. Крестовые походы закончились с падением Акры в 1291 году. Подавление великого международного ордена тамплиеров двадцать лет спустя ознаменовало новый

скачок надвигающихся волн. Новая эра современного национального государства, казалось бы, уже началась.

Но приливы и отливы движутся медленно и постепенно. Потребовалось еще два столетия, прежде чем условия, в которых могло бы процветать современное государство, были полностью и окончательно созданы. Должны были измениться экономические условия - процесс всегда постепенный и медленный; национальная экономика, основанная на деньгах, должна была заменить старую местную экономику, основанную на натуральном хозяйстве. Должны были сформироваться языки, местные диалекты должны были превратиться в национальные и литературные формы, прежде чем национальные государства смогли бы найти средства выражения. Возрождение образования должно было бросить вызов старой клерикальной структуре знаний и освободить прогресс светской науки, прежде чем умы людей смогут с готовностью воспринять новые формы общественного устройства и новые способы человеческой деятельности. Но к 1500 году подготовительная работа была в значительной степени завершена. Прогресс открытий неизмеримо расширил мир. Добавление Америки на карту имело духовные последствия, которые трудно оценить в каких-либо адекватных терминах. Если старый мир Средиземноморья можно было представить в единстве, то свести к Единому новый мир, вплывший в сознание людей, было еще труднее. Еще более обременительной для будущих поколений была огромная торговля, неизбежно осуществляемая на национальной основе, которую эпоха открытий должна была раздуть. Тем временем люди начали думать и писать на национальных языках. Уже к правлению Ричарда II диалект Восточного Мидленда, на котором говорили в столице и университетах, стал литературным языком, на котором Чосер и Уиклиф общались со всей нацией. Еще раньше возник итальянский язык, а спустя чуть более века после Уиклифа Лютер должен был дать Германии общую речь и общую Библию. Неудивительно, что в такие времена старое единство христианского содружества Средневековья распалось на фрагменты, или что, наряду с национальным языком, возникла - во всяком случае, в Англии и Германии - национальная церковь. Единство общей римской церкви и общей романской культуры исчезло. *Cuius regio eius religio*. Каждому региону - своя религия, а каждому народу, добавим мы, - своя национальная культура. Ренессанс мог начаться как космополитическое движение и найти в Эразме представителя космополитизма. Но закончилось оно национальными литературами; и через сто лет после Эразма Шекспир писал в Англии, Ариосто - в Италии, а Лопе де Вега - в Испании.

В шестнадцатом веке государство было активным и делало все, что ему вздумается. Оно участвовало в войнах. Франция воевала с Испанией: Англия стремилась сохранить равновесие: Турция участвовала в борьбе. Это мир, с которым мы знакомы - мир национальных языков, национальных религий, национальных культур, национальных войн, за всем этим стоит национальное государство, поддерживающее и поддерживаемое каждую форму национальной активности. Но единство не было полностью мертвым. Наука еще может выйти за пределы наций, и Гроций или Декарт, Спиноза или Лейбниц заполняют европейскую сцену. Религия, которая разделяет, может и объединить; общий кальвинизм может связать воедино венгерских мажар и женеvских французов, голландцев и шотландцев. Лейден в XVII веке мог служить, как и Гаага в XX веке, местом встречи народов; он мог бы играть роль международного университета, служить общим центром медицинской науки и классической культуры. Но прежнее единство Средневековья ушло в прошлое. Между теми временами и новыми лежала пропасть, которую не могли преодолеть ни голоса, ни языки. Многое было утеряно, чего уже никогда не вернуть; и если в валюту духа добавлялось новое золото, то в ее вещество вливались новые сплавы. Трудно было бы найти согласованный стандарт измерения, который позволил бы установить баланс наших

приобретений и потерь или определить, был ли новый мир лучше старого. Кто-то будет кричать, что старый мир был домом клерикализма и обскурантизма; кто-то с горечью скажет, что новый мир - это обитель двух других злых духов - национализма и коммерции. Одно можно сказать с уверенностью. Насколько можно судить, мы не можем надеяться на восстановление единства на старой основе христианского содружества Средних веков. И все же нам необходимо - необходимо срочно и настоятельно - найти некое единство духа, в котором все мы могли бы жить вместе в мире. Некоторые надеялись на единство в сфере экономики и полагали, что международные финансы и торговля заложат основы международной государственности. Их надеждам пришлось уснуть, и год войны показал, что "синхронизированный банковский курс и реагирующие биржи" не предполагают дальнейшего единства. Некоторые снова надеются на единство в области науки и верят, что сотрудничество наций в строительстве общего дома знаний приведет к сотрудничеству в строительстве большого особняка для общего общества цивилизованного человечества. Но национализм может извратить даже знания в своих собственных целях, превратив антропологию в политику, а химию - в войну. Остается последняя надежда - надежда на общее этическое единство, которое, по мере того как моральные убеждения постепенно оседают в законе, может постепенно конкретизироваться в общем мировом общественном праве. Даже эта надежда может быть лишь скромной, но она, возможно, самая мудрая и самая надежная из всех наших надежд. *Idem scire* - это хорошо; но люди всех наций могут знать одно и то же и при этом оставаться чужими друг для друга. *Idem velle idem nolle in re publica, ea demum firma amicitia est*. Народы в конце концов достигнут крепкой дружбы друг с другом в тот день, когда общая моральная воля будет контролировать сферу общественных дел. И когда они достигнут этой дружбы, тогда на гораздо более высоком уровне экономического развития и с совершенствованием каждым народом своего таланта, который является почти полностью новым, они снова обретут, хотя и в другой среде, что-то от единства средневековой цивилизации.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

У.Дж. Эшли, *Введение в английскую экономическую историю*, т. i, ч. 2, гл. 3; т. i, ч. 2, гл. 6. Longmans.

Лорд Брайс, *Священная Римская империя*. Macmillan.

А.Дж. и Р.У. Карлайль, *Средневековая политическая теория на Западе*. W. Blackwood.

Х.У.К. Дэвис, *Средневековая Европа* (Библиотека Домашнего университета). Уильямс и Норгейт.

Encyclopaedia Britannica (11-е издание), статьи "Крестовые походы" и "Империя".

Дж. Н. Фиггис, *Церкви в современном государстве*, Приложение I. Longmans.

Беде Джарретт; *Социалистические теории в Средние века*. Т.К. и Э.К. Джек.

Е. Дженкс, *Право и политика в Средние века*. Murray.

Ф.У. Мейтланд, *Политические теории Средневековья*, переведенные из книги Гирке "*Немецкий генуссеншафтсрехт*". Мейтланд. Cambridge University Press.

Р.Л. Пул, *Иллюстрации средневековой мысли*. Williams & Norgate.

Н. Rashdall, *Universities of Europe in the Middle Ages*. Clarendon Press.

A.L. Smith, *Church and State in the Middle Ages*. Clarendon Press.

H.O. Taylor, *The Mediaeval Mind*. Macmillan.

E. Tröltzsch, *Die Soziallehren der christlichen Kirchen* (II. Kapitel).

P. Vinogradoff, *Roman Law in Mediaeval Europe*. Harper.

СНОСКИ:

[15] Я хотел бы посвятить это эссе моему другу и старому ученику, преподобному Беде Джаррету, О.Р., которому я многим обязан и к книге которого о *средневековом социализме* я хотел бы отослать моих читателей.

[16] Pirenne, *Revue Historique*, liii. p. 82.

[17] *De Vulgari Eloquentia*, 1. viii.

[18] *De Monarchia*, 1. x.

[19] Cp. Carlyle, *Mediaeval Political Theory in the West*, ii. 219-22.

[20] Cp. E.R. Bevan, *Stoics and Sceptics*.

[21] *Die Soziallehren der christlichen Kirchen*, p. 242.

V

ЕДИНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ В ПРАВЕ

Вы знаете историю "*Антигоны*" Софокла: когда два брата оспаривали фиванский престол, один из них, Полиникс, был изгнан и привел в город чужеземное войско. Оба брата пали в битве. Их дядя берет власть в свои руки и издает указ, согласно которому никто не должен хоронить предателя, выступившего с оружием в руках против своей родины. Обязанность дать или разрешить достойное погребение даже врагу была для греков особенно священной. Однако повиновение приказам законной власти - обязанность, обязательная для каждого гражданина. Никто не смеет пренебречь приказом царя, кроме сестры покойника. Ее ловят на месте преступления и приводят к царю. "И ты, - говорит он, - действительно осмелилась преступить этот закон?" "Да, - отвечает Антигона, - ибо не Зевс издал мне этот указ; не таковы законы, установленные среди людей Судьей, живущим с богами внизу; не думала я, что указы твои имеют такую силу, что смертный может отменить неписанные и неизменные уставы небес. Ибо жизнь их не сегодня и не вчера, а во все времена, и никто не знает, когда они были впервые приняты".[22]

Вот вам и утверждение закона, верховного и обязательного для всех людей, вечного, не отменяемого человеческими постановлениями.

А теперь обратитесь к этому отрывку из книги путешественника и историка Геродота, почти точного современника Софокла. Он рассказывает о том, как Камбиз, царь персов, бесцеремонно оскорблял религию и обычаи египтян. Этот человек, должно быть, был безумен, - говорит он:

Ведь если поставить людей всех наций перед выбором лучших законов из всех существующих, каждый, подумав, выберет законы своей страны: так далеко заходят люди,

считая свои законы лучшими. Поэтому вряд ли кто, кроме сумасшедшего, станет высмеивать такие вещи. А то, что все люди так думают о своих законах, можно доказать многими доказательствами, и прежде всего этой историей. Ибо когда Дарий был царем, он призвал к себе греков, которые были при его дворе, и спросил их: "Сколько денег вы возьмете, чтобы съесть своих отцов, когда они умрут? И они ответили, что не сделают этого ни за какую цену. После этого Дарий позвал людей из индийского племени каллатиев, которые едят своих родителей, и спросил их в присутствии греков, которым переводчик передал сказанное: "Сколько вы возьмете денег, чтобы сжечь огнем ваших отцов, когда они умрут? И они возопили великим голосом, чтобы он не говорил такого богохульства. Так думают люди, и я считаю, что Пиндар правильно сказал в своей поэме, что закон - царь над всеми".[23]

Закон - царь над людьми и богами, но капризный монарх, повелевающий здесь то, там это.

Этот капризный произвольный аспект закона очень впечатлял греков. Они противопоставляли изменчивые, искусственные порядки, созданные человечеством, постоянству и простоте природы. Мы говорим о природе и законе; они противопоставляли то, что дано природой, тому, что дано законом. Это было противопоставление, которое впоследствии принесло свои плоды.

Закон, чей произвол и разнообразие так поражали греков, был законом не столько этого места или того, сколько того или иного сообщества и его членов. Это концепция, совершенно отличная от той, что существует в современном мире. Мы можем перефразировать "английское право", сказав "право Англии", потому что это право, которое будет применяться (с некоторыми исключениями или изменениями) английскими судами ко всем лицам, будь то англичане или иностранцы, которые предстанут перед ними. Но афинское право не является в этом смысле правом Афин, равно как и римское право не является правом Рима. Мы видим закон афинских или римских граждан. Чужак в городе - чужак в его законе. В принципе, он лишен прав по этому закону. Его жизнь не защищена ни кровной мстью, которую может преследовать его семья, ни компенсацией, за которую ее можно выкупить. Его брак с горожанкой не будет браком или, в лучшем случае, полубраком. Он не может приобрести никакой земли на территории города, а те товары, которые он привезет с собой, будут отданы на милость первого встречного.

Такова, во всяком случае, теория "закона граждан".

Не стоит, правда, верить, что в первобытные времена она была логично сформулирована и безжалостно применена. Некоторые из ее применений были результатом позитивного законодательства, вызванного растущим сознанием самодостаточности городского государства и привилегий гражданства, как, например, когда Афины приняли закон, исключаящий из гражданства потомство граждан, женившихся на чужих женах. Но в общих чертах этот принцип достаточно подтверждается исключениями, которые были необходимы для того, чтобы сделать возможным человеческое общение. Чужеземец в ваших воротах защищен только потому, что он в ваших воротах, и вы бросаете на него свою защиту, как это и есть ваш долг, ибо поданные и чужеземцы приходят от Зевса. Иностранец, даже находящийся на расстоянии, может иметь в качестве представителя гражданина, который может и будет защищать его права. Чужеземцу может быть позволено поселиться в городе на постоянное место жительства и при посредничестве покровителя или опекуна пользоваться частными правами, не намного уступающими правам гражданина. Его правовое положение не будет сильно отличаться от положения женщины-гражданки, которая нуждается в таком же посредничестве. Города могут, опять же по договору, предоставлять гражданам друг друга взаимные права на правовую защиту.

В середине третьего века до нашей эры Рим, после своей первой успешной войны с Карфагеном, принял особые меры для решения проблемы иностранного истца. Огромная и растущая торговля, которая шла со всех концов Средиземноморья, требовала чего-то большего, чем простого допуска к договорным привилегиям. Отныне для рассмотрения исков, в которых участвовали иностранцы, назначался специальный чиновник, а решение выносилось органом (который мы можем сравнить с присяжными), в который могли входить сограждане иностранного истца.

Но тут возникла трудность: какой закон должен применяться к сделке между римлянином и иностранцем или между двумя иностранцами? Римское право, право граждан, было кодифицировано двумя столетиями ранее, и его очертания были затверждены практикой двух столетий. Формы передачи имущества, например, были строгими и торжественными; иностранец вряд ли знал их, а если и знал, то его чужая рука не смогла бы эффективно совершить предписанные действия, а чужие уста - произнести почти священные слова. Ответ заключался в том, что за формами закона того или иного города скрывается "закон людей всех народов". Общие элементы в обычных жизненных сделках, в какую бы форму они ни облекались, могли быть приняты во внимание и приведены в действие. Таким образом, наряду с правом собственности по закону римских граждан, торжественными словами обещания, которые мог произнести только римский гражданин, браком, который мог заключить только римский гражданин, могли существовать собственность, договор, брак, стороной которого мог быть любой человек, гражданин или иностранец.

Этот "закон людей всех народов" (*ius gentium*), конечно, не был международным законом, это был закон, управляемый римскими чиновниками, и он был окрашен римскими понятиями, как бы много он ни черпал из сравнения иностранных законов, с которыми римляне вступали в контакт. В свою очередь, оно реагировало на более узкое право римских граждан (*ius civile*), расширяя его понятия и позволяя ему освободиться от примитивного формализма. Это также облегчило задачу римских правителей, которые были призваны управлять различными законами разных стран, входивших в состав Римской империи.

Постепенное распространение гражданства (завершившееся в конце II века н. э.) на всех жителей империи сделало возможным, по крайней мере внешне, применение единой системы права во всем цивилизованном мире, хотя под кажущимся единообразием до конца сохранялись местные традиции и обычаи, во всяком случае, на востоке. Гражданское право", как до сих пор называют римское право в его окончательной форме, состоит из элементов узкоримского и более универсального права, неразрывно переплетенных между собой.

Это римское решение проблемы иностранного тяжущегося имеет гораздо большее, чем просто практическое значение. Стоическая философия, выросшая на фоне упадка старой городской жизни, приверженцы которой говорили о себе как о гражданах мира, закрепила старую антитезу закона (или конвенции) и природы и сформировала концепцию закона природы, который должен иметь разумную основу и силу, превосходящую произвол городского закона. Этой идеальной концепции римское право людей всех народов придало тело и реальность. Стоицизм стал "установленной" философией Рима, и римские юристы почти отождествляли "*ius gentium*" с идеальным законом природы, описывая его как то, что естественный разум установил среди всех людей. Однако для, по крайней мере, одного из великих классических юристов, чьи слова были закреплены в законодательстве Юстиниана, это отождествление было неполным. По природе, говорили они, все люди свободны, а человечество отступило от того, что требует естественный разум, допустив рабство. Таким образом, закон природы следует искать в чем-то более универсальном, чем практика

человечества. Более пятнадцатисот лет спустя в одном из английских судов аргумент против признания прав рабовладельца был успешно обоснован законом природы.

Прежде чем римское право было приведено (в Константинополе) в окончательную форму, в которой оно дошло до нас, Римская империя на западе уже распалась в результате нашествий варваров. Захватчики принесли с собой свои племенные законы и обычаи, грубые, часто жестокие, узкие, а не простые, ибо простота - дело цивилизации. Они не понимали и не могли принять законы мира, в который пришли. Но и они не могли, если бы захотели, навязать свои законы покоренным жителям. Среди них в вырожденном виде продолжала существовать старая цивилизация, а вместе с ней и римское право. Одним из первых событий стало то, что завоеватели составили для своих римских подданных краткие своды римского права в том виде, в каком оно сохранилось в деградировавшем виде, а также составили изложения своего собственного права для своих последователей. Долгое время каждый человек, в зависимости от общины, к которой он принадлежал, имел свой "личный" закон. Уже в 850 г. н. э. мы слышали, что во Франции могло случиться так, что пять человек собрались вместе, и у каждого был свой закон. Конечно, такое положение вещей означает, что очень скоро должен существовать, по крайней мере, один набор общих правовых норм, которые должны применяться на всей территории, а именно правила, определяющие, какой вид личного закона должен использоваться в случае спора между двумя лицами, чей личный закон отличается.

Постепенно различные группы населения в пределах одной территории объединяются, и право из личного становится местным. Но местная территория не будет одинаковой для всех целей. Закон или обычай, определяющий права мелкого, часто несвободного или полусвободного арендатора, как между ним и его соседом, так и между ним и его лордом, может распространяться не далее очень небольшой территории, которую в Англии мы называем манором. Закон, по которому великие люди владели своими землями от короля, хотя, возможно, и не единообразный во всем королевстве, охватывает гораздо большую территорию. Тот факт, что великий человек может владеть землей в отдаленных местах, в разных королевствах, и что люди этого класса связаны с разными частями Западной Европы, приведет к формированию общих представлений о феодальном праве, которые делают возможным даже научное изучение феодального права, хотя полного единообразия никогда не было достигнуто.

Англия была первой западной страной, достигшей политического единства с территорией, практически не отличающейся от современной; и решение английских королей, что в более важных вопросах правосудие должно осуществляться по всей стране от имени короля либо его судами в Вестминстере, либо судьями, посылаемыми им в графства, обеспечило формирование английского общего права, которое оставляло сравнительно мало места для местных обычаев и которое в ранний период стало достаточно сильным, чтобы противостоять попыткам ввести иностранное право. Еще во времена Генриха III бароны в один голос заявили, что не допустят изменения законов Англии в пользу правила - узаконивания бастардов последующим браком их родителей, - которое в той или иной форме было принято в западном христианстве и даже в соседнем королевстве Шотландия.

Во Франции политическое единство было достигнуто лишь позднее и постепенно, а когда оно наступило, различия в праве различных провинций слишком прочно укоренились, чтобы единообразие стало возможным до самой революции. В Германии теневое единство Священной Римской империи никогда не было достаточным для эффективного централизованного отправления правосудия. Национальное право в строгом смысле слова было невозможно в таких условиях: самое большее, что можно было ожидать, - это такая

степень единства, которая вытекает из общих традиций, унаследованных от более примитивных времен, а также из общности языка и национального чувства.

Среди местных и национальных различий в праве, во всяком случае, существовали два объединяющих влияния - римское и каноническое право. В некоторых частях Европы, как, например, на юге Франции и Италии, традиции римского права так и не угасли, и оно в ослабленном виде, со значительной примесью права захватчиков, легло в основу местного права. В других случаях основу составляло варварское право. Но как за новыми языками, в основном основанными на латыни или тевтонском, латынь оставалась средством общения между странами Запада, инструментом мысли и обучения, так и римское право оставалось традицией, которая всегда была готова оказать влияние. Право изучается и развивается не только в судах. Сделки должны быть составлены в письменной форме, в основном на латыни и основаны на прецедентах. Особенно дарственные на землю церковным органам и от них будут иметь форму, во многом заимствованную из римских или романических образцов; они будут служить образцом для других сделок. Даже формулирование местного права в ранних кодексах будет осуществляться людьми, которые не знают никакого писаного права, кроме римского. В двенадцатом веке римское право становится предметом университетского изучения по всей Западной Европе, в Италии, в Париже, даже в Оксфорде, и составляет часть того международного обучения, которое ученые переносят из страны в страну. Люди, обученные римскому праву, занимают высокие посты на государственной службе. Будучи судьями и администраторами, они не забудут того, что изучали как студенты или преподавали как врачи. И все же было бы легко преувеличить его влияние, как бы велико оно ни было. Конечно, оно проявилось, например, в нашей стране скорее как форма и метод правового мышления, чем как реальный источник правовых норм, а сила и сплоченность, которые оно помогло придать нашему праву, позволили ему впоследствии противостоять его дальнейшему продвижению.

Каноническое право было правом Западной Церкви, поистине международного общества. Оно было сформировано в основном по образцу римского права и во многом заимствовано из него, хотя в нем много неримских элементов. Оно регулировало не только то, что мы называем чисто церковными вопросами, но и касалось или пыталось касаться других вещей, таких как брак и распоряжение имуществом умершего. Наш закон о браке и разводе, а также о завещании имеет историю, восходящую к церковному праву Средневековья. Как и римское право, оно оказывало влияние как образец и хранилище максим, тем более что в каждой стране это был закон, фактически действующий в сфере, границы которой постоянно оспаривались между светской и церковной властью.

Начало современной Европы, с которым мы связываем такие вещи, как возрождение образования и Реформация, принесло с собой на континент событие, которое известно как рецепция римского права. Традиции античного мира в средневековые времена рассматривались средневековыми глазами и были адаптированы к средневековым потребностям. Новое время настаивало на возвращении непосредственно к классической традиции. Именно реальное римское право Юстиниана, а не римское право в интерпретации средневековых комментаторов, должно было изучаться и применяться. Распад институтов Средневековья, рост абсолютной монархической власти, централизация управления - все это благоприятствовало данной тенденции. Римское право содержало доктрины, которые были очень удобны для абсолютного правителя, например, "решение монарха имеет силу закона". В Германии, где право было разделено на бесчисленные местные обычаи, это движение получило наибольший эффект. Римское право становится законом, который должен применяться в отсутствие позитивного акта или оправданного обычая. Местное

право вынуждено бороться за свою жизнь, и ему повезет, если оно сможет выполнить условия, необходимые для сохранения признанного обычая. В каждой стране Запада за пределами Англии в большей или меньшей степени появляется римское право как нечто, что, по крайней мере, заполнит пробелы, очистит или переделает родное право. Даже в Шотландии тексты римского права могут быть приведены в качестве авторитетов. Только сила нашего собственного закона и успешное сопротивление наших общественных институтов монархической власти спасли нас от "рецепции", в континентальном смысле, римского права. И даже наш Блэкстоун будет с уважением цитировать римское право там, где оно подтверждает наши собственные правила.

Если эта рецепция была движением, которое привело к большому единству в форме и содержании законов Западной Европы, то здесь действовал другой фактор, который имел противоположное направление. Претензии империи на всеобщую власть становятся все более нереальными: притязания папы либо полностью отвергаются, либо церковная сфера строго ограничивается. Государство становится суверенным. Для этого нет разницы, кто является верховной властью - Высокий парламентский суд или абсолютный монарх: закон рассматривается как повеление суверенного лица или собрания. Ни один закон, - говорят нам, - не может быть несправедливым", , ибо закон - это стандарт справедливости, и нет другого стандарта, по которому можно было бы измерить справедливость закона. Тот факт, что в каждом государстве существует суверенная власть, которая может принимать и отменять законы по своему усмотрению, делает возможным создание единого закона для всех подданных государства, а в той мере, в какой государство совпадает с нацией, делает возможным создание национального единства в праве. Так Фридрих Великий дал кодекс Пруссии, так Наполеон дал Франции кодекс, который уничтожил разнообразие провинциальных обычаев; однако он служил не только национальным целям, поскольку нашел свое применение не только в странах, завоеванных им, где он пережил свои завоевания, но даже в тех землях, где он никогда не властвовал. Наши французские сограждане в Квебеке используют его адаптацию в качестве формулировки своего закона. Потребовалось больше времени, прежде чем Германия в целом добилась единообразия законодательства. Сама сила национальных устремлений, пробужденных войной с Наполеоном, некоторое время стояла на пути кодификации. Великий немецкий юрист того времени Савиньи считал национальное право полубессознательным продуктом национального чувства права. Кодекс Наполеона был революционным кодексом, основанным (несомненно, несовершенным) на доктринах прав человека; кодификация для Германии означала бы принятие чего-то абстрактного, не имеющего специфически национального характера. Только столетие необычайно плодотворной научной деятельности, принесшее с собой одновременно новое и интенсивное изучение римского права, а также возрождение знания и применения местных концепций права, сделало возможным создание немецкого гражданского кодекса, вступившего в силу пятнадцать лет назад.

Англия никогда всерьез не занималась кодификацией, и ее право, единое и национальное уже в Средние века, в современном мире стало чем-то гораздо более широким, чем просто национальное право. Английские переселенцы в новый мир принесли с собой свое право. Сегодня английское право, несомненно, измененное законодательством штатов и федеральным законодательством, является общим правом великой республики Соединенных Штатов. Колонии, которые все еще остаются в составе нашей империи, являются территориями английского права, за исключением тех, где, как в Южной Африке или Квебеке, цивилизованные поселенцы уже установили и сохранили свое собственное

право. На всех этих землях, и неважно, под каким флагом, английский юрист находит суды, говорящие на понятном ему языке.

Таким образом, получилось, что мир, цивилизация которого берет начало в Западной Европе, можно разделить на земли английского права и земли, где, по крайней мере внешне, право римское. И все же мы не должны придавать этому разделению слишком большое значение. Прежде всего, оно проходит через национальные границы. Оно объединяет нас с Соединенными Штатами Америки, отделяет нас от некоторых наших собственных колоний, в то время как объединяет их с континентальной Европой. Во-вторых, право, как и язык, является формой мысли, а разнообразие форм, хотя и мешает, но не препятствует единству содержания.

Среди сил, которые способствовали единству, следует сказать и о концепции закона природы. Это словосочетание вышло из моды в нашей стране со времен Бентама и Остина, которые подчеркивали позитивный, можно сказать, произвольный характер единственного закона, который они признавали законом в собственном смысле этого слова. Я не собираюсь обсуждать здесь его философскую обоснованность. Но это никогда не упускалось из виду. Это одно из наследий традиции римского права. Как в Средние века, так и после их окончания она была предметом спекуляций и влиянием, которым руководствовались законодатели, мыслители и администраторы права. На континенте существует целая литература по этому вопросу. Она в значительной степени присутствует у Блэкстоуна: вы можете увидеть ее влияние на судей восемнадцатого века в этой стране ; основатели Американской республики включили значительную часть ее в свою конституцию, и американские судьи до сих пор без стыда ссылаются на нее. На самом деле он означает стандарт, по которому можно судить о законе здесь и сейчас, стандарт, основанный на потребностях человеческой природы. То, что этот стандарт становится другим, по мере развития потребностей и возможностей человечества, не помешало поиску такого стандарта.

Возможно, это лишь другой способ выразить то же самое, сказав, что право развивалось и развивается постоянно в связи с преследованием целей, к которым человечество пришло более или менее осознанно. В той мере, в какой эти цели являются общими, а я полагаю, что в основном, среди национального и индивидуального разнообразия и конфликтов, они являются общими, право было сформировано для их достижения. В целом то, что люди просили закон сделать для них, было одинаковым на любом этапе цивилизации. Восемнадцатый век просил свободы, собственности и счастья. Мы вкладываем в эти слова совсем другой смысл, а может быть, и другой акцент, не только здесь, но и во всем цивилизованном мире, и основные движения правовых изменений везде идут в одном и том же направлении.

Несколько слов о двух видах права, известных как международное публичное и международное частное право.

Тот факт, что законы разных стран отличаются друг от друга, порождает проблемы всякий раз, когда суды одной страны сталкиваются с фактами, в которые вовлечен какой-либо иностранный элемент, например, гражданин или житель другой страны, или собственность, находящаяся в другой стране, или контракт или сделка, имевшая место за рубежом. Сейчас мы уже давно прошли тот этап, когда суды могли просто игнорировать иностранный элемент, сказать, что этот человек - иностранец, поэтому у него нет прав; или что это событие произошло за границей, и поэтому мы будем относиться к нему так, как будто его никогда не было. С другой стороны, не позволяет суду применять только свой собственный закон.

Например, будет допущена серьезная несправедливость, если сделка, совершенная на основании закона, который дает ей определенные последствия, будет рассматриваться как совершенная на основании другого закона, который даст ей другие последствия или вообще не даст никаких последствий. По этой причине суды всех стран разработали правила (иногда называемые международным частным правом; иногда, и как считают некоторые, более правильно, называемые "коллизией законов"), с помощью которых они определяют, в какой степени, когда задействован иностранный элемент, должно применяться иностранное право, а не то, которое суд применяет в обычных случаях. Эти правила не одинаковы во всех странах, поскольку возможны расхождения во мнениях относительно того, чего требует правосудие. Но само существование таких правил показывает, что суды считают, что мир права един, как бы он ни был разнообразен, и что ни один территориальный закон не может слепо следовать своему пути, не принимая во внимание своих соседей.

Международное право в более правильном смысле этого слова, то есть международное публичное право, или право, регулирующее отношения между государствами, - это совсем другое дело. Нечто подобное было неизвестно в древнем мире; у греков, например, были правила против отравления колодцев, надлежащего обращения с посланниками, заключения и соблюдения договоров. Но в своей современной форме он появился как раз в то время, когда государства стали просыпаться, осознавая свой суверенитет, и когда ужасы войн, последовавших за Реформацией, показали, что даже суверенные державы должны придерживаться некоторых правил поведения. С самого начала она была делом рук писателей и преподавателей права, а в последнее время была создана на основе соглашения между государствами. В отличие от закона между человеком и человеком, который современные государства обеспечивают организованным принуждением, здесь нет постоянной организации, в обязанности которой входило бы следить за его соблюдением. Неверно говорить, что по этой причине он вообще не является законом, поскольку в первобытные времена признанные нормы частного права обеспечивались не санкцией государства, а действиями отдельных людей, при поддержке мнений, а иногда и активной помощи соседей и друзей. Но закон, который успешно и безнаказанно нарушается, - это не закон. Реальность и сила международного права заключалась в том, что его нарушение влекло за собой по крайней мере риск страданий, вызванных общим неодобрением цивилизованных наций; его сохранение и поддержание в будущем должно заключаться в уверенности в катастрофе, не меньшей, чем та, которая ожидает нарушителя частного права.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Джетро Браун, *Остиновская теория права*. Мюррей.

Мэн, *Древнее право*. Мюррей.

Поллок и Мейтланд, *История английского права*. Cambridge University Press.

Виноградов, *Здравый смысл в праве*. Библиотека Домашнего университета, Williams & Norgate.

Виноградов, *Римское право в средневековой Европе*. Harper's Library of Living Thought.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ:

[22] Софокл, *Антигона*, 449-57 (перевод Джебба).

VI

ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Вот уже около ста лет принято подчеркивать важность национальных особенностей в искусстве. Это было вполне естественно, ведь они представляют собой один из основных аспектов и обоснований восстания против концепции единого и неизменного стандарта совершенства неоклассиков эпохи Возрождения. Лессинг и Гердер, которые были критическими героями нового мира, действительно обладали знаниями и восхищением античным искусством, которые, вероятно, превосходили классицистов, но они отказывались признать, что искусство должно следовать формам античности, и утверждали, что его формы обязательно будут меняться с изменением условий мира и с изменением характеристик различных национальностей или рас.

С их времен и до наших дней эта концепция искусства, окрашенного или подверженного сильному и постоянному влиянию национальности, стала почти общим местом в критике, и нельзя отрицать, что в этой концепции есть реальная важность. Ведь хотя ничто не является искусством, которое не было бы самобытным, личным и уникальным, но в той же мере, в какой личность художника обусловлена его национальностью, в той же мере его художественные произведения будут отражать особенности его нации или страны. И все же, хотя это и так, нужно совсем немного подумать, чтобы понять, что когда мы рассматриваем великое произведение искусства, нас очень мало волнует вопрос национальности художника, а нечто более глубокое и масштабное, чем его национальность. Великий художник, несомненно, представляет жизнь в формах или терминах своего конкретного опыта, но он представляет именно жизнь и сам мир. Его волнуют не просто поверхностные или преходящие аспекты человеческой природы и мира, а то, что существенно и продолжает существовать в этих условиях.

Можно, конечно, утверждать, что между искусством Востока и Запада существует некое реальное и фундаментальное различие, но по мере того, как мы лучше узнаем восточное искусство, мы все больше сомневаемся даже в этом и скорее поражаемся единству художественного выражения даже Востока и Запада. Я отнюдь не хочу сказать, что национальность или раса не имеют никакого значения в искусстве, но я думаю, что мы были в опасности сильно преувеличить их важность. Я, по крайней мере, уверен, что мы постоянно придавали слишком большое значение предполагаемым различиям в литературе и искусстве разных европейских стран и что мы должны четко осознать, что европейское искусство и литература на самом деле едины.

В настоящее время нелишне обратить на это внимание, чтобы понять, являются ли литература и искусство разделяющими или объединяющими силами. Насколько мы можем понять, что, правда, кажется немного непонятным, немцы хотят навязать Европе свою культуру или цивилизацию, попытка настолько же абсурдная, насколько и невозможная, ведь немецкая культура - это, в конце концов, лишь часть великой европейской цивилизации, а часть не может занять место целого. Но, с другой стороны, для нас не менее важно понять, что мы хотим не уничтожить те элементы, которые Германия вносит в европейскую цивилизацию, а лишь добиться того, чтобы они заняли свое естественное и

подобающее место в том великом единстве, которое обогащается и расширяется благодаря вкладу каждого отдельного национального общества. Европейское искусство едино, то есть общие черты гораздо важнее национальных различий. Более того, мы часто принимаем за национальные те черты, которые проявились в одно время в одном месте, в то время как они могли существовать в другое время в другом месте. История европейского искусства - это в значительной степени история сменяющих друг друга влияний или движений, которые по большей части были общими для всей Европы, но не всегда точно синхронизировались в разных европейских странах.

Если в литературе и существует такое понятие, как национализм, то он полностью современный, в то время как в средневековой литературе и искусстве его почти нет. Это может показаться странным для тех, кто считает, что только железная дорога и пароход сблизили мир, но правда в том, что движение идей и моды в Средние века было, вероятно, по крайней мере, таким же быстрым, как и в наши дни. Как бы то ни было, факт, на мой взгляд, очевиден: когда мы изучаем средневековую литературу, мы обнаруживаем, что она практически однородна, что, где бы мы ни рассматривали ее - в Англии или Франции, в Германии или в Скандинавии, - она обладает практически одинаковыми качествами. Я еще не говорю об Италии, потому что итальянская литература - самая поздняя из великих европейских литератур, она, по крайней мере, не дошла до нас ни в каких формах ранее тринадцатого века.

Средневековая литература известна нам прежде всего в двух формах - героического эпоса и романа, и именно на них мы должны в первую очередь обратить наше внимание. Героический эпос известен нам на разных языках на протяжении периода, который охватывает примерно с восьмого по двенадцатый век. Самым ранним примером является английский "Беовульф", а самыми поздними - немецкий "Нибелунгенлид" и некоторые французские "Шансон де Гест", относящиеся к концу двенадцатого века. Эта эпическая литература не в последнюю очередь интересна для нас тем, что в ней, насколько мы можем судить, нет и следа того великого классического влияния, о котором вы уже слышали и которое играет столь большую роль в последующем развитии европейской литературы. Что же представляет собой эпос? Его материал - это истории северной мифологии, предания о великих переселениях, которые свергли Римскую империю на западе, и легенды, выросшие вокруг имени Карла Великого. Это истории о богах и полубогах, о бургундах и гуннах, об английском народе, возможно, еще обосновавшемся на балтийских берегах, о конфликтах франков и сарацин, о первых поселенцах в Исландии; они различаются по темпераменту и тону.

Но все они передают ощущение славы и великолепия великого бойца, стойкого сердца, которое поднимается вместе с растущей опасностью и никогда не бывает таким великим и великолепным, как тогда, когда оно сталкивается с непреодолимыми препятствиями и бросает вызов неумолимой судьбе. Эпический поэт настолько одержим этим чувством величия человеческой природы, что для него не имеет значения, даже если человек не прав или порочен: Ему нравится упрямство Роланда, который до поздней ночи не трубит в рог, призывая Карла Великого и его войска, а предпочитает встретить врага и, если понадобится, умереть сам, а не просить о помощи; его переполняет ощущение величия суровой фигуры Хагена, который действительно вероломно убил великого Зигфрида, но чье сердце так высоко, а рука так тяжела, что когда его одолевают и Хримхильда наконец мстит ему за убийство своего мужа, стоящий рядом старый рыцарь убивает саму Хримхильду - не пристало, чтобы столь великий воин был убит женщиной. Таковы мужчины эпоса.

А рядом с ними стоят фигуры женщин великих и милостивых, женщин, за любовь которых умирают и гибнут мужчины, но которые и сами умеют ненавидеть и любить страстно и жаростно. Иногда те, кто знает эпос только на одном или нескольких языках, говорят, что женщинам и женской любви нет места в эпосе, а есть место в романтике, но это ошибка. В средневековом эпосе мало говорят об эмоциях, но в "Нибелунглиде" и некоторых исландских сагах женщина, как и Елена в гомеровском эпосе, является мотивом и источником всего действия.

Эпос - это история великих и героических личностей, абстрагированных в этом смысле от обычных или повседневных обстоятельств жизни, но фон действия всегда реалистичен и даже детализирован, так что, как и в гомеровских поэмах, мы часто можем восстановить жизнь и нравы того времени, к которому принадлежат поэмы, на основе того, что они нам рассказывают. И нельзя сказать, что между эпосами в том виде, в каком мы находим их на разных языках, существует какое-то действительно национальное различие; они действительно являются выражением темперамента и личности великих художников, которые их создали, и каждый из них уникален и индивидуален пропорционально величию своих авторов, но в своих общих чертах они одинаковы.

В истории литературы мало изменений более примечательных, чем те, что произошли в европейском искусстве в конце одиннадцатого - начале двенадцатого века. Эпос связан с миром действия, роман занят почти исключительно миром чувств и эмоций. В этом и заключается истинный характер романа. Иногда говорят, что суть романа заключается в странных и загадочных обстоятельствах мира, в историях о тайнах и чудесах, о сказочной стране и волшебстве. И это совершенно верно, что он часто использует эти формы человеческого опыта. Но не это является его настоящим качеством. Начиная с истории Тристана и "lais" Марии Французской, вплоть до *Vita Nuova* Данте, то, чем она занята, - это человеческое сердце, его надежды и страхи, его радости и печали, его ликование и отчаяние. Нам достаточно прочитать самые ранние и самые великие формы, в которых дошла до нас история Тристана и Исеулт, чтобы убедиться в этом. Правда, мы можем видеть или предполагать, что за нынешним романом могла скрываться эпическая история действий героя, но то, что мы видим сейчас, есть не что иное, как история "бесконечной страсти", "бесконечной боли" человеческого сердца. Это история их роковой любви, страсти, которая уводит их из человеческого дома в пустыню, роковой страсти, которую разлука делает только глубже, которую ничто не может изменить, ничто не может прекратить, история мужчины и женщины, для которых мир потерян из-за любви. И если вы хотите увидеть весь смысл жизни, как его понимал романтик, вам достаточно обратиться к "lai" Марии Французской, где в нескольких строках рассказывается о том, как Тристан и Изеульта, давно разлученные, встречаются в лесу на несколько мгновений - встречаются, а затем расстаются, и над всем этим не витает ничего, кроме изысканного чувства любви и боли, любви и слез.

Эта романтическая поэзия действительно странная, настолько странная, что никому еще не удалось найти или объяснить ее истинное происхождение. Еще накануне великие художники воспевали галантные подвиги людей, а теперь они не видят ничего, не думают ни о чем, кроме человеческого сердца. И что, пожалуй, самое странное, эта великая реальность чувств, страстей представлена в виде мира, почти полностью нереального и условного. Мужчины и женщины эпоса были великими героическими фигурами, более крупного роста, более сильных страстей, чем обычный беглец, но они были вполне реальными людьми, двигались и действовали в реальном мире. Фигуры романтиков по большей части, если не считать интенсивной реальности их любви, - нереальные, условные фигуры мира рыцарей и дам, нереальных и условных действий. Мы понимаем эпический мир, мы видим и узнаем его

людей, их жилища, их образ действий и мыслей, но романтические рыцари и дамы - всего лишь условность.

Правда в том, что рыцарский или романтический мир нереален, отчасти, возможно, потому, что художников занимают только эмоции, и, хотя они глубоки, именно из-за их абстракции романтика закончилась в странном аллегорическом движении тринадцатого века. В руках более поздних и менее значительных поэтов романтический метод окончательно утрачивает почти всякую индивидуальность и превращается в картинный и анализ абстрактных эмоций. Именно этим абстракциям Гийом де Лоррис дал новую жизнь и необыкновенное изящество в олицетворениях "*Романса розы*", и очарование и изящество его искусства увлекли Европу, так что в течение почти трехсот лет оно имело тенденцию доминировать в европейской поэзии. Даже величайшие художники этих веков, Данте и Чосер, по крайней мере, начинали с этого метода, а в самом конце пятнадцатого века Уильям Данбар в Шотландии все еще использовал его с изяществом и живостью.

Но я слишком долго задерживался на Средних веках. Я сделал это потому, что, если бы мы только могли более ясно представить себе однородность Европы, из которой мы все вышли, это, я думаю, очень помогло бы очиститься от суеверного преувеличения концепции национальности в искусстве. У нас нет времени разбираться с этим, иначе мы могли бы остановиться на том, что характерное для средневековой литературы - это характерное для всего средневекового искусства и жизни. Для меня, конечно, очевидно, что представление о том, что люди Средневековья желали или работали над созданием единой политической организации, действительно является большой ошибкой. Но, с другой стороны, столь же несомненно, что в целом цивилизация, как и религия, была по-настоящему единой, и что лишь очень медленно из пестрой массы спутанных рас и племен Европы сформировались самосознательные национальности современного мира: действительно, в некоторых частях Европы это развитие было достигнуто лишь в XIX веке, а в юго-восточной Европе оно наступает только сегодня.

Европейское искусство по-прежнему выходит за рамки национальности; по своей сути оно различается личностью художника, а не национальными различиями. На первый взгляд это может показаться парадоксом, ведь вы можете сказать, что, конечно, современные национальные литературы во многом отличаются друг от друга, что, мол, между голландской и итальянской живописью есть большая разница, между английской и французской поэзией - большой контраст. Многие люди говорили, а некоторые, возможно, говорят и сейчас, о теплом, страстном и романтическом юге и холодном, немилосердном и бесстрастном севере. Но это всего лишь заблуждение. Данте не более изобретателен или страстен, чем Шекспир.

Что же тогда произвело такое впечатление? Ответ на этот вопрос и лучшее доказательство единства европейского искусства можно найти, рассмотрев некоторые из великих движений в его истории, начиная с того времени, когда цивилизация Средневековья достигла своей высшей точки в тринадцатом веке.

С четырнадцатого века начинается движение, которое вылилось в величайшую литературу современного мира, в драматургию Англии и Испании. Но его начало на первый взгляд странно отличается от его реализации, и поэтому почти невозможно найти какую-либо фразу или термин, под которым мы могли бы справедливо представить его. Первым великим мастером нового мира был Данте, но не Данте изысканного чувства, но искусственной формы *Vita Nuova*, а великий образный реалист "*Божественной комедии*", художник,

который мог изобразить страсть и боль Франчески и ее возлюбленного, и с такой же силой мастерскую фигуру Фаринаты, чью бесстрашную душу не мог подавить сам ад; кто мог перейти от яркого драматизма ожесточенной современной жизни Италии к бесконечному покою тех, для кого *"la sua voluntade è nostra pace"*. Ведь именно это ставит Данте в ряд величайших поэтов мира: нет такого аспекта реальности человеческой жизни и опыта, который был бы ему чужд и который величие его воображения не могло бы сделать для нас живым. Часто говорят, что Данте - величайший и самый представительный художник Средневековья, но насколько это верно, а это верно лишь отчасти, нам может показать, что в искусстве нет границ времени, как нет границ расы или страны. Данте - первый великий художник нового мира, но только через три столетия, только после Шекспира, стало ясно все значение новой литературы. Считается, что новая литература началась с двух великих художников, итальянца и англичанина: с Боккаччо на юге и Чосера на севере.

Что же является характерным качеством или нотой *"Декамерона"* и *"Кентерберийских рассказов"*? Не в разнузданности или грубости некоторых из этих рассказов, как думают некоторые нелепые люди, - это лишь один из аспектов их реализма, и в этом они не более чем продолжают характеристики того, что мы знаем как *"Фаблио"* Средних веков. Качество нового искусства как раз в том и состоит, что в человеческой жизни нет ничего, что было бы неинтересно или незначительно для этих великих художников, что они не связаны никакими традициями, не ограничены никакими условностями. Они начинали как художники романтики, и романтические чувства жизни никогда не переставали интересоваться и волновать их, но они научились выходить за рамки романтических условностей и находить материал для своего искусства во всем, что было частью реальности жизни. Для них, как и для других сказочников этих веков, было совершенно неважно, пересказывают ли они историю, дошедшую до нас из незапамятной древности, или рассказывают о том, что произошло вчера в их собственном городе или деревне, и они не знали ни сословных, ни ранговых, ни обстоятельственных различий; их захватывал универсальный человеческий интерес. Пример, который мы найдем наиболее показательным, это тот, который нам, англичанам, наиболее знаком, - *"Пролог"* к *"Кентерберийским рассказам"*. Было ли когда-нибудь что-то более великое в своем роде, чем это? Кто может забыть эти фигуры: рыцарь, Франклин, настоятельница, жена Бата? Пока мы читаем, перед нами проходит вся компания человеческой жизни, мудрая и глупая, серьезная и веселая, хорошая и плохая. Чосер и Боккаччо - величайшие художники того типа, который часто называют *"реалистическим"*, их, по крайней мере, очень легко отличить от эпических и романтических художников.

Они великие художники, но также достаточно ясно, что их силы и их понимание человеческой жизни были ограничены. То, что они начали, было доведено до конца великими драматургами шестнадцатого и семнадцатого веков. Ведь в том-то и заключается связь сказочников с драматургами, что они дают материал, на котором драматурги строят свое представление человеческой жизни, или, скорее, элементы, которые воображение великих драматургов превращает из голого *"реализма"* в высшее выражение реальности. Несомненно, драматурги используют в своих произведениях и другие материалы и влияния, но содержательное качество трагедии или комедии тесно связано с качеством сказаний. Как часто великие драмы строились на материалах, которые они черпали у Банделло или других итальянцев, продолжавших традицию Боккаччо, или из подобных северных источников. Но великие драматурги наделяли свои истории жизнью, страстью, широтой и полнотой, которые далеко ушли от их источников. В их руках, а точнее, в их творческом воображении, мы видим не просто внешние обстоятельства, голый факт, а всю полноту и завершенность, все изысканное изящество и красоту, всю страсть и ужас человеческого опыта. Мы можем

называть Боккаччо и Чосера "реалистами", но только у Марлоу и Уэбстера, и прежде всего у Шекспира, мы достигаем самой реальности.

Мы все знаем мир Шекспира, как он варьируется от Фальстафа до Гамлета, от Боттома до Лира, от миссис Квикли и куклы Тиршит до Розалинды, Имогены и Корделии; мы знаем, что для Шекспира, и в меньшей степени для некоторых других великих елизаветинцев, таких как Марлоу и Вебстер, в жизни нет ничего обычного и незначительного, ничего, что творческое воображение художника не могло бы превратить, трансмутировать, из простого шлака в чистое золото. Мы говорим, и говорим справедливо, что перед нами величайшее из того, что создала Англия, и считаем его олицетворением великолепной юности и первой зрелости великой нации.

Но помним ли мы и понимаем ли, что наряду с английской драмой существует и другая, не столь великая, как драма Шекспира, но более великая, чем драма любого другого елизаветинца, - драма Испании, Лопе де Вега и Кальдерона, драма того же характера, вдохновленная тем же духом, живущая под властью того же творческого воображения, драма, в которой та же яркая реальность овеяна тем же дыханием волшебной романтики. В трагедиях Лопе де Вега, в комедиях Кальдерона, при всей отличительной индивидуальности великих художников и каждого великого произведения искусства, мы имеем поэтическую драму, которая по своим основным характеристикам такая же, как и английская.

И все же, как сильно отличались обстоятельства жизни двух наций: Испания была в упадке, банкротом, побежденной; Англия поднималась к вершинам своего величия при Елизавете и Кромвеле. В конце шестнадцатого века Испания прошла свой великолепный меридиан и погрузилась в серую безвестность затуманенного вечера. Она быстро утратила то великое место, которое в течение нескольких лет занимала в мире, каждый день приносил новую неудачу, каждый год - новое бедствие; великая Армада погибла на дюнах Фландрии и Голландии, на скалах Шотландии и Ирландии; горстка доблестных голландцев бросила вызов ее силе и разрушила ее богатства; настоящий враг Испании, то есть Франция, собралась вместе после сорока лет разорения и несчастий и вытеснила испанскую державу. Действительно, столь великим, столь непреодолимым было, как мы теперь видим, это разорение, что Филипп II, который для английского воображения был воплощением жестокой и властной злобы, для студента-историка стал одной из трагических фигур в истории, искренним, глупым, фанатичным человеком, тщетно пытавшимся удержать великую империю, которую создали Фердинанд и Изабелла, Кортес и Писарро и Карл V.

Англия, напротив, поднималась из безвестности и становилась владычицей морей; англичане совершали набеги и грабили Новый Свет, на который Испания и Португалия смотрели как на свою собственность; Англия отправляла своих моряков и купцов во все моря и земли, от замерзшего севера до Индий.

И снова Испания была одержима яростной и страстной любовью к старому религиозному порядку, это была единственная страна, в которой преданность формам и концепциям средневековой религии оказалась непоколебимой, в то время как Англия была представительной силой нового религиозного нрава и вскоре должна была занять почти главное место в новой интеллектуальной жизни Европы.

И все же испанская драма во всех своих самых существенных и интимных чертах та же, что и английская; представляет собой, с одной стороны, то же непреодолимое чувство трагических конфликтов жизни, то же ощущение величия, великолепия человеческой природы, которая наиболее торжествует, когда кажется, что она терпит поражение; а с другой стороны, по крайней мере, что-то из того изысканного, почти невообразимого

изящества романтической комедии, мира Порции и Виолы, Беатриче и Миранды. Не думаю, что единство великого искусства Европы, сравнительная незначительность чисто национальных особенностей и исторических обстоятельств могут найти более убедительную иллюстрацию.

Мне хотелось бы адекватно рассмотреть параллельные направления в живописи и скульптуре на протяжении этих столетий, но у меня нет ни возможности, ни времени заниматься ими. Можно лишь сказать, что движение этих искусств в течение этих веков, с XIV по XVII, очень тесно параллельно движению литературы. Я не могу обсуждать особенности средневековой скульптуры и живописи, но хочу напомнить, что мнение о том, что они были лишь условными и абстрактными, столь же ошибочно, как и мнение о том, что средневековая литература имеет дело только с условностями или аллегориями. Конечно, очевидно, что церковная или религиозная цель, которой служила большая часть дошедшего до нас декоративного искусства Средневековья, ограничивает и сдерживает его сюжеты и формы. Но никто из тех, кто внимательно изучает средневековую скульптуру и мозаичную живопись, не может не заметить, что наряду со многим, что стало условным, и закрепилось в так называемом "византийском" стиле, существует огромное количество работ как в скульптуре, так и в мозаике, которые выражают решимость средневекового художника изобразить мир таким, каким он его пережил и увидел, и что главным препятствием для свободного выражения этого духа было не согласие или удовлетворение средневекового художника традиционными формами, а недостаток технической сноровки. Это станет очевидным для любого, кто при изучении мозаик переключит свое внимание с, несомненно, несколько условных и иератических фигур святых и ангелов на реалистические попытки изобразить библейские сюжеты. И любому, кто изучит, например, скульптуру Уэллса, Амьена или Шартра, станет ясно, что к XIII веку художники быстро научились изображать мир таким, каким они его знали, и что-то из его изящества и красоты. Если мы говорим, что история пластических искусств в Европе с XIV по XVII век - это история открытия и представления сначала реальности, а затем реальности, преобразованной высочайшим воображаемым представлением о красоте, то это не должно означать, что реальность и красота отсутствовали в этих искусствах в Средние века.

Если проследить развитие итальянского искусства, то в таких работах, как Масаччо в капелле Бранкаччи во Флоренции, мы увидим тот же характерный интерес к внешнему виду и разновидностям человеческой жизни, который мы находим в работах Боккаччо и Чосера, а в череде великих тосканских, умбрийских и венецианских живописцев и скульпторов - то же преобразование голыи реальности жизни магией воображаемого чувства красоты и страсти, как в великой драме. Думаю, не будет причудой сказать, что реальный аналог английской и испанской драмы можно найти на сайте у итальянских живописцев и скульпторов XV и XVI веков и у фламандских художников начала XVII. Конечно, верно, что каждый из этих великих художников обладал своим индивидуальным и неповторимым гением, но изысканная грация и красота умбрийцев и тосканцев никогда не были сравнены, кроме как в романтической комедии Шекспира, а представление трагической страсти человеческой души в *Короле Лире* было сравнено лишь однажды, и то в ужасающей красоте и ужасе Ночи и Дня, Вечера и Утра Микеланджело.

Не думаю, что мне нужно много говорить о классическом движении в искусстве и литературе, ведь все мы знаем, что оно было международным. Начало ему положил

Петрарка, не тот Петрарка, который пишет сонеты, поскольку они являются лишь более поздней формой трубадурской лирики и не несут на себе особых следов классического влияния, а тот Петрарка, чьи письма стали первым призывом Европы к новой и неутомимой работе по переоткрытию античного мира. Классическое движение началось с итальянца, но только в руках двух северных художников оно получило удовлетворительное развитие в литературе: один из них - француз Расин, другой - англичанин Мильтон. Ни тот, ни другой, как я полагаю, не являются по-настоящему классическими, но из них двоих Мильтон, поскольку он был более сведущ в античном искусстве, был также, вероятно, ближе к античному миру как по форме, так и по духу.

Нет нужды говорить и о плачевных разрушениях движения за хороший вкус и здравый смысл, которое породило Буало и, в некоторой степени, Поупа. Оно принесло немного пользы, но гораздо больше зла, но, к счастью, оно давно прошло, умерло и с ним покончено, и мы можем позволить себе вспомнить немного хорошего и забыть зло. Добро это или зло, но это было, по крайней мере, очень четко выраженное европейское, а не национальное движение.

Теперь я должен попросить вас рассмотреть необычайные изменения, произошедшие в Европе в восемнадцатом веке, и проследить зарождение тех перемен, которые вылились в то, что мы обычно называем романтическим движением.

Все мы знаем, хотя и не так хорошо, как следовало бы, творчество Дефо, а рядом с Дефо стоит художник, которого мы тоже все знаем, - великий Хогарт. Все мы, по крайней мере, читали *"Робинзона Крузо"* и, вероятно, видели гравюры Хогарта с изображением хорошего и плохого подмастерьев, а также серию картин в Национальной галерее, известную как *"Брак по расчету"*.

Что же мы находим в Дефо и Хогарте? Бесконечное множество деталей - мы все помним "три голландских сыра" и "куски для ловли рыбы", которые Робинзон бережно переправлял на своем плоту с затонувшего корабля на остров; можно сказать, по преимуществу уродливые реалии, убогие пороки, тупую и жестокую свирепость человеческой природы. Это не красивый и не приятный мир, который мы видим у Хогарта или у *полковника Джека* Дефо. Но это великие художники. Если вы видите человеческую природу часто с ее самой отталкивающей стороны, в ее самой грубой и отталкивающей форме, по крайней мере, вы видите в их романах или картинах мир, каким они видели его на улицах и в тавернах, в полицейских судах и тюрьмах своего времени, как, если на то пошло, вы можете видеть его и сейчас повсюду в городе или деревне. Мир, который они видят, может быть, часто, возможно, обычно, уродлив, но, по крайней мере, в нем нет условной красоты, нет самодовольного шпона искусственного хорошего вкуса, который отказывается называть лопату лопатой и намеренно отворачивается от тех вещей в жизни, которые раздражают его чувство приличия и благопристойности.

Здесь есть что-то новое, и мы можем представить себе защитника националистической концепции искусства, который скажет, что здесь, наконец, мы имеем очевидный пример восстания северного реализма против южного или классического изящества. Но большего заблуждения и быть не может. Ведь хотя новый реализм и не получил полного развития во всей Европе до XVIII века, зарождение его произошло в XVI веке, и не на "холодном" севере, а на "романтическом" юге. Первые признаки нового движения можно обнаружить не в Англии или Фландрии, а в Испании в XVI веке. Именно *"Лазарильо де Тормес"*, первый из пикареских романов, ударил по новой ноте, повернув от фантастического и условного мира романов, в которых Дон Кихот питал свою душу, и от героического мира красоты и

изящества драматических произведений к голой и суровой реальности жизни нищего и бродяги. Даже сам Дефо не превзошел ясности и точности "*Лазарильо*", и это было первое произведение того типа, медленное развитие которого можно проследить почти во всех странах Европы: в Англии - в реалистических попытках Грина, Нэша и Делони, в Германии - в "*Симплициссимусе*", во Франции - в *комическом романе* Скаррона и в "*Жиль Блазе*" Ле Сажа, который был почти точным современником Дефо.

И все это так же четко прослеживается в истории живописи. Великая итальянская живопись закончилась с великолепным великолепием венецианской школы, с Джорджоне, Тицианом и Тинторетто, и ее мастерство на несколько лет перешло к Фландрии, к Рубенсу и Вандику; но в живописи Испании и Низких стран в конце семнадцатого века мы оказываемся в другом мире. Маленькие нищие мальчики Мурильо, возможно, демонстрируют несколько манерный реализм, но испанская живопись в целом, хотя было бы нелепо пытаться описать ее одной фразой, очень четко показывает решимость представить реальность мира в терминах, которые сильно отличаются от тех, что были у великих итальянцев пятнадцатого и шестнадцатого веков. А когда мы обращаемся к искусству Низких стран во второй половине семнадцатого и в восемнадцатом веке, оставляя на время без внимания новое искусство пейзажной живописи, мы оказываемся в том же мире, что и Дефо и Хогарт.

Что же это было, что пришло в европейское искусство и литературу? Очевидно, что мы видим переход от героического мира трагедии, от великолепной красоты и силы итальянских живописцев, от бесконечного изящества романтической комедии к какому-то другому художественному восприятию мира. Это движение не было полностью зависимым от реакции, но в своем развитии оно соответствует реакции против продолжения великой традиции, которая стала просто условностью, потеряв свою жизненную силу и искренность. Лучшие примеры этого, пожалуй, можно найти в попытке Драйдена продолжить героическую традицию в английской трагедии и в упорных и достойных усилиях Вольтера продолжить работу Расина и Корнеля. Они хотели как лучше, и их трагические драмы не лишены достоинств, но совершенно ясно, что они не смогли согнуть лук Улисса. Они были великими художниками, как мы можем достаточно ясно видеть в "*Авессаломе и Ахитофеле*" или в "*Кандиде*", но их гений лежал в других направлениях. *Il faut cultiver notre jardin* - это великое суждение о жизни, очень полезное и необходимое на все времена, но это не было настроением Отелло или Гамлета.

Европейское искусство должно было спуститься с эмпирея, и хотя спуск был велик, оно обрело новую жизнь, вновь прикоснувшись к матери-земле.

Однако, несомненно, суровая реальность Хогарта и Дефо не была всей жизнью, и странным образом до середины XVIII века мы видим, как романисты и, хотя они менее важны, драматурги переходят от точного и детального изучения внешнего вида и формы вещей к изучению чувств и эмоций, и мир, который казался таким твердым и неподвижным, растворяется в слезах.

Нам кажется странным и даже нелепым зрелище, когда люди, гордившиеся своим здравым смыслом и рассудительностью, чья литература блистала остроумием и эпиграммами, рыдают и плачут, как большие дети; но что бы мы ни думали об этом, именно так и произошло. Первым художником нового типа был француз Мариво, и его "*Жизнь Марианны*" - это исследование молодой женщины, которая является воплощением чувствительности и самосознания, милой и добродетельной девушки, которая едва ли может наслаждаться благами, которые приносит ей жизнь, боясь упустить возможность отречься от них. Первый великий роман чувств - тоже французский, "*Манон Леско*" аббата Прево, и здесь мы

действительно находимся в глубоких водах страдания; между началом и концом его печальной истории есть лишь несколько моментов, когда герой не плачет. И все же это великий роман, ибо мало найдется более трогательных исследований человеческой природы, настолько поглощенной и почти потерянной в эмоциях.

Однако эти романы, появившиеся между 1730 и 1740 годами, затмевают произведения великих англичан, Ричардсона, Стерна и Голдсмита, ибо это художники не только Англии, но и всей Европы, которых знают, любят и которым подражают во всех странах Европы. Печаль *Клариссы*, патетический или сентиментальный юмор Стерна, идиллическое изящество и нежный смех Голдсмита - все это, трогая каждое сердце, повлияло даже на величайших европейских художников. Влияние *Клариссы* на Руссо, Голдсмита на Гете и Жан-Поля Рихтера не нуждается в объяснении.

Сентиментальное движение достигло почти своего наивысшего уровня в великом и болезненном гении Руссо, который сам был живым воплощением этого движения. Гораздо больше, чем даже его творения, больше, чем Жюли или Сен-Пре, он сам был одержим эмоционализмом, который в конце концов превратился в болезнь. Но, как ни странно, именно олимпийский гений Гете придал высшую форму трактовке жизни в терминах чувства. В *"Вертере"* вся эта фаза искусства вышла за пределы себя и превратилась в трагедию тщетных и безнадежных усилий честной, но слишком чувствительной натуры управлять своими эмоциями и владеть своей жизнью. *На Вертере* это движение не закончилось: оно продолжилось в Байроне: оно было, пожалуй, самым важным элементом того, что немцы называют *Romantische Schule*, и в творчестве французских художников-романтиков от Шатобриана до Альфреда де Мюссе. Если вы хотите увидеть это в живописи, вам достаточно взглянуть на работы Грёза и на гравюры в *"Незабудках"* наших бабушек. Несмотря на все свои нелепости, сентиментальное движение сыграло огромную роль в подготовке людей к великой революции, ибо оно открыло сердца людей, освободило их эмоции; если реализм Дефо и Хогарта позволил людям вырваться из условностей и манер хорошего вкуса в мир реальности, то эмоциональное движение придало этой реальности полноту и содержание, представило более широкое и интимное постижение жизни.

Это подводит нас к другому аспекту искусства семнадцатого и восемнадцатого веков, к поэзии и живописи "природы", к зарождению того великого художественного движения, которое достигло кульминации в творчестве Вордсворта и Тернера, и чье влияние доминировало во всей Европе в восемнадцатом веке и продолжает доминировать в наше время. Кажется странным, но это правда, что только в семнадцатом и восемнадцатом веках появилась школа живописи, которая занималась пейзажами, и поэзия, которая взяла "природу" именно за свою тему. В поэзии Средневековья и XVI века действительно часто встречается обращение к "природе", она часто значительна в ранней английской поэзии, очаровательна в романсах, у Петрарки и Чосера, а у Данте и елизаветинцев, и особенно у Шекспира, она достигает почти несравненной красоты; но во всех этих произведениях она, как и в фонах великих тосканских и умбрийских художников, изысканна, значительна и правдива, но не является главной темой, которая привлекает их внимание.

Есть, правда, два великих поэта, у которых мы начинаем чувствовать, что фон становится почти таким же важным, как фигуры первого плана; Спенсер вызывает неподдельный интерес своими историями о рыцарстве и чести, своими моральными аллегориями, но мы иногда задаемся вопросом, не является ли самым важным в его поэзии переплетение света и тени его лесов, живописное великолепие его замков и мрак его пещер и подземелий. Поэзия Спенсера похожа на гобелен, на котором, правда, изображена какая-то история человеческой жизни, но в конечном итоге это великое произведение декоративного

искусства, в которое непосредственный сюжет вносит форму, узор и цвет, но в котором он в какой-то мере теряется.

С Мильтоном дело обстоит иначе: никто не может сомневаться в том, что он - великий художник человеческой жизни и судьбы; даже если бы *"Потерянный рай"* оставил нас в некоторой неуверенности, *"Самсон"* убедил бы всех нас. Но, хотя я думаю, что это так, также ясно, что не только в изяществе его ранней поэзии, но и в зрелости его гения, в *"Лусидасе"* и даже в *"Рае"*, Мильтон по крайней мере такой же великий художник природы и ее красоты, как и жизни. А рядом с Мильтоном стоит поэт, правда, меньший, но индивидуальный и неповторимый, - Генри Воган, по несчастью забредший в дебри "метафизики", и, который беспомощно пытается облачиться в гигантские доспехи Донна, но, когда он остается самим собой, это один из самых изысканных и благодатных поэтов природы.

Возможно, не будучи причудливыми, мы можем найти параллель этим поэтам в великих венецианских художниках XVI века, в работах которых мы видим, как пейзаж Венеции и Кадоре все больше и больше привлекает наше внимание, являясь не просто фоном, а неотъемлемой частью картины; но только в XVII веке и у фламандских и голландских художников мы видим полный переход, и художник ставит перед нами не какую-то сцену из жизни человека, а просто красоту и великолепие самой "природы".

Только после того, как Томсон начал публиковать *"Времена года"* в 1726 году, развитие поэзии было завершено. Томсона трудно правильно оценить, поскольку, хотя его темой была "природа", его метод часто был таким же условным и искусственным, как у любого августинца; но он был любителем полей и лесов, и его воображение, если и не очень сильное, то часто очень искреннее. То, что было начато Томсоном, было продолжено с большей искренностью и реальностью Коупером, и было преобразовано воображением Грея и Коллинза. Иногда мы считаем это развитие специфически английским, и это правда, что в Вордсворте и Шелли поэзия природы выросла в нечто уникальное и непревзойденное, но мы не должны думать о поэзии Вордсворта так, будто это единственная форма, в которой может быть представлена природа. Это означало бы игнорировать качества Китса и Теннисона в Англии и великих художников в Европе, у которых отношение к природе принимало другие формы. Великая поэзия природы началась в Англии, но продолжалась во всех европейских странах, и в течение более чем столетия в ней доминировал главным образом гений Руссо во Франции и Гете в Германии. Я не могу здесь рассматривать отношение к природе у Руссо или результаты его влияния сначала в Бернардене де Сен-Пьере и Шатобриане, а затем в элегической красоте Ламартина и *"Нюи"* де Мюссе; я также не могу рассматривать поэзию природы у Гете и ее менее значительное, но часто прекрасное выражение у немецких "романтиков", а также у Гейне. Здесь можно лишь напомнить, что ни поэзия, ни живопись природы не принадлежат какой-то одной стране, а являются неотъемлемой частью всего современного искусства.

И вот, наконец, мы подходим к самой великой революции, той великой революции в искусстве, мысли и жизни, одной из форм которой является политическая и социальная революция и детьми которой мы все являемся. В ней все элементы, о которых мы думали, собраны воедино и доведены до совершенства; реальность, чувства, природа. И это не относится ни к одной стране или национальности. Первым и одновременно величайшим художником революции является сам Гете, ибо все это достигает кульминации и высшего выражения в *"Фаусте"*. Страсть к свободе, к полному переживанию жизни, к самой жизни, а не просто к знаниям или словам - вот мотив, который движет Фаустом, пока он не готов

заключить сделку с любой силой, которая даст ему это. Бесконечное, ненасытное желание человеческой души, которое никогда не может быть полностью удовлетворено, которое никогда не может достичь своего предела, - вот страсть, которая владеет Фаустом, вот скала, о которую разбиваются надежды бедного дьявола, бедного дьявола, который в ограниченности чисто критического и негативного нрава не может понять, что Фауст никогда не может быть удовлетворен, никогда не скажет в тот момент: "Verweile doch, du bist zu schön". Ибо драма *Фауста* - это драма не проклятия, а искупления, и хотя широта и масштабность всего замысла превосходят всякое представление в полной и округлой форме, великая трагедия Гретхен переносит нас из великолепного, но абстрактного мира идей в простейший опыт человеческой жизни, где Фауст становится человеком через саму любовь, но слишком медленно, слишком поздно, чтобы предотвратить трагедию.

Если Гете наиболее глубоко отражает великие гуманные концепции революции, то Вордсворт очень близок к нему по глубине своего познания человечества и по своему высшему чувству единства всей жизни и природы с живым духом, который есть во всем; и великие романтики Франции руководствуются тем же чувством природы, любви и духовного, а у Виктора Гюго оно достигает уровня лишь чуть ниже, чем у самого Гете.

Не поймите меня превратно, национальность имеет реальное значение, она чем-то сродни, но отдаленно, личности; но в основном она затрагивает более поверхностные аспекты искусства. В живописи и скульптуре европейские художники используют язык, который мы все можем понять, представляют жизнь и природу в терминах, которые мы все чувствуем и знаем как истинные. И хотя в литературе язык создает реальное различие и вызывает трудности в распознавании единства, которое скрывается за этим различием, но как только мы начинаем преодолевать эти трудности, мы оказываемся в мире, понятном, знакомом, трогательном для всех нас; и понятном как раз пропорционально величии художника.

Напрасно мы спорим об относительном величии наших национальных искусств, ибо их величие заключается не в национальных особенностях, а в личности художника, в единственном, неповторимом качестве отдельных произведений искусства, а они принадлежат не этой стране, не этой нации, не этой, а всем нам. Интеллектуальная страсть Паскаля, ненависть к обману и любовь к честному человеку Мольера или Вольтера привлекают не только французов, а всех нас. Не только немцы выдерживают под великолепие человеческого опыта и бесконечный пафос ошибок человеческого сердца, но и все мы. И зрелище бури в сердце Лира, той душевной бури, от которой бури природы - лишь слабое отражение, или изысканная безмятежность и человечность признания Корделии - это не прерогатива Англии, но они обращены к сердцу и душе всего мира.

Нас может разделять множество вещей, материальных или политических, но в высшем искусстве и поэзии мы поднимаемся над всеми этими различиями и остаемся только мужчинами и женщинами, у которых земля под ногами и небо над головой.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема, затронутая в данном эссе, может быть рассмотрена в связи со следующими произведениями:

Беовульф; Песнь о Роланде; Нибелунгенлид.

Тристан и Изеульта (Томас, или Бероль); Мария Французская, *Lais*.

Данте, *"Божественная комедия"*.

Боккаччо, *"Декамерон"*; Чосер, *"Кентерберийские рассказы"*.

Шекспир; Лопе де Вега; Кальдерон.

Дефо, *Робинзон Крузо*; Ле Саж, *Жиль Блас*.

Мариво, *Марианна*; Прево, *Манон Леско*.

Ричардсон, *Кларисса*; Гете, *Вертер*.

Гете, *Фауст*; Вордсворт, *Майкл* и т. д..

Виктор Гюго, *Légende des Siècles*.

Имеются английские переводы большинства из них.

VII

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ СИЛЫ

Некоторые политические мыслители принимают государство за высшую форму человеческого объединения. Человечество для них - всего лишь абстрактная идея. Оно не является организованным целым, не обладает, по их мнению, общей преданностью, не преследует общей цели. Чтобы найти такое организованное целое, такую преданность, такую цель, мы должны обратиться к государству и ни к чему за его пределами. Мы находим такое целое в Германии, во Франции, в Англии, но не находим ничего общего между этими тремя и другими государствами. Это мнение, пришедшее в современной форме благодаря Гегелю и его последователям, ложно для истории, ложно в политической теории и ошибочно в этике, но нигде оно не является более ложным, чем в отношении мира мысли.

Существенное единство западной цивилизации как интеллектуального, морального и духовного содружества действительно иллюстрируется - к сожалению, иллюстрируется - той самой теорией государства, которая его отрицает. Ведь эта теория имеет немецкое происхождение. Она возникла в исторических условиях Пруссии в начале девятнадцатого века, получила поддержку в Германии благодаря своеобразному методу, с помощью которого было достигнуто единство нации, и, выйдя из своего дома, проникла в большую часть мысли Запада, эффективно борясь с либеральным гуманизмом, который был особым вкладом Англии в движение девятнадцатого века. Реакция немецкой идеи государства на английскую концепцию свободы является доминирующим влиянием последних сорока лет на английскую политическую мысль и прогресс. Вряд ли можно найти более яркое свидетельство реальности того единства, которое теоретики, воплощающие его, стремятся обесценить или отрицать.

Когда мы говорим о единстве в этой связи, мы можем иметь в виду одну из трех вещей. Это единство характера или типа. Есть единство, связанное с непрерывным происхождением от общего источника, и есть единство эффективной взаимосвязи и взаимной зависимости. Некоторые авторы путают эти смыслы термина "единство", но их необходимо четко различать, прежде чем можно будет провести какое-либо полезное исследование. Например, единство характера - это совсем другое, чем непрерывность исторического

развития, ведь цивилизация может радикально изменить свой характер на протяжении жизни нескольких поколений. Она может утратить все специфические черты своей собственной семьи и обрести более близкое сходство с другими, совершенно отличными по происхождению. И опять же единство характера - это не то же самое, что эффективное взаимодействие и сотрудничество различных центров. Напротив, такое сотрудничество наиболее ценно там, где есть заметные различия в характере, где, например, недостаток какого-либо качества у одной нации компенсируется его избытком у другой. Таким образом, эти три формы единства различны, но если они различны, то не являются несвязанными. Естественно, там, где есть общее происхождение, многие черты примитивного единства характера, скорее всего, сохраняются, а там, где есть эффективное взаимодействие, многие различия могут быть стерты. Таким образом, если мы начинаем с единства происхождения, мы, скорее всего, обнаружим некоторую степень единства в других отношениях, и это то, что мы действительно находим в случае западной цивилизации. Она действительно обладает определенным единством характера, которое в значительной степени обусловлено единством происхождения и сохраняется, несмотря на заметные расхождения, которые не препятствуют эффективному взаимодействию, а скорее добавляют интерес и ценность результатам, которые это взаимодействие принесло.

РАЗДЕЛ I.- ЕДИНСТВО ХАРАКТЕРА

Через всю цивилизацию, да и через все человечество, проходит определенное единство характера. Определенные фундаментальные институты и принципы организации являются общими для Востока и Запада, для древнего и современного мира, для цивилизации и дикости, и нет ни малейших доказательств того, что эти сходства являются результатом исторической связи. Напротив, они проистекают из человеческой природы, которая в основе своей одинакова и приспосабливается к условиям жизни, которые в основе своей одинаковы. Но, разумеется, общими для всего мира являются лишь самые широкие и общие черты характера. Внутри них есть все виды и степени специфических различий. Существуют типы внутри типов, миры внутри миров, и то, что мы называем западной цивилизацией, является одним из них. Иными словами, в настоящее время это семья или группа наций, имеющих общие черты, которые отличают ее от остального мира, такие, например, как определенная степень социального порядка, определенный взгляд на жизнь, определенные основы религии и этики, а также промышленная организация, основанная на прикладной науке. Упоминание любого из этих пунктов сразу же вызывает критику. В каждом отношении, скажут, народы Западной Европы и колонизированные ими земли сильно различаются между собой. Общественный строй Германии ни в коем случае не похож на английский. Промышленное развитие южной Италии сильно отличается от развития Бельгии. Прусский взгляд на жизнь - и это мы сейчас особо подчеркнем - совершенно иной, чем французский. Все это верно, но опять же означает лишь то, что внутри рода существуют и другие специфические различия. Мы могли бы проследить эти различия как угодно далеко. Ведь, скажем, Соединенное Королевство отнюдь не является единым однородным целым. Даже в пределах одной Англии обнаруживаются глубокие контрасты между сельскохозяйственным Югом и промышленным Севером. И все же мы без колебаний считаем английский характер, английские институты, английский тип отличными от остального мира, и мы правы, потому что существует реальное единство, пронизывающее все различия. Точно так же и на более высоком уровне существует определенное единство характера, пронизывающее более глубокие и широкие различия, которые проявляются в различных центрах западной цивилизации.

РАЗДЕЛ II.- ЕДИНСТВО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Это единство характера в значительной степени обусловлено непрерывным происхождением от общего культурного предка. Цивилизация Запада в основе своей едина не потому, что народы Запада едины в расовом отношении. Это не так. В их состав входят все ветви арийской семьи и значительная примесь совершенно других народов. Своими общими чертами цивилизация обязана в основном общему происхождению и постоянному взаимодействию. Именно поэтому в массе своей она является сообществом идей, ибо идеи передаются от человека к человеку и от нации к нации с большей готовностью, чем институты, с большей готовностью, чем характер, с большей готовностью, пожалуй, чем все, кроме материальных благ. В царстве идей западная цивилизация образует единое содружество с неформальной, но превышающей демократическую конституцией. Этой свободой, правда, она во многом обязана своему международному характеру, ибо здесь постоянно возникают местные и временные диктаторы, арбитры моды в идеях политики, философии и даже науки. В узком кругу такой диктатор часто добивается своего, но редко когда ему удастся удержаться в течение длительного времени в международном содружестве, если его доктрина не имеет под собой довольно прочной основы.

Это содружество имеет свои основы в прошлом. В первую очередь оно проистекает из единства средневекового христианства, где оно пользовалось преимуществом общего языка обучения, постепенная утрата которого несовершенен компенсируется владением двумя или тремя современными языками только образованным человеком настоящего времени. Через средневековое христианство и арабские школы, которые вряд ли можно считать частью западной цивилизации, но в Средние века они были скорее ее учителями, она происходит от греко-римского мира, а через греко-римский мир - от самих греков. Греки, в свою очередь, осознавали, что зачатками своей науки они обязаны древним цивилизациям Нила и Евфрата. Таким образом, в интеллектуальном мире существует преемственность, простирающаяся на шесть или более тысяч лет назад, к истокам записанной цивилизации. Не раз эта преемственность почти прерывалась, но какая-то нить всегда сохранялась, и именно в этой преемственности в мире идей мы получаем главное свидетельство того прогресса, который демонстрирует история человечества.

Основы материальной цивилизации были заложены в Египте и Вавилонии, где прогресс, достигнутый в сельском хозяйстве и промышленном искусстве, предполагает наличие значительного объема эмпирических знаний в области физики и химии на ранней стадии. У нас есть египетские учебники по арифметике, датируемые восемнадцатой и, возможно, двенадцатой династией. Есть тексты, касающиеся зачатков геометрии. Эмпирическая химия, по-видимому, египетского происхождения, само слово отсылает к египетскому термину "черная земля", и перешла к арабам, которые превратили ее в количественную науку, не сильно заинтересовав научный ум Греции. Тщательные астрономические записи, растянувшиеся на тысячи лет, велись как в Египте, так и в Вавилонии, и на их основе был накоплен значительный объем астрономических знаний. Но нет никаких свидетельств научного интереса, оторванного сразу от теологии и промышленности. В самой теологии египетские ученые рано стали недовольны популярными божествами и искали единство божества либо в каком-то одном верховном божестве, таком как солнце, либо, чаще всего, в мистическом отождествлении всех богов как многих воплощений или олицетворений единого принципа. Но хотя эти и подобные им рассуждения не остались без влияния на греческую мысль, все достижения Египта в этом направлении, насколько нам известно, были малозначительными по сравнению с достижениями других восточных цивилизаций.

Таким образом, не преуменьшая долг, который признавали сами греки, остается верным считать науку и философию в равной степени оригинальным творением греческого гения. То, что выросло в Греции в шестом и пятом веках до нашей эры, было духом бескорыстного исследования, основанного на рациональных методах. Под термином "бескорыстный" я подразумеваю отстраненность от скрытых целей. Геометрия для греков была чем-то большим, чем искусство измерения земли, астрономия - чем-то большим, чем средство регулирования календаря или предсказания затмений. Это было изучение природы небес, попытка проникнуть в устройство материальной вселенной. Так и с геометрией. Она могла начинаться как исследование отношений отдельных треугольников, квадратов и продолговатых фигур, но превратилась в попытку постичь природу пространственных отношений и понять, что они зависят от простых общих принципов. То есть в руках греков эти предметы впервые стали науками. Но еще больший предмет стал в их руках предметом бескорыстного рационального исследования. Они разработали то, что Аристотель назвал наукой о реальности, или, как мы ее называем, философией, - попытку подойти с помощью рациональной критики опыта к проблеме природы и происхождения Вселенной и места человека в ней. Они поставили фундаментальные вопросы, которые до сих пор занимают самые высокие интеллекты человечества. Они заложили основы метода и завещали Европе терминологию, которой требует любое точное мышление. Даже когда мы говорим о методе, мы используем аристотелевский термин, а когда мы отличаем один предмет от другого, мы используем латинский перевод слова, которое ввел Аристотель. Одним словом, современная мысль, как научная, так и философская, имеет единое происхождение. Она происходит от греческого.

Способ такого происхождения не прост, и для его подробного рассмотрения потребуется немало места. В общих чертах достаточно сказать, что греческая культура распространилась по Восточному Средиземноморью благодаря завоеваниям Александра, а ее столица Александрия постепенно заменила Афины. Она потекла на запад вместе с римскими завоеваниями, когда, как сказал римский поэт, захваченная Греция взяла в плен своего варварского завоевателя и ввела искусства в деревенский Лациум. Он участвовал в общем упадке, который сопровождал реварваризацию и окончательный крах Римской империи. Но теперь в потоке исторических тенденций произошло разделение. Судьбы Востока и Запада разделились. Западная империя была захвачена германскими племенами, и после VI века традиции старой культуры сохранялись по большей части в монастырях. Греческий язык на Западе был забыт. Греческие авторы были известны только в латинских переводах, а наука и философия пришли в упадок. На Востоке магометанские завоевания привели арабов к соприкосновению с греческой наукой. Они сохранили традицию и расширили ее, и именно контакт с арабской культурой в ходе крестовых походов положил начало первому ренессансу на Западе в XII веке. Затем последовала эпоха великих средневековых систем, повторное открытие Аристотеля и попытка соединить христианскую веру с аристотелевской системой. Позднее Средневековье стало периодом, когда западная цивилизация наиболее отчетливо стала культурной единицей, ареной великой попытки объединить все аспекты жизни, религиозные, философские, политические, на основе религиозной веры, сформулированной и систематизированной с помощью греческой философии, говорящей на латинском языке как общем достоянии всех образованных людей.

Парадокс мысли заключается в том, что если единство - ее идеал, то свобода - ее необходимое условие, а бесконечное расхождение - неизбежное следствие. Ни в вопросах веры не могло быть много размышлений без ереси, ни в вопросах политики без недовольства, восстаний и новых политических группировок. Ереси и расколы разрушали средневековое единство и усиливали политические тенденции, ведущие к современной

государственной системе. Возникновение современной литературы вытеснило классику с ее уникальной позиции литературного образца. После XVII века привычка писать на просторечии все больше вытесняла латинство, и культура в каждой стране стала приобретать все более ярко выраженный национальный характер. Специфические национальные черты стали проявляться в науке и философии, а также в литературе и образовании, и значительная часть истории современной мысли зависит от частичной независимости, с одной стороны, и частого взаимодействия, с другой, этих центров.

РАЗДЕЛ III.- ЕДИНСТВО ВЗАИМОСВЯЗИ

Это подводит нас к третьему смыслу, в котором единство может быть предсказано для культурной группы. Единство, которое зависит от взаимосвязи отдельных частей, подразумевает некоторые различия в характере. Западная цивилизация утратила то единство характера, которым она была обязана своему общему происхождению, хотя и сохранила его в достаточной мере, чтобы представлять собой единое целое в отличие от остального мира. Мы можем быть уверены, что различия между немецким, французским и английским языками кажутся умным китайцам гораздо менее заметными, чем самим немцам, французам и англичанам. Мы сами привычно воспринимаем Китай и Японию как жителей Дальнего Востока, и только личное знакомство заставляет нас начать замечать различия между ними. Немногие европейцы, как мне кажется, доходят в своей дискриминации до того, чтобы оценить различия между северными и южными китайцами, которые для самих китайцев так же очевидны, как для нас разница между английским и шотландским. Западная цивилизация сохраняет родовое единство характера, хотя национальные различия оказывают все большее влияние на сферу мысли. Между тем единство взаимосвязей в целом стало более тесным с распространением образования, увеличением количества научных журналов и возможностей для путешествий. Одна из самых интересных глав в развитии современной мысли может быть написана, как показал доктор Мерц на примере и в поучениях, на тему взаимного влияния великих национальных центров мысли, в частности Франции, Англии и Германии. Может показаться, что эти нации, как будто предназначенные - природой или бессознательной рукой политической истории, - наполовину охотно, наполовину неохотно дополняют друг друга. Английский здравый смысл, французская ясность, немецкий идеализм; английская свобода, французское равенство, немецкая организация; английская широта, французская точность, немецкая детальность, - насколько беднее был бы мир, если бы хоть одной из них было позволено развиваться по своим собственным линиям без критики двух других. Какое особое провидение подарило покладистому англичанину северного соседа, чтобы тот читал ему лекции по немецкой метафизике на его родном языке и принуждал его к определенности, которую он инстинктивно ненавидит. Без Шотландии как связующего звена связь между английской и немецкой мыслью вряд ли была бы эффективной и непрерывной, и именно шотландец пробудил величайшего из немецких метафизиков - самого шотландского происхождения - от его догматической дремоты.

Это международное разделение труда более значимо в области метафизики и политической мысли, чем в физической науке. В науке каждая современная нация внесла свой вклад как в великие имена, так и в полезную работу подмастерьев. Через посредство научных обзоров и периодических конгрессов наука становится все более и более интернациональной. По-прежнему время от времени бывает так, что великое открытие, как у Менделя, или важная гипотеза, как в кинетической теории газов, игнорируются целым поколением. Но это, похоже, не зависит в первую очередь от трудностей языка или международного общения. В

научном мире существует странный элемент произвольной моды, который время от времени предписывает игнорировать определенных людей, независимо от того, насколько хороши их работы, или относиться к определенным гипотезам как к вопросам веры, независимо от того, насколько хрупка их структура. Человек не становится сразу существом чистого разума, приняв мантию ученого и войдя в лабораторию. Но национальные предрассудки не являются главенствующими среди тех сил, которые диктуют эти моды. Действительно, в английском интеллектуальном мире действует, если не сказать больше, определенный антинациональный предрассудок. Иногда англичанину было легче получить слушание в Германии, чем в Англии, и, несомненно, во многих областях немецкие писатели пользуются уважением, которое они не смогли бы завоевать, если бы писали по-французски или по-английски. Это объясняется некой энциклопедической краткостью, которая является особым свойством немецкой промышленности. Если вам нужен исчерпывающий негатив, сказал однажды один археолог, вы должны обратиться к немцам. Иными словами, почти по любому вопросу вы найдете немца, и только немца, который взял на себя труд пройти весь вопрос от начала до конца, не обращая внимания только на то, что интересно или важно, но записывая все, что можно найти во всех авторитетных источниках, имеющих отношение к этому вопросу. И эта работа будет невыносимо утомительной и сама по себе, возможно, ничего не прояснит. Но для читателя она гораздо менее утомительна, чем для писателя, и, при наличии соответствующего указателя, такая работа будет постоянно служить путеводителем для тех, кто собирается проявить настоящую мысль и проницательность в этом вопросе. Именно элемент бескорыстного труда внесли немцы в науку. Не то чтобы им не хватало гениальных людей, но они добавили к гениальности то, чего, несмотря на Карлайла, ей так часто не хватает, - бесконечную способность к труду. Возьмите любой научный трактат на любом языке и почти на любую тему, окиньте взглядом ссылки на авторитеты в сносках на нескольких страницах наугад, и вы обнаружите, что, вероятно, три из четырех цитируемых авторов носят немецкие имена. Они превзойдут английские, американские, французские, голландские и итальянские, вместе взятые. Если перейти от количества к качеству, если взять ведущие идеи, внесенные в эту тему, то баланс будет восстановлен. Здесь и французские, и английские, и другие авторы держат свои позиции, и, возможно, немного больше, чем свои. Но в основной массе работ, и особенно в верном, безотказном служении суровому сухому факту, немцы задали стандарт всему миру. Возможно, их заслуга отчасти объясняется недостатком одних качеств, а также избытком других. В некоторых из этих огромных тевтонских трактатов есть некая несоразмерность, от которой у английского студента замирает сердце. Кто-то остроумный сказал, что немецкая наука состоит в том, чтобы с помощью чрезвычайно сложной аппаратуры заново продемонстрировать то, что англичанин уже достаточно ясно объяснил любому здравомыслящему человеку с помощью бутылки из-под имбирного пива и старой консервной банки из-под сардин. Но я подозреваю, что у этого вопроса есть и другая сторона. Немец, вероятно, довел свои цифры до двадцатого знака после запятой, тогда как англичанин довольствовался вторым, и всегда может оказаться, что двадцатый знак после запятой имеет свою ценность. Как бы то ни было, сотрудничество обоих типов ума необходимо, и терпеливое старание в проработке деталей - это особая функция, которую немецкая академическая традиция развила на службе общему делу развития образования.

В более спекулятивной мысли эквипоиз международного сотрудничества проявляется в изменениях, которые национальная мысль претерпела под иностранным влиянием. В XVIII и начале XIX века английская и шотландская метафизика развивалась в основном по своим собственным направлениям. Это был расцвет так называемой английской школы опыта. Эта школа была влиятельна во Франции, а в Германии выступила в роли фермента, который растворил старую академическую традицию и стимулировал рост нового идеализма.

Немецкий идеализм оказал влияние на Англию через посредство Кольриджа, а затем Карлайла. Но он мало повлиял на национальную философию, разве что вывел младшего Милля из узкой колеи, в которой он воспитывался, и внес в его мысль тот поток влияния, который он всю жизнь тщетно пытался гармонично слить с отцовским учением. Но в последней трети девятнадцатого века открылись новые каналы влияния. Авторитет Грина в Оксфорде и Кэрда в шотландских университетах привел к тому, что гегельянское влияние, которое было на излете в Германии, полным потоком хлынуло на интеллектуальный мир Великобритании и Америки. Английский эмпиризм был быстро вычеркнут из жизни. Милль и Спенсер, доминирующие фигуры шестидесятых и семидесятых годов, были низведены до положения манекенов, используемых новичками для стрельбы по мишеням. Будучи понятными, они могли быть прочитаны студентом первого курса, а изложение их заблуждений представляло собой легкую задачу для остроумия лектора. Не было ни одного настолько бедного, чтобы оказать им почтение, а если кто и делал это, то был низведен до четвертого класса в Окончательных школах. Было бы очень интересно проанализировать англо-шотландский идеализм в тесной связи с немецким оригиналом и измерить изменения, которые претерпевает философия в процессе ассимиляции народом с совершенно иной интеллектуальной традицией. Отсутствие симпатии к немецкому и особенно к гегелевскому идеализму не позволяет мне справиться с этой задачей, но, несмотря на это, я вижу многое. Немецкие философы придерживались тех больших и общих идей, к которым английский ум, кажется, инстинктивно не доверяет, и которые английская философия стремилась разложить на составные части. Англичанин-философ по своей природе очень похож на англичанина-механика или делового человека. Он хочет потрогать и увидеть, проверить и обработать, прежде чем убедиться в реальности. "Я хочу, чтобы это было произведено" - вот частое замечание Хьюма, шотландца в некоторых отношениях, но очень англичанина в этом, когда он имеет дело с какой-то концепцией, не легко проверяемой на опыте. Английская философия, предоставленная сама себе, не была склонна к справедливости в отношении более тонких, более ускользающих понятий, которые нелегко определить. Она не позволяла в достаточной мере учитывать то, что мы можем назвать непредсказуемыми элементами. Немецкий идеализм имеет прямо противоположный недостаток. Он был слишком готов принимать свои мысли за реальность, слишком склонен использовать большие и, возможно, смутные концепции, как если бы они были твердой монетой, а не жетонами, требующими тщательного изучения для определения их ценности. Примером тому может послужить одно из направлений политической мысли, которое в последнее время активно обсуждается. Для некоторых немецких мыслителей концепция государства предстает в таком виде, который отнюдь не является естественным для англичанина. Для немца государство - это такая же очевидная, реальная и явная сущность, как и отдельный гражданин. Это не просто глава Германии, или шестьдесят пять миллионов немцев, или кайзер, или армия, или правительство. Это просто само государство, и оно имеет атрибуты и полномочия, является объектом обязанностей и обладателем прав, как и любой гамбургский купец или прусский юнкер. Естественному англичанину все это кажется наполовину мистическим, наполовину поверхностным. Поговорите с ним о государстве, и если он вообще хочет понять эту концепцию, то должен перевести ее в термины людей или вещей. Он представляет себе его, возможно, как правительство, возможно, просто как сборщика подоходного налога, возможно, как различные миллионы людей, живущих в Соединенном Королевстве. Если он обсуждает его благополучие, его успехи или неудачи, он делает это с оговоркой, что все это - сокращение для обозначения благополучия огромного количества мужчин и женщин. Если же речь идет о чести и добросовестности, то он спросит, выполнил ли сэр Э. Грей в тот или иной момент определенное обещание, как подобает английскому джентльмену. Со своей стороны, в силу национальных предрассудков или нет, я считаю эту привычку проверять и

разрешать большие концепции самым безопасным и научным способом работы с ними. Однако я также вижу, что она может привести к большой грубости и заставить людей игнорировать важные элементы, для которых они не могут легко найти конкретное выражение. Например, в этом самом вопросе о государстве мы имеем дело с организацией индивидов, и если наш способ говорить о нем заставляет нас не замечать плоть и кровь, из которых оно состоит, то другой способ может затушевать в нашем сознании жизненно важные различия, вносимые самим фактом организации. Немцы часто видели лес более отчетливо, когда англичанин был более внимателен к тому, чтобы различать и называть деревья. Поэтому я не сомневаюсь, что в конце концов окажется, что для нас было хорошо, если несколько ведущих мыслителей заставили нас в течение нескольких поколений учиться у немцев, даже ценой временного обесценивания многого, что было наиболее важным в нашей собственной социальной философии. Возможно, лучшее, чего можно пожелать Германии, а через нее и Европе в следующем поколении, - это чтобы она научилась у нас столько же, сколько мы у нее.

Вся история политической мысли последних двух столетий - это исследование сложных взаимодействий между процессами, протекавшими в каждой из ведущих наций. Либерализм Локка и принципы революции вигов оказали глубокое влияние на Францию, и сам факт, что расстояние придавало им очарование и позволяло их идеализировать, придал им ценность как стимул для французского критика абсолютного правительства, который они вряд ли могли осуществить дома, где их реальные ограничения были лучше известны. Французская революция оказала влияние на всю европейскую мысль, как симпатию, так и антипатию, породив реакционную философию Берка в Англии и Гегеля в Германии, а также попытку Бентама сформулировать новую и более безопасную линию радикализма. Философский радикализм, выраженный в основном отдельной, но родственной манчестерской школой, развивался в Англии на протяжении двух поколений, а в период сравнительного мира, последовавшего за Ватерлоо и породившего надежды людей на эпоху, которая должна отбросить войны и посвятить себя существенному прогрессу человечества, ощущался как реальное влияние за рубежом. Французское влияние, в особенности влияние Конта, действующего через Дж. С. Милля, вдохнуло новую жизнь в эту школу, когда первый румянец ее молодости уже угасал. Наконец, как мы видели, немецкое влияние захлестнуло ее, и Англия, очарованная не только престижем Германии, но и ее мыслями, все больше и больше тяготела к доктрине самодостаточного, военного, протекционистского, всемогущего государства. В этой истории политической мысли события были не менее действенны, чем аргументы. Неудачи и успехи институтов, победы и поражения стран, придерживающихся определенных принципов, неоднократно придавали новую силу и решимость приверженцам или противникам этих принципов, в зависимости от ситуации во всех странах. Последовательные шаги, с помощью которых Италия обрела единство и свободу, служили вечным стимулом для верующих в национальное право и либеральное правительство на протяжении всей середины века. Триумф Германии в 1870 году был победой самодержавной власти, дисциплины, беспринципного государственного управления, крови и железа, что привело к обращению, лишь наполовину осознанному и очень медленному в достижении своего результата, но тем более полному по этой причине, в отношении людей к фундаментальным вопросам социальной этики. Оглядываясь на сто лет, разделяющих два европейских катаклизма, историк обнаружит рост либеральных и гуманитарных взглядов в более ранний период и реакцию против них ближе к концу. Причины такого изменения многообразны и запутаны, но, полагаю, он признает 1870 год и победу Бисмарка в качестве разделительной линии. Пусть будет так, что в нынешней войне он найдет еще один поворотный пункт, с которого начнется новое движение.

Как бы то ни было, мы можем быть уверены, что политическая мысль Европы, как и ее философия и наука, будет идти вперед или назад как единое целое. Она может двигаться путем мирного и дружеского сотрудничества или под воздействием злобного соперничества. Но его многочисленные центры связаны между собой столькими связями, что движение одного из них отражается на остальных. Свободы Англии укрепляются эмансипацией эльзасцев, словаков или поляков. Их ослабляют победы политической автократии или военной машины. Мыслители, можно сказать, должны быть выше этих мирских влияний. Философия должна иметь дело с тем, что само по себе и вечно рационально, справедливо и мудро. Но философия в том виде, в каком она существует на земле, - это работа философов, которые, как говорит нам авторитет, страдают от зубной боли не меньше, чем другие смертные, и, как и другие, открыты для впечатлений от близких и ярких событий и для соблазнов интеллектуальной моды. И все же, если большая мысль чего-то стоит, она должна позволить тем, кто ей следует, заглянуть чуть дальше за пределы настоящего и чуть глубже под поверхностные различия, которые отвлекают родственные народы. Если эти мыслители верны своей идее, то, возможно, именно от них будет исходить начало процесса исцеления, в котором нуждается Европа. Сейчас много говорится и будет говориться о политической реконструкции, которая необходима для восстановления и обеспечения цивилизованного порядка. Но содружество мысли возродится само собой с того дня, когда будет заключен мир. Немецкая физиология не станет менее изученной, немецкие ученые не станут менее компетентными, немецкие химики не станут менее выдающимися из-за того, что их военные повелители ввергли Европу в разрушительную войну. Мы будем нуждаться в их услугах, следить за их экспериментами, читать их записи и использовать их мозги, как и прежде. Возможно, пройдет несколько лет, прежде чем международные конгрессы возобновятся, но интернационализм науки возродится сам собой, против нашей воли, если не по нашей воле и не вместе с нами, и в мире науки, и только в этом мире, случай войны не будет иметь никакого значения. Завоеватель и побежденный будут работать над одной и той же задачей и встретятся как равные. Научная демонстрация не больше знает о национальности своего создателя, чем о его касте или цвете кожи, возрасте или поле. В этой единственной настоящей демократии идея, гипотеза, доказательство, каким бы оно ни было, стоит или падает на своих собственных достоинствах, без вопросов о его предках или стране происхождения. В росте этого содружества война - лишь кратковременное ограничение. Его судьба - стать шире в своих масштабах, теснее в своих связях и не менее богатым в разнообразии своих национальных центров. Суждено ли ему также вырасти в политическое единство, решит будущее. По крайней мере, мы можем сказать, что для любого такого единства она является единственным надежным и прочным фундаментом.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Мерц, *История европейской мысли XIX века*. В. Блэквуд.

Марвин, *Живое прошлое*. Clarendon Press.

VIII

ЕДИНСТВО ЗАПАДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Меня попросили выступить перед вами с докладом о единстве образования в Западной Европе. Задача не из легких, ведь что мы понимаем под единством? Мне было бы легко потратить свое время на обсуждение технической стороны вопроса; я мог бы заняться учебными программами и организацией, школьными зданиями и классными комнатами, досками и всеми материалами школьного обучения и показать вам, как велико сходство в этих вопросах во всех цивилизованных странах. Однако я сомневаюсь, что это вас заинтересует; сомневаюсь, что это то единство, которое вы ищете. Вы скажете мне, что просили единства, а я дал вам единообразие. Единообразие можно получить где угодно; в современной жизни все стандартизировано и стереотипизировано; оно есть в большом отеле и на атлантическом лайнере - там есть люди всех наций, они делают одно и то же в одно и то же время, едят одну и ту же пищу и носят одну и ту же одежду; вы находите его на фабрике и на поле боя. Зайдите на текстильную фабрику, будь то в Олдхэме, Хемнице или Бомбее, - все процессы одинаковы, и продукт один и тот же, за исключением того, что в нем может быть больше или меньше фальсификата.

Так и в образовании, если присмотреться, можно обнаружить механическое единообразие современной цивилизации. Новая форма школьной парты облетает мир так же быстро, как новый химический процесс или новый линкор. Картины на стенах комнат могут быть репродукциями современных немецких работ, а атласы, которыми вы пользуетесь, могут быть второсортными копиями продукции Готы или Лейпцига; у вас тоже может быть единообразие в расписании и учебном плане; но, в конце концов, это единообразие может быть просто поверхностным. Пройдитесь по улицам старого города, и вы увидите обычный фасад современной улицы, но за ним вы обнаружите все разнообразие средневековых зданий, которые она окружает, - фасад - это просто краска и лепнина.

Единообразие - это не обязательно единство, а единство не противоречит разнообразию. Я полагаю, что мы ищем более фундаментальное, духовное и интеллектуальное единство - внутреннее, а не внешнее; не сходство красок и лепнины, а единство происхождения и жизни.

Давайте посмотрим, что мы можем почерпнуть из истории.

История европейского образования сосредоточена вокруг двух институтов - школы и университета. Оба они берут свое начало в далеком прошлом, и оба сохранили исключительную верность своему первоначальному типу.

Школа восходит к самым истокам нашей цивилизации; чтобы понять ее природу, мы должны мысленно перенестись в те далекие времена, когда первые миссионеры воздвигли в долинах Сомерсета и на суровом Нортумберлендском побережье Крест Христов. Они пришли к людям, все еще находившимся на грани варварства, с языком, еще не сформированным литературой, с религией, не дававшей разгадки тайн жизни, которыми они были угнетены. Они пришли к этим людям, полные энтузиазма Евангелия, - пришли не только как учителя религии, но и как апостолы высшей цивилизации, ибо за их плечами было ужасное имя Рима.

Где бы они ни появлялись, одной из их первых обязанностей было основание школ для обучения людей, которые должны были стать их преемниками; мы всегда должны помнить, что образование, которое они давали, имело одну высшую цель - воспитание мальчиков из грубых и варварских общин, в которых они оказывались, чтобы они стали учителями и служителями Церкви. Содержание обучения было всегда одинаковым, будь то в Испании, в Галлии, в Ирландии или в Британии; это была Библия, церковные службы и труды Отцов.

Именно в школе мальчики приобщались к общей системе западного христианства и становились гражданами большого мира, центр которого находился в Риме.

Но если суть и цель обучения были одинаковы во всей Европе, то и форма преподавания всегда была одинаковой; в те времена, когда все образование и вся религия приходили из Рима, основой знаний был латинский язык. В те ранние времена была заложена традиция, которая сохраняется до сих пор; путь к образованию и культуре лежал через узкую дорожку латинской грамматики. Школьник, который до сих пор излагает свои длинные и короткие речи, может сравнить их с более грубыми попытками своих саксонских предков тринадцать веков назад. Никогда еще авторы не достигали славы и тиража, равных тем, что были у великих грамматиков, которые во времена упадка Империи кодифицировали правила латинской речи; поколение за поколением сменяли друг друга, и почти до наших дней каждый школьник начинал свою карьеру в соответствии со строками, изложенными в трудах Доната и Присциана.

Однако мы должны предостеречь себя от ошибки, в которую легко впасть. Верно, что в ранние средневековые времена образование основывалось на изучении латинского языка; и только через литературу можно было выучить этот язык. Однако изучение классической литературы, как мы ее понимаем, было далеко от идеалов того времени. Самые авторитетные учителя никогда не забывали предостерегать своих учеников от моральных опасностей, связанных с изучением языческих писателей; Овидий и Цицерон допускались к изучению только под страхом протеста, и они были всего лишь ступенькой к изучению Августина и Пруденция.

На этой общей основе - Библии, Церкви и латинского языка - было основано образование Западной Европы, и в том виде, в котором оно тогда было принято, оно сохранялось более тысячи лет, почти без изменений. Таким образом, интеллекту был придан общий оттенок, а народы были дисциплинированы общим духовным учением. Это было необычайно эффективно. Она сдерживала, а во многих странах почти уничтожала энергичную и устремленную местную и национальную жизнь, которая в каждой стране стремилась к самовыражению. В нашей стране этот эффект был наиболее заметен. Англичане, пусть и неграмотные, не были лишены надежд на великое будущее. В остатках саксонских поэм мы можем увидеть зачатки того, что при более счастливых обстоятельствах могло бы вырасти в великую национальную литературу. Ее истоки были глубоко укоренены в жизни народа. Она оказалась быстро способной воспринять новое учение Евангелия, и, как показывают христианские эпосы, здесь была основа, на которой можно было бы построить национальную интерпретацию христианства. Все, что требовалось, - это принять английский язык в качестве языка церкви и школы. Начало было положено, когда Альфред, в течение нескольких лет, которые ему удалось уберечься от датских набегов, начал свою великую работу по созданию английской литературы, в которую были бы включены учение Церкви и произведения античности. Эта попытка была на время разрушена возобновлением датских набегов, а затем и нормандским завоеванием. Ведь Вильгельм привел с собой не только французских рыцарей, но и итальянских священников. Вновь под влиянием Ланфранка и его преемников церковь и школа оказались под полным контролем возрожденной власти Рима, и все перспективы спонтанной и самобытной национальной интеллектуальной жизни были уничтожены. Единство было восстановлено, а школа стала инструментом, с помощью которого Англия была полностью включена в культуру и религию Западной церкви.

Как и в случае со школой, так и в случае с университетом. Второй, как и первый, был созданием церкви, и еще более заметно, что он был средством поощрения и поддержания контроля над общими учреждениями и общим обучением и тем самым подавления богатого разнообразия местной жизни, которая возникала повсюду. Парижский университет, мать и образец всех последующих университетов (по крайней мере, в Северной Европе), уже в самом своем создании показал свой международный характер; студенты, стекавшиеся в него со всех стран, были объединены в "нации" - система, которая, по крайней мере, по названию, сохраняется во многих университетах и по сей день; все обучение велось и велось на латыни, а весь курс обучения представлял собой длительное ученичество по изучению теологии. Именно из университетов вышла великая система философии, в которой принимали участие и француз Абеляр, и итальянец Фома Аквинский, и англичанин Уильям Оккам.

Мы можем с восхищением относиться к великим интеллектуальным достижениям схоластической философии, которая на протяжении более двух веков доминировала в официальном образовании, но мы не должны забывать, что ее господство означало исключение из общественного признания местной и национальной мысли и литературы, которая сейчас, как и раньше, пробивалась к жизни. Трубадуры и миннезингеры, "Шансон де Роланд" и "Нибелунгенлид", хроники Фруассара, Чосера и Пирса Плаумена, каждая из которых так полна свежей энергичной местной жизни, были не только вне официальной системы образования, но и по своей сути противостояли ей. Это было ясно видно, как только свободный и неконтролируемый ум обращался к высшим предметам мысли. Национальные особенности, нашедшие свое выражение в области философии и теологии, приводили к результатам, отличным от установленного школьного преподавания. Для Церкви истина всегда была единой и неизменной. Истина была едина, заблуждение - многообразно; в единстве - спасение, в расхождении - ересь. Поэтому любые попытки национальной и местной мысли не только пресекались в образовании, но и попадали под запрет дисциплины. В Лангедоке альбигойцы осмелились заявить о своей независимости, в Богемии - Гус, в Англии - Уиклиф. Что же произошло? Альбигойцы были истреблены, Гус был сожжен, Уиклиф осужден, а его последователи пострадали по новому закону о ереси.

Эта система, возникшая как часть великого духовного движения, давно изжила свою полезность. Она превратилась в невыносимую тиранию. Ее последствия можно было наблюдать в преподавании самой скромной гимназии, и каждый мальчик, приступавший к изучению латинской грамматики, становился приверженцем абстракций и схоластической логики. Она стала мертвой и железной корой, в которую был закован разум человека, и именно школа и университет были своеобразными институтами, с помощью которых поддерживалась эта система. Единство образования было, но какой ценой оно было завоевано.

Однако одно было обеспечено: общая христианская основа нашей современной цивилизации была запечатлена на народах; до тех пор, пока Европа остается Европой, это не может быть забыто или стерто. Ни один народ не может отречься от своего прошлого, и, хотя бы они того или нет, все западные народы нерушимо связаны узами дома, в котором прошли их детство и юность.

Наконец перемены наступили: они проявились в той двойной революции, которую мы называем Ренессансом и Реформацией. Рассматривая их, мы должны ограничиться, насколько это возможно, их влиянием на образование.

Возрождение обучения было, по сути, образовательным движением, оно с самого начала имело отношение прежде всего к школе. Его целью было полное изменение как предмета, так и духа образования. Оно всегда черпало свое вдохновение в литературе Греции, а это означало полную свободу человеческого интеллекта, свободу умозрения, свободу исследования условий человеческой жизни, и в особенности это было восстание против аскетических идей средневековой церкви; это было утверждение достоинства тела и разума человека. Если в Италии, на родине, эта наука приняла направление, определенно антагонистичное христианской вере и христианской этике, то в Северной Европе новая классическая наука была согласована с христианством, а классическая наука была применена к толкованию Библии. Это был синтез того, что средневековая Европа считала непримиримыми противниками. Именно это вдохновило школьную реформу и стало руководящим принципом всего высшего образования на протяжении последующих трех столетий. Это движение изначально было не местным или национальным, а европейским, и в своей первой форме оно не противостояло поддержанию церковного единства Западной Европы. Фигура, в которой оно достигло своего наиболее яркого выражения, - Эразм. Находясь на переходе между двумя эпохами, он был последним из великих европейских ученых и принадлежал к неразделенной католической церкви в той же мере, что и Абеляр или Ансельм. Бродячий ученый эпохи Возрождения, без отца, без матери, полностью свободный от семейных или национальных уз, одинаково дома в Девентере или Кембридже, в Базеле, в Париже или в Риме, даже без родного языка, ибо латынь была для него единственным наречием (я полагаю, он не оставил ни одного слова, написанного на каком-либо другом языке), он видел видение Европы, по-прежнему объединенной в повиновении единой Церкви, но Европы, в которой культура гуманиста будет идти бок о бок с общей верой, унаследованной с ранних времен.

Надеждам Эразма не суждено было сбыться. Правда, он заложил фундамент, на котором почти до наших дней сохранилась признанная и официальная схема образования; латинские школы Германии и грамматические школы Англии одинаково опирались на Церковь и классику, но еще до того, как фундамент был завершен, реальное единство было утрачено. Ренессанс столкнулся с двумя силами, каждая из которых была сильнее себя, и общий поток разбился на множество мелких течений. С тех пор они становились все сильнее, пока ощущение общего происхождения почти не исчезло.

Общая средневековая система (а в этом дух Ренессанса все еще оставался средневековым) зависела от общей церкви, и особенно в образовании - от использования латыни в качестве универсального языка обучения. В XVI веке и то, и другое было свергнуто. Лютер оказался сильнее Эразма, и новые языки, итальянский, французский, испанский, английский, быстро начали посягать на притязания латыни быть единым языком школы.

Религиозная революция не должна нас задерживать. Достаточно вспомнить, что во многих частях Европы расхождение вероисповеданий имело тенденцию если не совпадать с границами государств и наций, то, по крайней мере, тесно с ними совпадать. В каждой стране школа по-прежнему находилась под строгим контролем Церкви, выступавшей теперь в качестве делегата временного правителя, и в каждой стране сложился целый свод учебных и дисциплинарных норм, результатом чего стало фундаментальное различие в мировоззрении. Английские епископы, немецкие консистории, шотландские пресвитеры поставили свою печать на школах, так же как иезуиты и Порт-Рояль во Франции. Краткий катехизис, английский молитвенник, немецкие гимны - каждый из них придавал религии страны свой характер, и этот характер лежал в основе преподавания в школах.

Религия, которая была великим объединителем, стала главным двигателем разделения.

Не менее важным был рост национальной литературы. Она, правда, уходит корнями далеко за пределы XVI века, но тем не менее именно с этого времени писатели не только воображения, но и образованности начали выражать себя каждый на своем родном наречии. Сэр Томас Мор, правда, написал свою *"Утопию"* на латыни, но именно на английском она получила большое распространение. Бэкон использовал оба языка, но именно на английских изданиях его работ зиждется его слава. В частности, мы видим, что работы по религии и теологии теперь издаются не только на латыни, но за сто лет до этого Гукер рассуждал бы о "церковном устройстве" на этом ученом языке, а Паскаль никогда бы не подумал использовать французский для обсуждения философии иезуитов.

Влияние этих изменений на школу поразительно. Строго говоря, на протяжении многих поколений они, казалось, не оказывали на нее непосредственного влияния. Во всех странах Европы латынь оставалась и предметом, и средством высшего образования, но именно по этой причине мы видим, что в течение семнадцатого века и большей части восемнадцатого школы все больше и больше выпадают из интеллектуальной жизни времени. Они продолжали жить по старинке; для них Шекспир и Мильтон, Монтень и Мольер, Сервантес и Тассо, казалось, писали впустую. Они сохранили форму более древнего периода, но утратили дух, которым он был вдохновлен. Их обучение оставалось чисто классическим; но даже если новая национальная литература долго завоевывала себе определенное место в признанной школьной системе, рост этой литературы и эволюция национального сознания, частью которого она являлась, фактически не могли происходить без изменения всего духа преподавания. Чтобы понять, как это произошло, мы должны помнить об одной из главных характеристик того, что называется классическим образованием.

Изучение классики означает изучение всей жизни двух великих народов древности, сохраненной в дошедшей до нас литературе. Это не содержит определенной и сформулированной доктрины, это даже не означает, как можно было бы сказать о Средних веках, одного отношения к миру; это открывает перед студентом поле необычайного богатства и разнообразия, и каждый берет из него то, что он способен присвоить. Для одного это может быть мистицизм кембриджских платоников, для другого - откровенная и языческая радость жизни Анакреона и Горация. Руссо и Гроте по-своему воспримут урок Свободы, другие обратятся к истории воинствующей и доминирующей аристократии Рима. Гете и Китс, Мильтон и Гиббон, Беркли и Шопенгауэр будут черпать свое вдохновение в классике, но в результате они не станут похожими друг на друга, а придадут качествам каждого из них силу, решение, форму, решительность и достоинство.

Как и в случае с отдельными людьми, так и в случае с нациями. Школы всех стран сохранили свою классическую программу обучения; мальчики по-прежнему начинали, а часто и заканчивали свое обучение латинской грамматикой, но это не означало, как в прежние времена, что влияние было одинаковым. Между тем, что мы можем осмелиться назвать педантизмом Германии и поверхностной элегантностью иезуитских школ, действительно было мало общего. И классическая основа не помешала школе принять национальный оттенок. Позвольте мне привести одну иллюстрацию того, как классическое обучение могло принять ярко выраженный национальный дух. Пожалуй, самое эффективное классическое обучение, которое мы находим в XVIII веке, - это обучение в Итоне, и именно на нем была основана великая школа ораторского искусства и государственного мастерства. Именно на Цицероне, Гомере и Демосфене Питт, Фокс, Каннинг и Гладстон (ибо традиция продолжалась до его дней) формировали свой ум и свой стиль, но они вышли из своего обучения прежде всего англичанами, но англичанами, которые научились придавать своим

собственным национальным чувствам достоинство выражения и благородство формы, равные тем, которые были у образцов, которые они изучали.

Так же, как лучшее выражение английского национального духа было найдено у тех, чье школьное образование было основано на классике, так же, как жирондисты основывали свои революционные доктрины на эллинских образцах, так почти в то же время великое политическое пробуждение Германии и Пруссии было вдохновлено тем, что называют вторым Ренессансом; и все же, насколько глубоки расхождения между Уэлсли и Питтом, Гумбольдтом и Штейном, St. Все они были детьми общей классической традиции, но как различно ее использование. За столетия, прошедшие между Ренессансом и Революцией, образование разных стран фактически отделилось друг от друга. То, что было сделано в XIX веке, было открыто для того, чтобы привести в действие изменения, которые давно назревали и уже в значительной степени действовали.

Было неизбежно, что новая литература и мысль в конце концов попадут в школы и университеты. Но не успели эти перемены свершиться, как новое и еще более сильное влияние заявило о себе. Пришла демократия, и демократия, которая основывала государство на принципе национальности. Она, как и средневековая церковь, ухватила за школу как за средство удержать умы людей в подчинении и тем самым навязала и увековечила национальные различия.

В XVIII веке правители мало беспокоились о таких, казалось бы, незначительных вопросах, как языки, на которых общались и читали их подданные. Даже французы не пытались трогать немецкоязычных жителей Эльзаса, а Копенгаген мог стать центром немецкой письменности, в то время как французский язык сохранялся при берлинском дворе. Все это изменила революция, и Наполеон первым сознательно превратил всю структуру французских школ и университетов в инструмент организованной пропаганды культа империи. С тех пор едва ли найдется правительство (за исключением Англии, которая одна была достаточно сильна, чтобы опираться на исконное и недисциплинированное политическое чувство народа), которое не шло бы по его пути. В частности, когда государство основано на нации, школа используется для развития в детях полного сознания национальности. Это учреждение, которое так долго было домом европейского единства, стало самым полезным агентом для увековечивания и преувеличения национальных различий. Именно в школе иммигранта в Соединенные Штаты учат благоговеть перед институтами его новой родины, и из поколения в поколение школа трудится, чтобы сохранить память о полузабытой борьбе новой республики и британской монархии. Во Франции каждое последующее правительство использовало школу, чтобы навязать народу свою интерпретацию национальной истории и идеалов. А победы прусских армий закреплялись и подтверждались официальной экспозицией прусского государства и культом Гогенцоллернов. В школу переносится конфликт между доктринами власти и революции, светского государства и Царства Божьей милостью. Каждый народ, справедливо борющийся за свободу, видел в школе инструмент для обеспечения преданности молодежи, и школа становилась центром политической борьбы. В Триесте и в Польше, в Эльзасе и в Македонии мы видим королей и политиков, борющихся за умы и души детей, и именно в школе, колледже и университете готовился конфликт, который сейчас опустошает Европу.

То, что было сделано в XIX веке, на самом деле было лишь воплощением в жизнь перемен, которые давно назревали и подразумевались в предыдущие годы. Национальная культура и национальные авторы, наконец, проложили себе путь в школы, и в результате учреждения, которые изначально и так долго были средством выражения общеевропейской цивилизации, почти полностью перешли на сторону национального самовыражения.

Это действительно неизбежно. Образование, как мы уже видели, может быть эффективным только тогда, когда оно является проводником сильных убеждений, и на его основе происходит сознательное выражение отношения к миру. В наши дни сознание общеевропейского духа, по сути, почти исчезло. На его месте мы находим интенсивное сознание нации. Даже религия стала национальной, а Бог снова превратился в племенное божество. Новое сознание общих интересов того, что называется трудом, не нашло признания в утвержденном преподавании. Если работа школы не должна сводиться к мертвому обучению бесполезным знаниям, если она должна быть направлена на то, чтобы привить уму учеников идеалы и убеждения, то это может быть достигнуто только идеализацией национальной мысли.

Неужели старое единство мысли должно быть навсегда утрачено? Если нет, то вы должны найти его снова в каком-то более высоком синтезе. Есть много желающих заняться математикой и естественными науками; в них, по крайней мере, нет разделения на страны. Студент в своей химической лаборатории, врач в своей больнице, математик в своем кабинете находят своих коллег в любой стране цивилизованного мира, и для него не имеет значения, сделан ли следующий шаг в постижении тайн природы в Вене, или в Париже, или в Амстердаме, или в Болонье.

Многие считают, что на этой основе будет создан Союз цивилизаций. Однако если посмотреть на ситуацию более критично, то можно найти повод усомниться в обоснованности такого оптимистичного взгляда. Я не разделяю этой надежды и этой веры, я не жду духовного и интеллектуального единства народов, созданного на основе научного образования. Действительно, невозможно переоценить не только практическое, но и интеллектуальное влияние того, что мы можем назвать научным духом. Действительно, те, кто привык к тщательному и систематическому исследованию причин, кто с ранних лет был обучен распознавать в пышности и красочности внешнего мира - и даже в некоторой степени в работе человеческого разума и структуре человеческого общества - упорядоченную последовательность естественных законов, будут иметь тип и характер ума, существенно отличающийся от тех, кто не прошел через эту дисциплину. Цивилизация (я едва ли осмелюсь использовать слово "культура") тех народов, которые имеют это общее, будет иметь свое собственное единство и будет коренным образом отличаться от их собственного прошлого и прошлого других рас.

С другой стороны, есть два соображения, которые я хотел бы представить вам как ведущие к менее важной позиции: одно вытекает из практической природы науки, другое связано с ее существенным интеллектуальным происхождением.

Для всех работ в области физической науки характерно то, что, как бы они ни зарождались в чистом стремлении к истине, они очень быстро становятся доступными для практического использования, личного комфорта, приобретения богатства и национальной эффективности. Физик, рассчитывающий напряжения и деформации аэроплана, обнаруживает, что, обучая человека управлять природой, он также предоставляет средства для его борьбы, будь то в мире или на войне, в торговле или на поле боя. Вскоре мы обнаруживаем, что прогресс технического мастерства не оказывает должного воздействия на человеческие мысли и чувства. Люди остаются теми же, едут ли они в вагоне, поезде или автомобиле; не имеет значения, используют ли они лук и стрелы, винтовки, ручные гранаты или жидкий огонь.

Теперь в образовании почти неизбежно наиболее заметной становится техническая сторона научного прогресса, и чем выше прогресс в знаниях, тем больше это будет соответствовать действительности. Чем шире область знаний, тем больше число тех, кто будет занят в

основном использованием открытых процессов и материалов, и тем меньше доля тех, кто достигнет границы известного и начнет исследовать неизвестное. Иными словами, тем больше будет тех, кто является слугами, а не хозяевами науки. Мы получим некое единство, единство тех, кто научился управлять аэропланом, применять рентгеновские лучи, извлекать фосфат из железа или проверять скот на туберкулез. Все это может привести к единообразию в механизме жизни, но при этом остаются нетронутыми мотивы действий, убеждения, привязанности и интересы. Сколько иллюстраций этого мы видим вокруг себя! Что может быть более яркой иллюстрацией силы человеческого интеллекта, чем поздние разработки в области электричества, но едва были сделаны открытия, как мы видим, что ими воспользовался человек дела, и беспроводной телеграф становится предметом спекуляций на бирже и главным орудием войны. То, что химик находит в своей лаборатории, через несколько лет, а иногда и через несколько месяцев, снова оказывается на фабрике, а возможно, и на поле боя.

Пусть не думают, что я недооцениваю возможность более глубокого единства, но если мы хотим его найти, мы должны перенести наш анализ еще дальше назад. Прогресс науки на самом деле не причина, а результат, не конечный факт, а симптом состояния ума. Он берет начало того, что было сознательно привнесено в Европу в эпоху Возрождения и что мы можем назвать духом Греции. Именно ей мы обязаны не только исследованием и подчинением природы, но и прогрессом во всех областях мысли, анализом общества, будь то политического или экономического, исследованием работы человеческого разума, изучением человеческих страстей и их отражением в искусстве и литературе.

Что это за дух? Разве это не уверенность в духе человека, духе, который в интеллектуальных вопросах не подчиняется никаким авторитетам и не признает никаких пределов для своего предприятия, который все исследует, все проверяет и бесстрашно следует туда, куда его ведут аргументы? Это то, что я подразумеваю под духом Греции, это то, что увековечил Софокл. Из всего этого то, что мы называем наукой, является лишь частью, возможно, в настоящее время наиболее яркой и важной частью, но все же только частью; рассматривать ее как ключ к нашей цивилизации и единственную основу нашего образования означало бы устанавливать частичный и, следовательно, ложный идеал. Идеал, который, если довести его до логического конца, стал бы основой для самой ужасной тирании, в результате которой свободный дух исследования, которому мы обязаны всем нашим научным прогрессом, был бы похоронен в структуре, которую сам же и воздвиг. Ибо к какому концу это должно привести? Разве не к обществу, которое держится на техническом мастерстве, обществу организованной эффективности, где каждый человек занимает свое место, не как живой дух, а как раб великой машины, привязанный на протяжении всей своей жизни к совершенному выполнению своей ограниченной и специализированной задачи? Я могу представить себе такое общество; это идеал, который некоторые современные немецкие писатели определенно ставят перед нами. Возможно, это будет Европа будущего, Европа с единым правительством и универсальной системой образования, с помощью которой каждый ребенок будет подготовлен к выполнению отведенной ему роли в организованном рабстве. Надеюсь, я не доживу до этого.

Тем не менее, единство есть, но оно более глубокое, чем это. Это единство, унаследованное от прошлого. Здесь мы можем найти не поверхностное единообразие, а настоящее единство жизни и духа. Ни одна цивилизация не может отречься от своего собственного происхождения, и что бы ни сулило будущее, детство Европы было вскормлено на Библии и христианстве, а в более зрелые годы добавился импульс к самому смелому использованию человеческого интеллекта, который пришел из Греции. Эти два элемента дают нам то, что

является особенной характеристикой Западной Европы, и как нам говорят, что рост каждого человека повторяет развитие расы, так и образование каждого человека повторяет в детстве и юности образование нации. Именно из этих двух элементов берет начало вся современная культура, и именно из них она вновь и вновь набирает свою силу.

И если мы помним об этом, то нас не должны сильно беспокоить наши кажущиеся разногласия и недоразумения. В конце концов, они являются необходимым результатом свободы, а что означают Библия и Греция, кроме моральной и интеллектуальной свободы? Мы не хотим формального и искусственного единства: для нас перемены, прогресс, конфликты и разделения - это дыхание нашей жизни. Как скопление маленьких городков на островах и в долинах Эгейского моря ценит прежде всего свою политическую и интеллектуальную независимость, так и эти маленькие страны, приютившиеся на берегах Атлантики. В политическом плане они всегда отказывались признавать установление над ними какой-либо общей власти, будь то извне или даже между собой, и так же они всегда отвергали господство какой-либо одной или частичной интеллектуальной доктрины. Каждая партия и каждая нация вносит свой вклад; все они имеют общее происхождение, и все проистекают из одного корня. С тех пор как были ослаблены узы и свергнуто господство Вселенской Церкви, мы не видим ничего от соперничества политических систем и проходящих схем мысли; они преследуют друг друга, как штормы, которые поднимаются из Атлантики и быстро сменяют друг друга над нашими берегами. Именно эта смена и последовательность являются для нас дыханием нашей жизни: мы ничего не знаем об устойчивой статичной погоде больших континентов, где дождь и засуха имеют каждый свое отмеренное и устоявшееся пространство; и мы ничего не знаем и не узнаем о формальном и авторитетном правиле, объединяющем всю Европу в одно царство, будь то политическое или интеллектуальное. Ибо мы знаем, что единство и постоянство не принадлежат этой жизни, и наше ближайшее приближение к истине можно найти не в устоявшейся системе, а в тысячекратном взаимодействии полуправд и частичных систем.

Жизнь, как купол из разноцветного стекла
Заливает белое сияние вечности.
Пока смерть не разобьет ее на осколки.

Единство есть, но это единство бесчисленных и разнообразных цветов, устилающих луга весной, единство общего духа жизни, одушевляющего их всех.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Лич, *Школы средневековой Англии*. Methuen.

Mullinger, J. Bass, *The Schools of Charles the Great*.

Paulsen, *Geschichte des gelehrten Unterrichts*.

Rashdall, *Universities in the Middle Ages*. Clarendon Press.

Фостер Уотсон, *Грамматические школы*. Издательство Кембриджского университета

Вудворд, *Эразм*. Cambridge University Press.

ТОРГОВЛЯ И ФИНАНСЫ КАК МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ

Торговля и финансы - сферы жизни, в которых человечество ближе к единству, чем в любой другой. Они являются практическим выражением инстинкта самосохранения, который является первым законом природы. Они проистекают из жадности, которая является универсальной характеристикой человеческой природы, а также природы животных и растений. Каждое живое существо стремится добыть пищу. Адам Смит действительно ограничивает торговый инстинкт человечеством. "Склонность, - говорит он, - к торговле, бартеру или обмену одной вещи на другую... присуща всем людям и не встречается ни у одной другой расы животных, которые, похоже, не знают ни этого, ни других видов контрактов". Две борзые, бегущие за одним и тем же зайцем, иногда выглядят так, будто действуют в каком-то согласии. Каждый поворачивает ее к своему товарищу или пытается перехватить ее, когда его товарищ поворачивает ее к себе. Однако это не следствие какого-либо договора, а случайное совпадение их страстей, направленных на один и тот же объект в данный конкретный момент. Никто никогда не видел, чтобы собака честно и осознанно обменивала одну кость на другую с другой собакой". [24]

Мистер Кэннан в своем издании *"Богатства народов"* очень разумно указывает в примечании к этому отрывку, что "ни в коем случае не ясно, какая цель может быть в обмене одной кости на другую". Вероятно, если порыться в литературе собачьих историй, то можно найти множество примеров торговли между собаками, и когда они выполняют трюки, чтобы получить еду, мы обнаруживаем зародыш обмена услуги на товар.

Когда пчела берет мед с цветка и оставляет взамен пыльцу с цветка противоположного пола, она, можно сказать, одновременно является торговцем, перевозчиком и брачным агентом, а яркие краски, которыми цветы привлекают этих торговцев, сравнивают с рекламными плакатами человека-торговца. Но как бы ни обстояли дела в животном и растительном мире, не подлежит сомнению, что торговый инстинкт проявляется на очень ранней стадии развития человека. У мальчиков инстинкт торговать или обменивать вещи появляется задолго до того, как они почувствуют склонность к влюбленности или серьезно задумаются о религии. Классический пример приводит Марк Твен, рассказывая о том, как Том Сойер обменял один из своих собственных зубов, вырванных в то утро, на клеща, находившегося у Гекльберри Финна, после чего "два мальчика расстались, каждый чувствуя себя богаче, чем прежде". На самом деле, конечно, они оба были богаче, чем прежде, потому что каждый получил то, что ему было нужно больше, чем вещь, с которой он расстался; и этот приятный результат подводит итог всему генезису и основе коммерции.

Но хотя торговля, таким образом, является всего лишь выражением инстинкта, который является примитивным и универсальным, из этого не следует, что она является его единственным или даже самым ранним выражением. Возможно, самым ранним и естественным ее проявлением был грабеж, с применением насилия или без него. Первобытный дикарь, увидев что-то, что ему нужно, вероятно, при достаточной силе ударил бы владельца по голове и забрал это, и этот короткий и простой способ приобретения до сих пор иногда встречается в сферах самой высокоцивилизованной дипломатии. Тем не менее, на очень раннем этапе его ограниченность стала очевидной, и уже на заре записанной истории мы находим коммерческие сделки, упоминаемые как устоявшаяся отрасль человеческого общения. Ветхозаветная история не зашла далеко, прежде чем поведать нам о купле-продаже. В двадцать третьей главе Бытия мы находим очень интересную сделку, заключенную между Авраамом и Ефроном. Сара умерла в Кирхат-Арбе:

это Хеврон в земле Ханаанской; и пришел Авраам оплакивать Сарру и плакать о ней. И встал Авраам от мертвых своих и обратился к сынам Хетовым, говоря: я пришелец и скиталец у вас; дайте мне во владение место погребения у вас, чтобы я мог погребать мертвых моих с глаз моих. И отвечали сыны Хетовы Аврааму, говоря ему: выслушай нас, господин мой; ты могущественный князь у нас; в выборе гробов наших похорони мертвого твоего; никто из нас не уступит тебе гроба своего, но чтобы ты мог похоронить мертвого твоего. И встал Авраам и поклонился народу земли, даже сынам Хетовым. И говорил с ними, говоря: если вы хотите, чтобы я похоронил мертвых моих вдали от глаз моих, то послушайте меня и попросите за меня Ефрона, сына Зофарова, чтобы он дал мне пещеру Махпелу, которая у него, в конце поля его; за сколько денег она стоит, столько он даст мне во владение места погребения среди вас. И жил Ефрон среди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму при сынах Хетовых, при всех входящих в ворота города его, говоря: нет, господин мой, послушай меня: поле даю тебе, и пещеру, которая в нем, даю тебе; при сынах народа моего даю тебе ее; похорони мертвого твоего. И преклонился Авраам пред народом земли. И обратился он к Ефрону в присутствии жителей земли, говоря: если хочешь дать, то, молю тебя, выслушай меня: Я дам тебе деньги за поле; возьми его у меня, и я похороню там мертвого моего. И отвечал Ефрон Аврааму, говоря ему: господин мой, послушай меня; земля эта стоит четыреста сиклей серебра; что между мною и тобою? похорони там мертвого твоего. И послушал Авраам Ефрона, и взвесил Авраам Ефрону серебро, которое он назвал в присутствии сыновей Хета, четыреста сиклей серебра, текущие деньги у купца".

В этом очень раннем и любопытном примере сделки мы видим, как продавец постоянно выражает нежелание продавать и просит покупателя принять в дар товар, который он хочет получить. Из дальнейшего изложения следует, что это всего лишь пример восточной вежливости. Во всяком случае, сделка закончилась тем, что Авраам заплатил деньги, четыреста сиклей серебра, которые описаны как "текущие деньги у купца", что, очевидно, свидетельствует о том, что подобная система оплаты металлами уже была обычной чертой коммерческих сделок. Монетная валюта еще не была разработана, так как мы можем заметить, что Авраам взвесил серебро.

Когда мы переходим ко временам Соломона, мы обнаруживаем нечто похожее на развитую международную торговлю. В пятой главе первой книги Царств описывается, как Соломон, заняв трон своего отца, послал к Хираму, царю Тирскому, и заявил о своем намерении построить дом во имя Господа Бога своего, попросив Хирама прислать своих слуг срубить кедровые деревья на Ливане и сказав, что он даст наем слугам Хирама по всему, что тот назначит. Хирам ответил, что сделает все, что пожелает Соломон, относительно древесины кедра и относительно древесины пихты. Мои слуги привезут их из Ливана к морю, и я перевезу их по морю на плотам в то место, которое ты мне укажешь, и выгрузу их там, и ты примешь их; и ты исполнишь мое желание, дав пищу моим домашним". И дал Хирам Соломону кедровые деревья и пихты по всему желанию его. И дал Соломон Хираму двадцать тысяч мер пшеницы в пищу домочадцам своим и двадцать мер чистого масла; так давал Соломон Хираму из года в год".

Согласно этой схеме, Соломон платил за импортируемую древесину, экспортируя Хираму пшеницу и масло, но в следующей главе будет показано, что эта сделка не была чисто коммерческой. По истечении двадцати лет, когда Соломон закончил строительство храма, он отдал Хираму в качестве дополнительного вознаграждения двадцать городов в земле Галилейской: "И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон; и они не понравились ему. И сказал он: что это за города, которые ты дал мне, брат мой? И назвал

он их землею Кабул [на полях объясняется, что это значит "неприятный" или "грязный"] до сего дня. И послал Хирам царю шестьсот талантов золота".[25]

Помимо этой сделки между двумя царями, Соломон, по-видимому, развивал очень значительную внешнюю торговлю, предположительно экспортируя пшеницу, масло и другие сельскохозяйственные продукты. Его импорт, по-видимому, был разнообразным. В десятой главе первой книги Царств говорится, что "у царя был на море флот Фаршиша с флотом Хирама: раз в три года приходил флот Фаршиша, привозя золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов"... "И сделал царь серебро в Иерусалиме, как камни, и кедры сделал, как сикоморы, которые в долине, для изобилия. И вывел Соломон из Египта коней и льняную пряжу; купцы царские получили льняную пряжу по цене".

Вопрос о торговом балансе Соломона очень интересен и заслуживает внимания какого-нибудь иудейского ученого, который мог бы пролить на него свет. В наши дни довольно трудно представить, как чисто сельскохозяйственная страна могла найти средства для оплаты всех этих предметов чистой роскоши, которые Соломон так свободно импортировал. Однако следует отметить, что "вся земля стремилась к Соломону, чтобы услышать мудрость его, которую Бог вложил в сердце его. И приносили каждый свой подарок, сосуды серебряные и сосуды золотые, одежды, доспехи и пряности, коней и мулов, по норме из года в год". Из этого следует, что Соломон мог обменивать свою мудрость на очень значительную часть импорта, поступавшего в его страну, и поэтому, возможно, мы можем считать, что мудрость Соломона - это самый ранний зафиксированный пример того, что сегодня известно как невидимый экспорт. Современный эквивалент - это статьи, которые английские писатели пишут в американские газеты и за которые в конечном итоге платят, отправляя в Англию американскую пшеницу и хлопок. Интересно также отметить, что в наши дни, когда так свободно проповедуется личная экономия и простота жизни, за роскошным импортом Соломона последовали дурные последствия: импорт огромного количества чужих женщин и последующее отвращение его сердца к ложным богам.

Если перейти к светской истории, то самая первая глава первой книги первой из когда-либо написанных историй посвящена вопросу торговли. Геродот, которого называют отцом истории, открывает свой труд несколькими вступительными словами, в которых говорится, что "это исследования, которые он публикует в надежде таким образом предотвратить утрату должной славы великих и удивительных деяний греков и варваров, а вместе с тем зафиксировать, каковы были причины их вражды". А затем он сразу же приступает к рассказу, который выглядит следующим образом: "По словам персов, наиболее осведомленных в истории, ссору начали финикийцы. Этот народ, ранее обитавший на берегах Эритрейского моря, перебравшись в Средиземноморье и поселившись в тех местах, которые они населяют сейчас, сразу же, как говорят, начал пускаться в дальние плавания, нагружая свои суда товарами из Египта и Ассирии. Они высаживались во многих местах на побережье, и среди прочих - в Аргосе, который в то время занимал главенствующее над всеми государствами, входящими сейчас под общим названием Эллада. Здесь они выставили свой товар и торговали с туземцами пять или шесть дней; по истечении этого времени, когда почти все было продано, на берег сошли несколько женщин, и среди них дочь царя, которая, как говорят, была согласна в этом с греками, Ио, ребенок Инаха. Женщины стояли на корме корабля, намереваясь сделать покупки, когда финикийцы с общим криком бросились на них. Большей части удалось спастись, но некоторые были схвачены и унесены. Среди пленников была и сама Ио. Финикийцы посадили женщин на свой корабль и отплыли в Египет. Так Ио перешла в Египет, согласно персидской истории,

которая сильно отличается от финикийской: и так началась, по словам авторов, черед бесчинств".[26]

Торговля, таким образом, является ярким примером единства человечества, будучи практически универсальной формой человеческой деятельности, которая возникает, как только человек выходит из самых ранних стадий варварства. В случае с отдельными людьми легко понять, как это желание обмениваться товарами между одним человеком и другим означало столь значительное повышение эффективности человеческой деятельности, что о нем нужно было только подумать, чтобы оно стало всеобщим. Первобытный дикарь, который все делал сам, сам строил себе хижину, сам добывал или находил пищу, сам шил себе одежду, был чрезвычайно универсальным и самодостаточным человеком. В то же время удобства, которыми он пользовался, были, вероятно, не слишком удовлетворительными. В его хижине почти наверняка гуляли сквозняки и дождь проникал через крышу; во время охоты и поиска пищи его кладовая наверняка часто оставалась пустой, а состояние его гардероба, вероятно, было скорее простым, чем удовлетворительным. Неизбежно случалось, что некоторые члены племени проявляли большую эффективность, чем другие, в выполнении какого-то одного из этих различных дел, необходимых даже для самой простой формы человеческой жизни. Таким образом, начинает проявляться тенденция к специализации. Умелый строитель хижин строит хижины не только для себя, но и для других членов племени; он приобретает дальнейшее мастерство благодаря постоянной практике, и хижины строятся быстрее и получаются лучше, когда их заканчивают. Остальные члены племени, по сути, платят ему, поставляя определенное количество еды и одежды. Тенденция к специализации будет очень быстро прогрессировать, и легко представить, как уже на ранней стадии и в самых примитивных сообществах появятся мастера по изготовлению луков, стрел, выделке кожи и различные виды ремесленников, которые будут удовлетворять потребности сообщества в какой-то особой области и получать от сообщества все товары, которые им требуются, помимо тех, которые они производят сами. Таким образом, отдельные члены общины становятся взаимозависимыми и живут за счет производства друг друга. Таким образом, возникает единство, а вместе с ним и новая причина для разъединения, поскольку возникает вероятность ссор из-за обмена.

По мере развития прогресса и знакомства общин на большем расстоянии с потребностями друг друга и различными видами товаров, которые поставляют определенные районы, эта тенденция к специализации и последующему обмену товарами становилась все более широкой. Вместо того чтобы племя было торговым единством, зона, в которой происходил обмен товарами, расширялась настолько, насколько это позволяли географические и другие границы. В одной и той же стране один район может оказаться особенно хорошо приспособленным для земледелия, другой - для пастбищ; Другой, хорошо обеспеченный металлами, естественно, обеспечит кузнецов и производителей грубых инструментов для промышленности, и обмен товарами между районами с такими различными возможностями будет означать, что специализация производства будет идти все дальше и дальше, и что можно будет найти целый город или деревню, в которой подавляющее большинство жителей занято в одной конкретной форме промышленности, полагаясь в отношении других видов товаров, которые им необходимы, на деятельность аналогичной общины, живущей в соседней долине или на другом берегу реки. Этот процесс расширения, естественно, распространился бы и на границы разных стран. Препятствия на пути этого процесса будут заключаться в различии языков и, возможно, в трудностях транспортировки. С другой стороны, он будет значительно стимулироваться различными представлениями о ценности, которые преобладают в разных сообществах. Ценность зависит от того, насколько кому-то нужна вещь, а также от того, что он считает ее ценной, то есть от количества товаров в его

распоряжении, с которыми он готов расстаться, чтобы получить ее. Очевидно, что товары, привозимые из других стран и неизвестные или редкие в стране, где они предлагаются, если они вообще привлекательны, обладают определенной долей того, что называется дефицитной стоимостью, что делает их легко продаваемыми авантюрными купцами, прибывшими с грузом.

Истории о том, как купцы, путешествовавшие среди простых туземных племен с грузом стеклянных бус и сумевшие обменять эти броские безделушки на золото, каучук или другие товары, которые ценятся в цивилизованных странах, часто рассказывают, и возможности для такой торговли должны были быть гораздо более частыми, когда связь была сравнительно трудной. Ценность во многом определялась местными традициями и привычками, поэтому прибыль торговца могла значительно возрасти, чем дальше он удалялся от родного рынка. Если он увозил с собой множество вещей, которые были в изобилии на родине и, следовательно, стоили дешево, он почти наверняка смог бы привезти большое количество вещей, которые были в изобилии в далекой общине и, следовательно, дешевы для его приобретения, и дефицитны в его собственном районе и, следовательно, уверены в хорошем рынке. Эта разница в стандартах стоимости в разных странах была большим стимулом для внешней торговли, а также способствовала сближению человечества, хотя иногда это заканчивалось разочарованием. Утверждают, что еще на памяти человека один английский купец торговал с первобытным сообществом, в котором золото и серебро обменивались на вес. В течение нескольких лет он вел очень приятную и выгодную торговлю, принимая груз серебра и возвращая такой же груз золота, стоимость которого в Англии была в шестнадцать раз больше, а то и больше. К сожалению, когда он совершал свое последнее плавание, в устье реки его встретил дружелюбный туземец, который сообщил ему, что община ждет его с томагавками, и он поспешно снова вышел в море. До конца жизни он лелеял обиду на этот любопытный народ, с которым, по его собственному мнению, он вел дела на совершенно справедливых условиях, продавая им товар по цене, к которой они привыкли и которую считали вполне правильной, в результате чего они предложили убить его, потому что обнаружили, что цена не соответствует той, что существует в других частях света.

В результате такого обмена товарами между одной общиной и другой процесс специализации или разделения труда, который уже упоминался в качестве его основы, развился до необычайных масштабов. Его результатом стало колоссальное увеличение доступного богатства, в то время как концентрация труда индивида сузила его работу настолько, что теперь он специализируется не на производстве одного товара, а на производстве части части товара.

Главы Адама Смита о разделении труда настолько хорошо известны, что нет необходимости указывать на огромные экономические выгоды, которые из этого вытекают. Очевидно, что тот, кто тратит все свое рабочее время на один конкретный процесс производственной деятельности, приобретает таким образом мастерство и быстроту в выполнении своей части операции, которые были бы невозможны для любого рабочего, который должен был вести производство изделия от начала до конца. Подобно тому, как мы видели, что, когда первобытный дикарь перестал делать все сам и принялся строить хижины для остальных членов общины, хижины стали гораздо более водонепроницаемыми и удобными, так и этот процесс идет дальше, и строительство становится гораздо более быстрым и гораздо более дешевым и эффективным, когда большое число специалистов занято различными процессами, необходимыми для строительства дома. В результате производство товаров значительно удешевляется и ускоряется, но в то же время рабочий становится

ремесленником, а не мастером, и его работа, скорее всего, будет более монотонной и более утомительной. Вместо того чтобы видеть, как его продукт растет под его рукой от начала до конца, с постоянными изменениями в характере, требующими его энергии и заботы, он занят в течение всего своего рабочего времени каким-то механическим процессом, в результате чего он сам становится чем-то очень похожим на машину. То, что он приобретает в виде возможности дешево и быстро производить и приобретать товары, в определенной степени компенсируется менее интересным и разнообразным характером его работы.

Из этого также следует, что, становясь специалистом, рабочий попадает в зависимость от других членов общества в плане снабжения его большим количеством вещей, необходимых ему для существования. Если он тратит свою жизнь на производство одного товара или на производство части одного товара, то ясно, что его потребности во всех вещах, необходимых для жизни, помимо тех, что он производит сам, могут быть удовлетворены только готовностью общества принять товар, который он производит, в оплату за те, которые оно производит и в которых он нуждается. Когда он работает для себя, он производит только то, в чем, как он знает, нуждается сам; когда он работает, чтобы продать другим, он должен спекулировать на надежде, что другие захотят то, что он производит.

Таким образом, торговля не только демонстрирует единство человечества, являясь универсальной чертой его существования, но и усиливает это единство, делая каждого человека зависимым от усилий его товарищей и от их готовности взять у него то, что он производит; но если торговля таким образом способствует единству, она также имеет тенденцию создавать определенное количество трений и разногласий между одним человеком и другим, когда возникают разногласия относительно стоимости продукта, который производит каждый человек, то есть относительно количества товаров, которые остальные члены сообщества готовы дать ему в обмен.

Это соображение также очень ярко проявляется в международной торговле. Здесь разделению труда способствует разница в товарах разных стран. Несомненно, обмен товарами между одной и другой нацией способствует их сближению, единству и гармонии интересов. В то же время он может привести к ссорам и препирательствам. Мы видели, что Хирам был очень недоволен городами в Галилее, которые Соломон представил ему в ходе их полугомерческих сделок. В отместку он сделал Соломону очень красивый подарок из золота; но Хирам, похоже, был очень исключительной личностью, и вероятно, что большинство торговцев, недовольных полученным вознаграждением, не были бы столь щедрыми в выражениях.

Международная торговля также была плодотворной причиной не единства, а разобщенности, когда различные нации ссорились друг с другом из-за права торговать с третьим народом. Если одна нация торгует с другой с большой выгодой для себя, она чувствует себя оскорбленной, когда обнаруживает, что соседняя нация отправляет грузы в том же направлении, уступая ей в цене и забирая сливки торговли. После религии, вероятно, торговля привела к большему кровопролитию, чем любая другая форма человеческой деятельности. В то же время не приходится сомневаться, что в целом ее влияние было на стороне единства и что она сделала больше для разрушения международных барьеров, чем любое другое влияние, действовавшее в ходе истории. Торговец, как таковой, целиком и полностью верит в единство человечества. Все, что он хочет сделать, - это купить свои товары как можно дешевле и продать их по максимально возможной цене. Покупает ли он дома или за границей, продает ли он дома или за границей - это для него совершенно безразлично, за исключением того, что, как уже было показано, из-за колебаний стоимости в разных частях света он, вероятно, сможет получить большую прибыль от внешней торговли,

чем от торговли дома. Национальные предпочтения иногда побуждают его поощрять отечественную промышленность, покупая отечественные товары, когда иностранные могли бы заплатить ему больше, но в той мере, в какой это происходит, он перестает быть торговцем как таковым и превращается в смесь торговца и патриота. Однако как покупатели и продавцы человечество в целом необычайно свободно от международных предрассудков. Одно время считалось, что ввоз иностранных товаров в Англию можно будет значительно сократить, если настаивать на маркировке происхождения, то есть на том, что импортные товары должны быть маркированы как таковые. Однако эти ожидания, похоже, полностью оправдались, поскольку большинство покупателей не интересовал вопрос о том, из какой страны прибыл купленный ими товар, они лишь смотрели, подходит ли он для их кошелька и является ли он тем, что им нужно. Иногда действительно существует предубеждение в пользу иностранных товаров, и, как ни странно, это наблюдается даже в тех странах, где очень развита защитная политика. В американских газетах часто можно увидеть пламенные объявления о продаже импортных товаров, которые были определенно заявлены как таковые, потому что продавцы считали, что смогут продать их лучше, потому что они были заявлены как таковые. Английские производители также могут похвастаться тем, что во многих странах на континенте местные производители обычно, или до недавнего времени, легче продавали свои товары на своих рынках, называя их английскими. Политические и национальные предрассудки, похоже, преобладают над общечеловеческим стремлением к чему-то новому и необычному, и поэтому, несмотря на все трения, возникающие из-за международной торговли, и количество войн, которые имели своей причиной коммерческие вопросы, есть все основания утверждать, что в целом торговля была мощным стимулом для общения между народами и единства человечества. Если бы не торговля, удешевление и ускорение коммуникации никогда бы не было осуществлено. Сначала идет торговец, а за ним - путешественник и турист.

Это утверждение можно сделать с еще большей уверенностью, если перейти к сфере финансов. Если коммерция является международной и объединяющей, то финансы, возможно, даже в большей степени. Финансы, разумеется, возникают из торговли и являются неотъемлемой частью ее механизма. Под финансами мы понимаем механизм денег - денежные операции и денежное кредитование. Деньги становятся необходимыми, как только обмен товарами, составляющий смысл торговли, становится достаточно развитым. Сначала первобытные народы обменивали свои товары один на другой, но возникали трудности, когда из пары возможных торговцев у одного было что-то, что нужно другому, но чего не было у другого. Например, если у стрелочника были стрелы, которые он хотел продать, и он хотел купить рыбу, то, очевидно, не могло быть никакой сделки, если у его друга, который хотел купить стрелы, были только олени шкуры, чтобы дать взамен. Для развития торговли было необходимо, чтобы появился какой-то товар, который всегда можно было бы взять в обмен и таким образом сформировать средство обращения. Из двадцать третьей главы Бытия мы видим, что во времена Авраама эту функцию стал выполнять определенный вес серебра. В учебниках по экономике говорится, что многие другие товары имели форму и функцию денег еще до того, как металлы вошли в обиход. До недавнего времени существовало множество мест, где не было принято использовать согласованное средство обмена для облегчения целей торговли. Джевонс начинает свою очень интересную книгу о деньгах с рассказа о том, как

Несколько лет назад госпожа Зели, певица парижского театра "Лирик", совершала профессиональное турне по миру и дала концерт на Островах Общества. В обмен на арию из

"Нормы" и несколько других песен она должна была получить треть от выручки. При подсчете оказалось, что ее доля состоит из трех свиней, двадцати трех индеек, сорока четырех цыплят, пяти тысяч орехов какао, а также значительного количества бананов, лимонов и апельсинов. В парижском Halles, как замечает примадонна в своем оживленном письме, ... такое количество живого скота и овощей могло бы принести четыре тысячи франков [160 фунтов стерлингов], что было бы хорошим вознаграждением за пять песен. Однако на Островах Общества деньги были очень скудны; а поскольку мадемуазель не могла сама потреблять значительную часть выручки, пришлось кормить свиней и домашнюю птицу фруктами,^[27] и таким образом ее выручка поглощала одну другую".

Это пример неудобства, которое преодолело изобретение денег. В первобытных общинах они принимали форму коровьей скорлупы, табака, пороха или любого товара, который пользовался всеобщим спросом в данной местности. Все, чего хотел продавец, - это получить за свой товар определенное количество товара, который он мог рассчитывать обменять на другие нужные ему вещи. В конце концов драгоценные металлы с их сильной привлекательностью для человеческого тщеславия и полезностью для украшения храмов и умиловления божественной благосклонности вытеснили все другие товары, которые использовались в качестве денег; и в настоящее время они в значительной степени вытеснены бумажками, которые, однако, по-прежнему представляют собой претензии на такое количество золота.

Открытие средства обращения чрезвычайно способствовало прогрессу торговли, и вскоре появился класс людей, которые специализировались на этом виде бизнеса и стали финансистами и ростовщиками. Банкиры и финансисты были известны в Риме и Афинах, и мы знаем, что существовали механизмы, с помощью которых денежные требования одной страны к другой могли быть урегулированы чем-то, что выполняло функции современного векселя. Фактическое обеспечение металлической валюты с самых ранних времен почти полностью находилось под контролем правительства, которое взяло в свои руки, как существенную часть полицейской защиты, которую оно предоставляет народу, чеканку валюты, штампуя монеты таким образом, чтобы любой, кто берет их, мог знать, что он получает определенный вес драгоценного металла. Но в денежном бизнесе очень скоро появился кредитный механизм, с помощью которого любой, у кого было предприятие или авантюра, от которой он ожидал привлекательной прибыли, мог, если у него было достаточно имущества для залога, обеспечить себя средствами для финансирования между днем, когда он начал свою деятельность, и днем, когда он принес домой свою прибыль: и этот бизнес также стал международным, хотя, возможно, не так быстро, как торговля перешагнула границы между одним народом и другим.

В *"Венецианском купце"* мы видим, как Антонио торгует со всеми странами известного тогда мира,

Из Триполиса, из Мексики и Англии,
Из Лиссабона, Барбары и Индии,

Но мы не видим, чтобы Шейлок давал деньги в долг в таких же международных масштабах. Когда связь была медленной, трудной и ненадежной, ссужать деньги на расстоянии было очень рискованно, потому что кредитор не мог следить за операциями и кредитом заемщика, что необходимо для того, чтобы чувствовать себя уверенно в своем предприятии. Для банкира с Ломбард-стрит ссудить деньги купцу из Чипсайда под расписку через год было до недавнего времени гораздо более безопасным предприятием, чем ссудить их купцу

в Париже, потому что местный заемщик всегда находился под наблюдением кредитора. Если бы он переборщил с торговлей или жил слишком роскошно, это сразу же заметили бы и сообщили.

Тем не менее, международные финансы уверенно продвигались вперед, имея несколько туманные истоки. Мы знаем, что Филипп II Испанский был сильно задолжал ростовщикам по всему континенту, и что своим знаменитым отречением он привел в смятение всю Европу.^[28] Эдуард III также был в большом долгу перед флорентийскими банкирами, и он также не выплатил свой долг; говорят, что потомки флорентийских банкиров до сих пор имеют претензии к английской короне в связи с этим^[29]; но только после создания фондовых бирж и механизма публичного рынка ценных бумаг международные финансы стали вопросом общего значения.

Здесь также наблюдается эффект единства в сочетании с большим количеством несогласованности. Двадцать лет назад говорили, что в западных штатах Америки очень сильны антианглийские настроения, потому что большинство западных фермеров задолжали английским ростовщикам, и в целом можно сказать, что отношения между заемщиком и кредитором вряд ли будут столь дружественными и способствующими единству, как отношения между покупателем и продавцом. На самом деле нет никаких логических причин для этого: основа сделки между ними абсолютно одинакова. В коммерческих сделках один человек продает другому, потому что другому нужно что-то, чего у него больше, чем у него. Точно так же обстоит дело с заемщиком и кредитором денег. Человек берет в долг, потому что ему нужны деньги, и он готов платить за них определенный процент. Кредитор дает в долг, потому что у него есть деньги, которые он хочет дать в долг, и хочет получить за это процент. Тем не менее в этих отношениях есть нечто, что, похоже, вызывает разлад. Прошло не так много лет с тех пор, как австралийские газеты говорили об Англии как о Джоне Булле Козне, подразумевая, что английский денежный рынок сделал больше, чем должен был сделать, развивая с помощью своих финансовых ресурсов производство и торговлю молодых стран мира. Возможно, по-человечески обидно за кредитора, ведь деньги нужно возвращать, в то время как коммерческая сделка уже заключена. Тем не менее, если учесть все трения, которые, как кажется, вызывает кредитование, не может быть никаких сомнений в том, что создание международного рынка ценных бумаг чрезвычайно расширило мировое производство товаров и в значительной степени способствовало тому единству интересов, которое объединяет человечество больше, чем что-либо другое.

Считается, что англичане всегда отличаются особой замкнутостью. Тем не менее, любой, кто заглянет в официальный список, ежедневно публикуемый Лондонской фондовой биржей, и увидит огромное количество государственных и муниципальных займов со всех концов света, количество иностранных железных дорог и иностранных предприятий всех видов, которые торгуются на Лондонской фондовой бирже, не сможет избежать вывода, что эта практика инвестирования денег за рубежом, которой здесь следуют в большей степени, чем в любой другой стране, должна была очень сильно расширить горизонт англичанина и заставить его признать, что, по крайней мере, с одной точки зрения, жители иностранных государств имеют некоторое право на существование. Во всяком случае, на практике английские инвесторы не только показали, что не признают международных барьеров, но даже бывали случаи, когда иностранным ценным бумагам отдавали предпочтение перед английскими. Несколько лет назад биржевые маклеры сообщали, что многие из их клиентов не хотят вкладывать деньги дома и при любой возможности настаивают на том, чтобы их разместили за границей. Этот процесс дошел до такой степени, что, по подсчетам

статистиков, не менее четырех тысяч миллионов английских денег были размещены за пределами Англии, причем около половины из них были одолжены иностранным государствам, а около половины - нашим собственным колониям. И здесь, как и в торговле, возникает возможность ссоры не только между кредитором и заемщиком, но и между конкурирующими группами кредиторов в разных странах. Когда экономически отсталая страна развивается с помощью капитала стран, находящихся на более высокой ступени экономического прогресса, предполагается, что ростовщик приобретает определенный политический престиж и привилегии, что заставляет другие страны, которые стремятся увеличить свое влияние в стране-заемщике, ревниво относиться к подобным операциям. Любопытный пример был представлен не так давно Китаем. Китай хотел взять кредит, и, вероятно, единственными странами, у которых был реальный избыток капитала, доступного для экспорта, были Англия и Франция. Тем не менее, из-за политических проблем Россия, Германия и США также настаивали на том, чтобы принять участие в кредитовании Китая. Китай был вынужден занять больше денег, чем ему было нужно, чтобы все эти так называемые цивилизованные державы могли принять участие в операции, и абсурдность положения усиливалась тем, что некоторые державы, по крайней мере, из тех, кто одалживал деньги, должны были занять их где-то, прежде чем они могли это сделать.

Эта свобода, с которой Англия предоставляла финансовые ресурсы остальному миру, иногда ставится под сомнение как оказавшая или могущая оказать плохое влияние на активность производства внутри страны. Совершенно очевидно, что прогресс международной торговли и разделение труда между нациями, благодаря которому товары всех видов очень сильно подешевели, не могли бы быть осуществлены, если бы Англия и другие сравнительно далеко развитые страны не поставляли необходимый капитал для развития относительно отсталых частей Земли. Если бы английские деньги не пошли на строительство железных дорог в Америке, Канаде, Аргентине, Австралии и по всему миру и не снабдили капиталом фермеров и других людей, открывших эти страны, продовольствие не могло бы быть таким дешевым, как сейчас или как было до войны, а одежда и другие предметы первой необходимости были бы совсем по другой цене. Фактически можно сказать, что если бы Англия не действовала так, как она действовала, как мировой финансист, то развитие мировой торговли до нынешних масштабов было бы совершенно невозможно. Если бы мы могли быть уверены, что распределение мирового производства было столь же удовлетворительным, как и замечательный рост его объема, то не было бы никаких сомнений в том, что все классы в Англии получили огромную выгоду от ее финансовой деятельности за рубежом. Иногда утверждают, что английский капитал, уходящий за границу, стимулирует производство в других странах и увеличивает спрос на труд там, но что спрос на труд в Англии и его вознаграждение могли бы быть в более высоком масштабе, если бы английский капитал оставался дома. Этот вопрос, к счастью, не относится к моей компетенции, но он требует серьезного внимания. Можно с уверенностью сказать, что годы, когда английский капитал уходил за границу с наибольшей скоростью, были и теми, когда наша экспортная торговля была наиболее активной, и очевидно, что так и должно быть, потому что когда Англия экспортирует капитал, она делает это в форме предоставления денег в долг либо иностранному правительству, либо иностранному муниципалитету, либо какой-либо компании, английской или иностранной, которая ведет какое-то предприятие в другой стране.

Каким бы образом ни ссужались деньги, результатом является то, что страна, которой они ссужаются, получает большую покупательную способность в Англии, и, следовательно, ее спрос на английские товары стимулируется в этой степени. Из этого, конечно, не следует, что вся сумма денег, которую страна берет в долг, фактически тратится в Англии. Возможно,

канадская железная дорога, собирающая деньги в Англии, потратит их, купив стальные рельсы в Бельгии, но на практике чистый результат заключается в том, что кто-то или что-то за границей получает право требования к Англии, которое в итоге, путем некоего окольного пути, выливается в спрос на английские товары и услуги. В то же время, признавая, что международные финансы необходимы для международной торговли и что специализация, которая является важным продуктом торговли, таким образом ускоряется, мы должны помнить, что возражения, которые можно выдвинуть против разделения труда между отдельными людьми, не могут быть полностью проигнорированы, когда разделение труда применяется к нациям.

Доктор Боули в своей книге о внешней торговле Англии резко формулирует этот вопрос следующим образом:-

Предел неограниченного разделения труда следует искать в социальных, интеллектуальных и моральных возражениях против специализации. Неприятно представлять себе Англию как одну огромную фабрику, увеличенный Манчестер, производящую в полумраке, в постоянном грохоте и под сильным давлением на весь остальной мир. Континент Америки, разделенный на квадратные, пронумерованные поля и обрабатываемый с центральной станции при помощи электричества, также не будет облагораживающим зрелищем".[30]

Это живописное выражение возражений против единства человечества, если зайти слишком далеко в процессе специализации. Признавая их силу, не стоит признавать, что процесс специализации должен дойти до такой степени. Даже если бы Англия превратилась в одну огромную фабрику, из этого вовсе не следует, что она должна работать в полумраке, в постоянном шуме или под сильным давлением, но хорошо, что специалист такого уровня, как доктор Боули, обращает наше внимание на некоторые вещи, от которых следует предохраняться. С другой стороны, мы можем утверждать, что если Англия превратится в одну огромную фабрику, то она сделает это только потому, что за это так хорошо платят, и что эта огромная фабрика может быть сделана скорее в соответствии с идеалом Уильяма Морриса, чем с картиной Инферно, нарисованной доктором Боули. Мы можем представить себе Англию как огромный город-сад, усеянный фабриками, каждая из которых может быть прекрасна, как собор, окруженный фруктовыми деревьями и садами, в котором высокообразованное и технически подкованное население будет работать по пять-шесть часов в день, а остальное время проводить в интеллектуальном досуге, здоровых физических упражнениях и домашней жизни в идеально счастливых условиях.

Интересно отметить, что результат нынешней войны, скорее всего, на некоторое время ограничит вывоз капитала, и не только по той очевидной причине, что в настоящее время весь имеющийся у нас капитал идет на войну и еще некоторое время должен будет идти на расходы, связанные с войной, но и потому, что эта война создала новый прецедент в отношении обязанностей воюющих сторон в вопросе осуществления платежей друг другу. В прежние времена, когда война была джентльменским делом, торговля и финансы прерывались ею очень незначительно. Во время Крымской войны российское правительство исправно выплачивало проценты по русским займам английским держателям и тем самым создало престиж среди английских инвесторов, который сохранялся в течение нескольких десятилетий. Теперь, когда страны стали вступать в войну с остервенением, бросая в бой все свое свободное население и используя все возможные средства, военные, торговые и финансовые, чтобы победить своих врагов, все такие приятные приличия, как выплата денег, причитающихся от одной страны к другой в виде процентов или иным способом, были оставлены. Когда война закончится, возможно, инвесторы в какой-то степени вспомнят об этом факте и будут более осторожно, чем раньше, вкладывать свои деньги за границу, во

всяком случае, в любую страну, с которой существует хоть малейшая вероятность того, что мы будем втянуты в войну.

Война также показала, какие огромные неудобства возникают, когда взаимная зависимость наций друг от друга в отношении определенных товаров приводит к тому, что они оказываются в затруднительном положении из-за прерывания международного обмена. Международная торговля и финансы в их полном и свободном развитии, как было показано, зависят от предположения, что мир обеспечен. Если только нынешняя война не закончится таким образом, что мир будет обеспечен на все времена, представляется вероятным, что все нации будут стремиться к тому, чтобы иметь возможность полагаться, по крайней мере, в отношении предметов первой необходимости для жизни и обороны, на внутреннее производство или на поставки из стран, война с которыми может считаться невозможной. Если это так, то единство через торговлю и финансы будет менее универсальным, но более тесным в своей узкой сфере.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

А.Л. Боули, *Внешняя торговля Англии*. Swan Sonnenschein.

К.К. Хобсон, *Экспорт капитала*. Constable.

W.S. Jevons, *Money and the Mechanism of Exchange*. Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.

Богатство народов Смита, гл. i-iv.

ПЯТНАДЦАТЬ:

[24] *Богатство народов*, кн. I, гл. ii.

[25] 1 Царств ix.

[26] Перевод Роулинсона.

[27] Джевонс, *Деньги как механизм обмена*, с. 1.

[28] Мотли, *Соединенные Нидерланды*, гл. xxxiii.

[29] Thorold Rogers, *Economic Interpretation of History*, ch. xx.

[30] *Внешняя торговля Англии в девятнадцатом веке*, А. Л. Боули.

Х

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мы научились смотреть на доктрину взаимозависимости классов внутри нации как на истину, очевидную для всех глаз, не ослепленных умышленными предрассудками или невежеством такого рода, которое римская католическая церковь милосердно определяет как непобедимое. Сказать, что безработица на фабриках Ланкашира или верфях Клайда не только влияет на счастье и благополучие хлопкоробов и котлостроителей, а также на крупные предприятия, которые осуществляются на их средства, Утверждать, что ни один народ не может быть полностью сильным и энергичным, пока какой-либо уголок его территории или какой-либо слой в его социальной структуре остается во владении группы физически слабых, умственно неразвитых и морально ниже этического стандарта, который,

как народ, он молчаливо согласился принять как необходимый, кажется многим из нас в наши дни трюизмом. Однако не так давно факты, которые мы сегодня считаем знакомыми, по крайней мере, каждому студенту, были опасным открытием тех немногих, кто в эпоху, когда люди говорили "социалист", как мистер Пекснифф говорил "язычник", имел смелость указать на то, что в человеческих и политических делах, как и в механике, цепь не может быть крепче своего самого слабого звена. Даже сейчас, в реакции, часто лишь наполовину осознанной, класса наемных работников против любой силы, которая стремится поднять наемных работников на социальный уровень, менее далекий от того, на котором движутся они сами, в искренней неприязни к образованию, скрытой под церемониальными фразами в мирные дни, но переходящей в огонь и ярость, когда естественный человек пробуждается от волнения, мы можем видеть, насколько глубокой во многих случаях является общая вера в широко провозглашенное кредо, что экономически, как и духовно, мы все являемся членами друг друга. И если истина о нашей взаимозависимости как граждан принимается медленно и неохотно, потому что факты, подтверждающие ее, лежат не на поверхности, то легко понять, что взаимозависимость международная, возникающая в результате встречи, пересечения и переплетения в паутине национальной жизни бесчисленных тонких нитей, тянущихся из самых отдаленных уголков цивилизованного мира, едва ли еще попала в поле зрения обычного человека как влияние, от которого он не может уйти и с которым, следовательно, он обязан считаться. Несомненно, именно поэтому международные движения в целом вызывают так мало интереса у рядового читателя газет. Он не считает их практичными. Лиц, занимающихся их продвижением, он определяет как чудаков, разделяя их на два класса, один из которых можно отбросить как безобидный абсурд, а другой, вероятно, следует подавить как опасный.

События первой недели августа 1914 года, когда речь шла о взаимозависимости стран, могли бы пролить свет на журналистское зеркало, в которое цивилизованный человек смотрит из утра в утро, но это был свет самого грубого рода. Результатом освещения в многочисленных случаях было лишь то, что множество людей с изумлением размышляли о том, сколько вещей эта страна имеет привычку закупать за рубежом, с негодованием отмечали ее глупость в том, что она не производит их все у себя дома, и, когда страсть поднималась достаточно высоко, выражали решимость, что, как бы сильно они ни нуждались в товарах врага, они никогда больше не будут покупать ничего из них. Справедливости ради следует отметить, что это не было позицией людей, столкнувшихся с реальной трудностью изобретения заменителей сырья, источник которого внезапно иссяк. Те, кто сидел в заводских конторах, с грустью рассматривая модели товаров, в производство которых Германия, Бельгия и Австрия до сих пор вносили свой незаменимый вклад, не умаляли того, что они потеряли, даже когда они начинали изобретать что-то, что должно было заменить этот вклад. Они знали и говорили, что, хотя и были уверены в возможности создания работоспособного заменителя, они не претендовали на то, чтобы предложить в каждом случае именно то качество, которое, казалось, было особым даром немецкого, или бельгийского, или австрийского торговца. Возможно, в конце концов, не только лень британских производителей и отсутствие патриотизма у британских правительств побудили наших коммерческих лидеров сконцентрироваться на одной сфере производства и отказаться от другой. Каждому народу, как и каждому человеку, свой дар. Некоторое осознание этого закона, возможно, инстинктивно пришло к практическим работникам, занятым практическими делами.

Если организаторы производства среди нас в прошлом не выступали за международные действия в области трудового законодательства, то это происходит не от того, что они не осознавали влияние неравенства условий производства на нации, конкурирующие на

мировых рынках. Естественно, что этот эффект был наиболее значительным в тех случаях, когда соответствующие страны были географически сопредельными и вступали в прямое соперничество друг с другом в отношении продукции, относящейся к одной и той же торговой категории. Это идеальный случай конкуренции, когда любое обстоятельство, ведущее к сокращению производства на одной стороне, немедленно рассматривается как преимущество для другой. Но давление ощущается даже там, где территория конкурента находится на другом конце света, даже там, где производимый товар относится к другому классу производства. В обычное время дальние перевозки просты, а тарифы на фрахт дешевы, так что вопрос расстояния, хотя с ним все еще приходится считаться, больше не является определяющим фактором при расчете суммы. Опять же, сеть цен, которая контролирует конечную стоимость производства любого готового изделия, настолько сложна, что во многих случаях трудно исключить тот или иной набор промышленных условий в одной стране как не имеющий значения для данной фабрики в другой. На цену пары корсетов, продаваемых в розницу в Париже, может оказать тонкое влияние забастовка плавильщиков железной руды в Силезии; а ваш фарфоровый чайный сервиз может завтра стать дороже из-за внезапной вспышки ящура среди стад в Аргентине. Поэтому вполне естественно, что производители, выступая против предложений ужесточить существующее трудовое законодательство или расширить его рамки, выдвигают в качестве основного возражения утверждение, что такие реформы в пользу рабочего поставят британскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с теми странами, где действия производителя остаются сравнительно неограниченными. Недоверие, а также неприятие длительного рабочего дня как средства увеличения производства, вместе с верой в то, что здоровая и приятная обстановка способствует развитию способностей рабочего, а также удовлетворительному поддержанию его физического состояния, достигли замечательного прогресса среди более разумных представителей класса наемных работников с начала двадцатого века. Но почти в каждой отрасли все еще существует значительная масса мастеров, которые редко думают и никогда не экспериментируют, которые закрывают глаза на заявления своих менеджеров и бригадиров, когда те, вступая в непосредственный личный контакт с рабочими, отмечают результаты, вызванные перенапряжением, которые незаметны для руководителя предприятия в его офисе, и которые продолжают полагать, как и их отцы, что ограничение рабочего периода обязательно ограничивает выпуск продукции и приводит к коммерческим потерям. Такие люди, узнав, что их собственная продукция производится, скажем, в России, людьми, работающими по двенадцать часов в день до своих девяти, и оплачивается по значительно более низкой ставке, чем та, что существует на их собственных предприятиях, конечно же, не сделают никакого другого вывода, кроме очевидного для них, что результатом этой разницы должно быть снижение себестоимости продукции. Расследования, которые должны были бы доказать, как это сделали сотрудники фирмы сэра Альфреда Монда, столкнувшись с подобным случаем, что стоимость производства одной тонны на самом деле выше при системе длинного рабочего дня и низкой заработной платы, никогда не были бы начаты ими, а их результаты, когда их проводят другие, оставляют их скептическими, если не подозрительными.

Признавая подобную ментальную позицию значительной части деловых людей в каждой стране и учитывая, что для обеспечения эффективного применения трудовых законов законодатель должен иметь возможность заручиться, по крайней мере, общим согласием большинства работодателей, к чьим профессиям они относятся, становится ясно, что если мы хотим устранить все возражения против полного и адекватного защитного закона для рабочих, мы должны сначала развеять страх производителя, что такой закон будет несправедливо мешать ему на международном рынке. А что может помочь в этом, как не

привлечение конкурентов к действию закона, сходного по характеру и, насколько это возможно, единообразного по своим положениям?

Доказательством прозорливости Роберта Оуэна является то, что еще до того, как ему удалось посадить первое маленькое семечко, которое должно было вырасти в цветущее дерево британского промышленного законодательства, он осознал необходимость и сформулировал требование международных действий в вопросе фабричных законов. Труды Оуэна на родине, естественно, настолько высоко оцениваются историками и публицистами в их работах на эту тему, что континентальная сторона его деятельности получила сравнительно мало внимания с их стороны. Тем не менее его переписка с европейскими правительствами о злоупотреблениях и потребностях индустриализма в том виде, в каком он существовал в первые годы XIX века, - одна из самых замечательных его работ; а его обращение к Конгрессу Священного союза в 1818 году показывает, насколько тщательно он был готов рассматривать национальные реформы как первый шаг к системе, которая должна быть международной. Если бы государственные деятели его времени, слишком занятые созданием и разрушением королевств, чтобы прислушаться к его аргументам и призывам, обратили свое внимание с этих высоких материй (в которых, в конце концов, их достижения по большей части не были ни блестящими, ни полезными) на более домашние детали жизни своих людей, социальный прогресс был бы бесконечно ускорен, и мы могли бы быть избавлены от печального зрелища, когда одна промышленная страна за другой совершает ошибки и мучительно усваивает уроки своих предшественников ценой многих человеческих страданий, которых можно было бы избежать. Ведь в этом вопросе промышленного законодательства, как и во многих других, люди поразительно медленно учатся на собственном примере. Пожалуй, самым примечательным примером в этом отношении является Япония, которая в этот час все еще находится в процессе разработки на наших глазах. Нация, обладающая большим умом, быстрой проницательностью, гением выбирать из государственного устройства и порядка других государств именно те черты, которые наилучшим образом способствуют процветанию и эффективности, и непревзойденной способностью усваивать и воспроизводить их в форме, подходящей для ее собственной традиции развития, следует за западными державами по кривому пути их ранних отношений с индустриализмом и позволяет создать на фабриках Осаки те самые условия, которые приводили в упадок ланкаширских хлопкоробов тридцатых годов прошлого века.

Со времен Оуэна идеалы промышленных условий сильно выросли и развились. Это было неизбежно, поскольку стандарты социального комфорта и гигиены претерпели полную трансформацию за последнее столетие. Но важно отметить, во-первых, что не только "реформаторы" выдвигают эти идеалы, но что они стали в значительной степени общими для всех классов людей, и, во-вторых, что повышение стандартов, которое шло медленными, нерегулярными темпами в течение, грубо говоря, ста лет, ускоряясь в одно десятилетие и оставаясь почти неподвижным в течение следующего, теперь происходит со сравнительной быстротой. Уже сейчас такой уровень смертности и заболеваемости, который еще двадцать лет назад был характерен для профессий, технически называемых опасными, считается чудовищным и уже не может быть терпимым. Это ускорение в повышении промышленных стандартов, несомненно, в значительной степени связано с сознательным участием самих рабочих в деле обеспечения своей защиты; но в некоторой степени это можно отнести и к пробудившейся совести и более разумному пониманию важности ручного рабочего в национальной экономике со стороны всего общества. Такое же движение, в разной степени в зависимости от обстоятельств, происходит и среди других промышленных народов Старого и Нового Света. Чем быстрее продвигались вперед одни народы, тем острее ощущали неудачи других в том же *соотношении* те, кто принадлежал к первой группе. Стало

проявляться тревожное сознание того, что отсталые нации начинают представлять собой препятствие для прогрессивного внутреннего законодательства со стороны передовых наций. Оказалось, что "хромые утки" задают темп всему флоту, и стало ясно, что самооборона не меньше, чем забота о благополучии человечества в целом, требует разработки какого-то механизма, с помощью которого можно было бы ускорить движение этих отстающих.

Таким образом, спустя семьдесят лет после того, как Оуэн тщетно взывал к державам, заседавшим в Экс-ла-Шапель, был сделан определенный шаг к международному соглашению, направленному на благо рабочих классов Европы. Не следует думать, что за это время не нашлось наследника традиций Оуэна или что его доктрина была полностью забыта за неимением проповедника. То и дело появлялись пророки, которые если и не разделяли гений Оуэна, то, по крайней мере, были равны ему по искренности и энергии. Доктор Эрнст Франке в статье, перепечатанной из *"Экономического журнала"* за июнь 1909 года, которую я рекомендовал к прочтению в конце этой главы, называет одного из таких преданных пионеров, Даниэля Леграна, эльзасского промышленника, который в течение тридцати лет делал все возможное, чтобы побудить Францию, Великобританию, Пруссию и Швейцарию договориться о минимальном промышленном законодательстве. Очень полезную работу в том же направлении проделал в годы после франко-германской войны бельгийский публицист; а в 1876 году полковник Фрей, президент Швейцарского федерального совета, сделал первый официальный шаг в направлении международных трудовых договоров, выступив в Совете с рекомендацией, чтобы Швейцария возглавила усилия по их созданию. Швейцарскому правительству принадлежит честь направить первую циркулярную ноту правительствам Европы с предложением созвать конференцию в качестве первого шага к этой цели. Эта конференция так и не собралась. Идея международного трудового законодательства витала в воздухе, и добровольные общества, состоящие из социальных реформаторов, начали не только обсуждать, но и поддерживать ее. Международные встречи организованных рабочих, таких как шахтеры и хлопкоробы, в разных странах ознакомили континентальные умы с возможностью совместных действий народов в отношении вопросов труда. Нигде предложение о конференции не вызвало такого всеобщего интереса, как в Германии, где нынешний германский император, находившийся тогда в начале своей карьеры, проявлял активный интерес к условиям немецкой промышленности. Казалось, что он тоже хотел созвать конференцию, и на его просьбу предоставить ему приоритет в этом вопросе швейцарское правительство милостиво уступило. Так и получилось, что первая конференция по защите рабочих собралась в Берлине по приглашению немецкого правительства в марте 1890 года. На ней присутствовало пятнадцать делегатов, были представлены все правительства Европы, за исключением России и балканских государств. Председательствовал тогдашний министр торговли фрайхерр фон Берлепш, человек широких и просвещенных взглядов и необычайно отзывчивого характера, который впоследствии стал одним из основателей Международной ассоциации трудового законодательства и, вероятно, более чем кто-либо другой обеспечил успех ее совещаний, проводимых раз в два года.

На этой конференции, которая, как точно заявил германский император, была созвана в связи с проблемами, возникшими в результате международной конкуренции, делегаты различных государств обсудили широкий круг вопросов, включая занятость на шахтах, воскресные работы, детский труд, занятость женщин и молодежи, а также административные меры. Хотя по многим вопросам было найдено возможным достичь

согласия, а общие принципы, которые должны лежать в основе промышленного законодательства, были приняты с готовностью, было достаточно возражений, оговорок и заявлений о конституционных трудностях, чтобы не допустить заключения чего-либо, имеющего характер международного договора. В то время казалось, что конференция не достигла своей цели. Последующие события, однако, показали, что это не так. Неспособность выработать официальное соглашение, вероятно, показала, что почва еще не была достаточно проработана, и что необходимы дальнейшие действия в направлении расследования и обсуждения, прежде чем принятие столь нового шага будет оправдано для официального разума; Но несомненно, что признание представителями всех западных государств того, что международные действия в вопросах труда желательны сами по себе и являются целью, к которой должны стремиться правительства, не только заложило фундамент для будущих действий государств, но и придало добровольной работе по добыванию материалов для строительства на этом фундаменте импульс и санкцию, которые она не могла бы получить никаким другим способом.

Эта работа была быстро начата и продолжалась в течение следующих десяти лет. Этому в значительной степени способствовали действия Международного конгресса труда, состоявшегося в Цюрихе в 1897 году, на котором профсоюзные деятели приняли резолюции в пользу создания Международного бюро труда, а также Брюссельский конгресс, собравшийся по приглашению фрайхерра фон Берлепша вскоре после этого. На последнем собрании, в состав которого входили видные члены парламента, ученые, юристы и экономисты из Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Голландии и Бельгии, возобладало мнение, что в настоящее время прогресс должен осуществляться путем частной инициативы, и быстро последовало создание трех национальных комитетов, целью которых было основание международной ассоциации по трудовому законодательству. Эти комитеты, штаб-квартиры которых находились соответственно в Брюсселе, Берлине и Вене, благодаря добрым услугам профессоров Ковеша и Дджея смогли созвать международный конгресс в Париже в год проведения Великой выставки, и на этом конгрессе Ассоциация была фактически основана, а ее устав, предварительно составленный профессором Махаймом и представленный бельгийским комитетом, был принят. Временно были назначены президент, генеральный секретарь и международный комитет. Также были определены функции Ассоциации. Она должна была служить связующим звеном между всеми, кто в промышленных странах является убежденным сторонником принципа охранительного законодательства; способствовать изучению трудового законодательства путем публикации трудовых законов различных государств и отчетов об их исполнении; содействовать составлению международной статистики труда и всех исследований, направленных на приведение в гармонию существующих национальных промышленных кодексов; и, наконец, на нее возлагалась обязанность организации заседаний международных конгрессов, на которых должно рассматриваться трудовое законодательство. Очень важной частью его деятельности должно было стать издание на немецком, французском и английском языках периодического сборника всех трудовых законов, недавно вступивших в силу в разных странах.

Этим с самого начала занималось Международное бюро труда - постоянная штаб-квартира Ассоциации, служащая обменом и центром сбора всей информации, относящейся к работе Ассоциации. Оно постоянно заседает в Базеле, и в него направляются все отчеты и запросы национальных секций, а из него выходят циркуляры для рассмотрения секциями и просьбы о проведении национальных исследований по проблемам, которые кажутся назревшими для заключения международного договора. Лопаточную работу Ассоциации выполняют национальные секции в своих странах, при этом все действия Ассоциации обязательно

основываются в первую очередь на отчетах, полученных от них в штаб-квартире. В настоящее время насчитывается пятнадцать^[31] национальных секций - на восемь больше, чем в 1901 году, когда было создано семь. За десять лет фактическое количество членов Ассоциации увеличилось в три раза. Семь секций, которым принадлежит почетное место во главе списка, - это секции Германии, Австрии, Венгрии, Голландии, Бельгии, Франции, и Швейцарии. Великобритания образовала секцию только в 1904 году, и только в 1910 году британское правительство направило официальных представителей на двухгодичные встречи. Официальные представители представляют собой очень важный элемент на этих встречах. Они присутствуют на пленарных заседаниях и принимают участие в дискуссиях, часто предоставляя сведения об отношении своих правительств к той или иной реформе, которые бесценны для тех, кто разрабатывает или изменяет предложения с целью их принятия правительством; они также часто присутствуют на заседаниях комиссий, которым поручено рассмотрение деталей, где они могут услышать мнения и аргументы экспертов по каждому важному пункту дебатов. Когда резолюции выносятся на рассмотрение конференции, они не голосуют - хотя в отношении права голоса они находятся на том же уровне, что и другие делегаты. Но в некоторых случаях они не боятся высказывать свое мнение о достоинствах и тенденциях тех резолюций, которые могут оказать решающее влияние на голоса их коллег, и я знаю, что несколько весомых слов такого человека, как М. Артур Фонтейн,^[32] одобряющего предложение, по которому мнения в значительной степени разделились, сразу же перевешивали чашу весов в его пользу.

Делегаты секции избираются самой секцией. Это могут быть как мужчины, так и женщины, их число пропорционально размеру секции, максимальная цифра - восемь, если говорить о делегатах с правом голоса, но кроме них могут присутствовать запасные члены и эксперты. Ниже приводится список пятнадцати секций, представленных в Цюрихе в 1912 году: Австрия, Франция, Германия, Великобритания, Венгрия, Италия, Соединенные Штаты, Бельгия, Голландия, Швейцария, Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финляндия. Кроме того, следующие страны и доминионы прислали только правительственных представителей: Россия, Румания, Греция, Турция, Португалия, Бразилия, Мексика и Австралийское Содружество.

Краткий отчет о методах работы Ассоциации может быть интересен. Заседания проводятся раз в два года, в сентябре месяце, причем местом сбора поочередно выбираются разные города Швейцарии. Четыре конференции, на которых я лично присутствовал в качестве британского делегата, проходили в Женеве, Люцерне, Лугано и Цюрихе. Пленарных заседаний два: на первом, помимо заслушивания вступительных речей, главным делом является назначение пяти комиссий, на которые конференция делится для непосредственной работы; на втором - прием отчетов этих комиссий и их рекомендаций, а также принятие или отклонение последних. Применяется правило трех языков: делегаты обращаются к собранию либо на французском, либо на немецком, либо на английском, в зависимости от их предпочтений, и каждое выступление сопровождается кратким *резюме* на двух других языках от переводчика. В комиссиях, по неписаному, но общепринятому обычаю, используются только французский и немецкий языки. (В последнее время представители Соединенных Штатов Америки, с присущей им индивидуалистической смелостью, проявляли склонность восстать против этого обычая и бросить ему вызов; но по завершении встречи в Цюрихе осталось неясным, сможет ли в этом случае Новый Свет одержать верх над Старым). В достойной речи Генеральной ассамблеи периодические изменения языка, если они поначалу немного смущают, могут быть восприняты с терпимым спокойствием; но когда речь идет о более быстрой словесной игре на мечах, которая происходит в комиссиях, несовершенный в языках член иногда оказывается в затруднительном положении. Каждый

гуманный человек должен сочувствовать эксперту, который, только что *изложив* свое дело на французском языке, хорошо отработанном для случая, сталкивается с сокрушительной репликой на немецком, из которой он едва может уловить общую суть.

Состав этих комиссий, в которых и происходит вся реальная работа конференций, поистине неоднороден. Комиссия может представлять дюжину национальностей; в ней обязательно найдутся представители всех социальных слоев, представители самых разных направлений в политике, религии и социологии. Я до сих пор помню состав моей первой комиссии в Женеве в 1906 году. Нашей темой была ночная работа молодых людей. Во главе стола сидел профессор гражданского права Лувенского университета. По обе стороны от него сидели католический священник, член немецкого рейхстага; немецкий протестантский пастор из Баварии; выдающийся парижский инженер; австрийский дворянин, заинтересованный в социальных реформах; венгерский ученый; голландский фабричный инспектор; швейцарский профсоюзный секретарь и я. Мы были разношерстной командой, но странная "модель", которую мы, должно быть, представляли взору высших сил, заинтересованных в наших обсуждениях, никак не повлияла на доброжелательность и хорошее настроение, с которым они проходили.

Круг вопросов, рассматриваемых на международных встречах, очень широк. Он включает в себя все вопросы, касающиеся труда женщин, молодежи и детей; вопросы здоровья и гигиены, с особым вниманием к использованию ядовитых материалов в промышленности и регулированию опасных профессий; страхование рабочих; создание советов по заработной плате и минимальных ставок в качестве профилактики потливости; распространение десятичасового дня и субботного полупраздника на все промышленные страны; введение трехсменной системы и восьмичасового рабочего дня на непрерывных производствах. Поскольку очевидно, что столь масштабные вопросы, так глубоко затрагивающие быт и привычки каждого народа, не могут быть решены ни сразу, ни в одночасье, изучение Ассоциацией каждой отдельной проблемы всегда затягивается и, в зависимости от обстоятельств и сложности дела, в одном случае более продолжительно, чем в другом. Подобно старым пионерам национального фабричного законодательства, Ассоциация идет по линии наименьшего сопротивления: не потому, что ей не хватает смелости, а по причинам чистого благоразумия. Если она должна была стать, по словам М. Миллерана, нынешнего французского военного министра, одного из ее старейших и самых стойких членов, "лабораторией, в которой создаются международные договоры", было ясно, что она не должна предлагать для международного принятия реформы, которые даже среди самых прогрессивных народов считались сомнительными или опасными. Поэтому он выбрал предметом своих первых больших усилий две реформы, в отношении которых он мог с уверенностью рассчитывать на значительное количество сочувствующих, и предложил международное законодательство, запрещающее ночную работу женщин на фабриках, а также производство, импорт и продажу спичек, изготовленных с использованием белого фосфора. Информация по обоим этим вопросам была собрана с помощью национальных секций; Ассоциация на конференции разработала предложения и рекомендации для соответствующих правительств; правительства согласились на дипломатическую конференцию в Берне, и конвенции, заключенные в 1906 году, стали счастливым результатом их встречи.

Но не следует думать, что эти результаты были достигнуты без труда. Даже в отношении такой сравнительно простой реформы, как отмена ночной работы женщин, которая должна была быть осуществлена после значительных "отсрочек" в пользу тех стран, в которых ночная работа женщин до сих пор была принятым промышленным обычаем, приспособление

изменений к различным обстоятельствам каждого государства оказалось делом тонким, и соглашение никогда не было бы достигнуто, если бы не готовность более отсталых государств пойти на существенные жертвы и возможные риски. По этой причине предоставление нескольких лет отсрочки, прежде чем присоединение к договору станет практически обязательным, было мерой почти вынужденной. Было бы неразумно и, возможно, жестоко настаивать на том, чтобы Бельгия и Венгрия приспособили свою практику в этом вопросе к практике Великобритании, не имея достаточного времени для подготовки к переменам. Тринадцать государств присоединились к этому договору.

Трудности в деле с белым фосфором были на первый взгляд еще более поразительными, и, во-первых, только семь государств - Германия, Франция, Дания, Голландия, Швейцария, Италия и Люксембург - подписали эту конвенцию. Из них первые пять ранее запретили использование белого фосфора в пределах своих границ. Однако было оставлено место для присоединения других государств к конвенции в последующем, в результате чего сфера действия договора постепенно расширялась, и теперь мы находимся в пределах видимости запрета на производство одного из самых смертоносных промышленных ядов и, как следствие, исчезновения промышленной болезни, особенно ужасной по своей природе и симптомам. Несвоевременное присоединение Соединенного Королевства к этому договору вызывает сожаление, но действия индийского правительства и всех британских самоуправляемых доминионов, последовавших за страной-матерью, когда она наконец-то решила принять меры, во многом искупили это промедление. Очевидно, что именно запрет на ввоз и продажу фосфорных спичек в Индии и доминионах заставил скандинавских и бельгийских производителей, выступавших против полного запрета, искать замену белому фосфору. В настоящее время из стран-производителей только Япония и Швеция остаются вне конвенции, а Соединенные Штаты, чья конституция запрещает ей вводить запрет прямым законодательством, добились желаемого результата путем введения запретительного налога.

И это все? Можно спросить. Если речь идет о договорах, подписанных, скрепленных печатью и ратифицированных, то ответ должен быть "да". Что касается ночной работы мальчиков и продолжительности рабочего дня женщин и молодежи, то на официальной конференции в Берне в 1913 году были рассмотрены предложения и разработаны конвенции. Проекты конвенций были далеки от восхищения: их авторы настолько далеко зашли в духе компромисса, чтобы удовлетворить возражения отсталых государств, что изложенные в них положения, если бы они были приняты без изменений, скорее привели бы к депрессии, чем к повышению уровня международного мнения по вопросам, которые должны были быть затронуты ими. Поэтому мы не должны сильно сожалеть о том, что война выбросила их, как и многие другие довоенные планы, в корзину для бумаг. Огромный вопрос о минимальных ставках заработной платы и их регулировании государством, очевидно, все еще находится на экспериментальной стадии своего решения (даже в этой стране, где эксперименты были самыми смелыми), чтобы его можно было сделать предметом международного соглашения. Как предмет международного обсуждения он занимает свое место, и все более важное место, по крайней мере, в течение восьми лет в исследованиях секций и дискуссиях на собрании Ассоциации. Ни по одному вопросу международное общественное мнение не созревало так быстро. В 1906 году в Женеве, где впервые обсуждались условия труда домашних работников, несколько смелых делегатов собирались по углам и шепотом произносили слова "Совет по заработной плате". К 1910 году в Лугано английская женщина-делегат была избрана совместным президентом Комитета Ассоциации по домашнему труду "в знак признания заслуг Великобритании в принятии первого закона о торговых советах"; в Цюрихе в 1912 году перед заседанием Ассоциации состоялась двухдневная конференция по

законодательному установлению минимальной заработной платы, и на рассмотрение делегатов была вынесена целая пачка законопроектов о минимальной заработной плате, внесенных частными лицами в палаты разных стран, а также официальная мера французского правительства. Наблюдать за этим изменением отношения - значит видеть, как формируется международная мысль. Чтобы оценить все его значение, необходимо помнить о различных аспектах проблемы "потения" в нашей стране и в крупных промышленных государствах континента. Французский или немецкий социальный реформатор рассматривает ее в основном, если уже не исключительно, как проблему домашней работы. В Великобритании надомный труд является побочным продуктом строго ограниченного класса отраслей промышленности, затрагивая сравнительно небольшой класс населения; во Франции и Германии он составляет очень важную часть общей промышленной структуры, он вплетен, в той степени, которую редко осознают британские студенты, в жизнь, привычки и производительную силу нации. В одном случае требуется гораздо больше смелости и свободы от предрассудков, чем в другом. Замечательное продвижение к определенным действиям со стороны государства в отношении установления минимальных ставок для надомных работников, которое произошло между 1906 и 1913 годами, не могло бы быть достигнуто за столь короткий срок, если бы не труды некоторых добровольных ассоциаций, возглавляемых людьми проникательными, честными и неутомимыми. В этой связи неоценимую ценность имела деятельность покойного графа де Муна и профессора Рауля Джея. Осознавая, как и немногие неофициальные реформаторы, широкую природу движения, в котором они участвовали, и невозможность ограничить его масштабы и последствия только частью рабочих, они сумели постепенно донести до самых способных из своих коллег необходимость закрыть пропасть, которую французская ментальная привычка закрепила между фабричными и домашними рабочими, и подготовиться к тому, чтобы рассматривать оба класса на равных основаниях. В Германии, где, как и следовало ожидать, было меньше стремления к неофициальным схемам и склонности работать с самого начала через авторитетные каналы, в соответствии с Законом о домашнем труде проводились эксперименты, которые, если и не имели большой ценности сами по себе, казались предзнаменованием гораздо лучших вещей.

Если бы был достигнут только этот результат, собрания Ассоциации и труды секций не были бы напрасными. Но гораздо большее было в процессе достижения, когда работа Ассоциации была прервана катастрофой европейской войны. Принятие во всех промышленных странах "английской недели" с ее полуотпуском, столь желанным для континентальных рабочих, установление единого рабочего дня, постепенное введение восьмичасовой смены в таких "непрерывных отраслях", как сталеплавильная и стеклодувная, международное соглашение об исключении использования свинца из многих отраслей гончарной промышленности и ограничении и защите его использования во всех остальных, - это лишь некоторые из вопросов, которые изучение, исследование и обсуждение довели до стадии, на которой Ассоциация могла рассматривать их как подходящие для потенциальных международных конвенций в августе 1914 года. Сейчас, когда ее деятельность по большей части приостановлена, полезно вспомнить, что ее величайшим достижением было доказательство, вновь и вновь повторяемое, что люди двадцати разных национальностей, придерживающиеся самых разных мнений почти по всем вопросам под солнцем, могут не только действовать вместе, но и находить общие мотивы действий, настолько сильные, что они способны разрушить все преграды политических доктрин и религиозных верований. Какие бы подозрения или антипатии ни процветали за границами международной ассоциации, эти злые сорняки никогда не пускали корни внутри нее. Разве утопично мечтать, когда наступят мирные дни, о примирении в ее границах тех, между кем сейчас, кажется, безнадежно лежит пропасть раскола?

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

История фабричного законодательства, Харрисон и Хатчинс. Макмиллан.
Пересмотренное издание.

Фредерик Килинг, *Детский труд в Соединенном Королевстве*. P.S. King.

Клементина Блэк, *Потоотделение*. Duckworth.

R.H. Tawney, *Studies in the Minimum Wage: (i) Chainmaking; (ii) Tailoring*. Г. Белл и сыновья.

Дж. А. Хобсон, *Работа и богатство*. Макмиллан.

Эдвард Ховарт и Мона Уилсон, *"Вест Хэм: A Study"*. Дент.

Сэр Томас Оливер, доктор медицины, *"Опасные профессии"*. Джон Мюррей.

Годовые отчеты Международной ассоциации по трудовому законодательству (Британская секция), 1906-14 гг. Можно получить у секретаря, Queen Anne's Chambers, 28 Broadway, Westminster.

Эрнест Баркер, *Национализм и интернационализм*. C.S.U. Pamphlets, Mowbray, Oxford.

Доктор Бауэр, *Международное законодательство*. Моубрей, Оксфорд.

Эрнест Франке, "Международные трудовые договоры", *Экономический журнал* (июнь, 1909).
Перепечатано отдельно, Макмиллан.

Albert Métin, *Les Traités Ouvriers*. Armand Colin: Paris.

E. Mahaim, *Le Droit International Ouvrier*. Librairie Recueil-Sirey: Paris.

Fagnot, Millerand et Strohl, *La Durée légale du Travail*. Félix Alcan: Paris.

Paul Boyaval, *La Lutte contre le Sweating System*. Félix Alcan: Paris.

Студенты также могут обратиться к следующим отчетам:

Le Travail à Domicile en France. Ministère du Travail: Париж.

Le Travail à Domicile en Belgique. Ministère du Travail: Брюссель.

ССЫЛКИ:

[31] Эти цифры отражают положение на последнем заседании Ассоциации, состоявшемся в Цюрихе в 1912 году.

[32] Уважаемый постоянный руководитель французского Бюро труда.

XI

ОБЩИЕ ИДЕАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Предыдущие эпохи были более способны, чем наша, верить в старые добрые времена. Мы, зная о прошлом больше, чем наши предки, не можем найти в нем золотого века. Но наш

взгляд не останавливается даже на настоящем. В XIX веке люди думали, что они находятся в конце процесса, и их эволюционное кредо часто было лишь вежливым способом сказать, какие они прекрасные люди. Теперь мы смотрим вперед. Будущее кажется нам длиннее прошлого и важнее настоящего, а сами мы, похоже, находимся в начале, а не в конце времени. Знание прошлого не позволяет поверить в то, что рост остановился, и мы понимаем, насколько иным может быть будущее, хотя бы отчасти благодаря тому, что осознаем, насколько даже это грязное и запятнанное кровью настоящее отличается от еще более бесчеловечного прошлого".

Среди зафиксированных изменений экономисты пишут о растущем взаимобмене товарами, а мы видим также растущий взаимобмен идеями через границы государств. Музыка, живопись, литература и наука - все они подверглись влиянию; и идеи, касающиеся политических, экономических и социальных фактов, были затронуты этим обменом, который развил нашу философию, нашу науку и наше искусство. Ни одна нация не стояла у истоков всего этого; каждая нация зависела от намеков и гипотез, которые возникали у других.

Но обмен идеями о социальной жизни привел к росту идеалов, которые являются планами действий, эмоционально оцененными и, следовательно, движущими силами. Некоторые из этих являются утопиями отдельных мыслителей; но мы рассмотрим здесь только те более мощные идеалы, которые разделяются, пусть и смутно, многими. В этом случае, как и в чисто интеллектуальной сфере, огонь распространяется от группы к группе, от нации к нации; и как обмен идеями увеличивает знания, так и обмен энтузиазмом делает действия более мощными. Однако по-настоящему действенный идеал не может возникнуть иначе, как на основе восприятия определенного зла. Смутное недовольство может вызвать революцию, ведущую к реакции; но ясное видение зла - единственный источник реформ. Поэтому мы можем считать само собой разумеющимся, что хотя идеал бессилён, если он не страстен, он тщетен, если не основан на знании. Поэтому необходимо намекнуть на то зло, из знания о котором в настоящее время вырастают идеалы социальных реформ. То, что в отношениях человека с человеком или группы с группой не все в порядке, должно быть достаточно очевидно для любого, у кого достаточно воображения для сочувствия. Всеобщая неудовлетворенность и всеобщее лечение общества - это ребячество; но восприятие того или иного зла порождает различные планы реформ, которые все берут начало в энтузиазме, являющемся идеалом. Мы можем отбросить долгую историю роста этого общего энтузиазма, направленного на улучшение отношений между людьми, независимо от их способностей, ранга, расы или правительства.

Общие идеалы современности - результат постепенного развития, но здесь мы рассмотрим их как попытки справиться с существующими пороками и планы на лучшее будущее.

Некоторые социальные пороки современности, возможно, так же стары, как и любая оседлая цивилизация. Таковы болезни и насилие над личностью. Некоторые вызваны силами, которые появились недавно, благодаря расширению коммуникаций и накопленному богатству. Таковы крайняя бедность и дегуманизация социальных отношений. С обоими видами зла мы вынуждены бороться и не отказываемся от попыток реформировать даже давно укоренившееся зло, потому что мы чувствуем, что не знаем, что возможно. Ничто не является неизбежным. Здесь не место подробно описывать зло, с которым мы боремся. Достаточно, если мы признаем, что нас побуждает к действию не абстрактная или воздушная теория равенства или человеческой природы. Все настоящие теории глубоко индивидуальны, и ни одна теория никогда не двигала людьми, если они не видели сквозь

нее грубых фактов. Как бы это ни было сформулировано в теории общества, мы признаем злом то, что болезни, ведущие к преждевременной смерти, так распространены, как они есть. Как социальное зло она, можно сказать, серьезно нарушает отношения между людьми. Мы также считаем социальным злом то, что люди прибегают к обману или насилию в принуждении к труду или в погоне за богатством. Из более новых социальных зол можно отметить физическое и духовное ухудшение, которое, по-видимому, является результатом скопления людей в больших городах. Также происходит дегуманизация отношений между хозяином и человеком. И это похоже на дегуманизацию всех функций в огромных учреждениях современности. Директор компании начинает рассматривать себя как часть машины; то же самое происходит и с акционером. В конце концов, так же поступает и представитель государства. Пока, наконец, мы не доходим до огромного зла, когда человек совершает действия, за которые не несет никакой моральной ответственности. Как же тогда нам действовать? Что уже сделано и на что еще можно надеяться? Ответом на эти вопросы будет изложение идеалов.

Об идеалах социальных реформ можно говорить с двух разных точек зрения: либо в отношении (1) меняющихся настроений, которые порождают движения за реформы, либо в отношении (2) институциональных изменений, которые воплощают эти настроения. Эти два явления являются взаимодополняющими частями одного исторического движения: их трудно разделить как причину и следствие. Ведь настроения, перерастающие в энтузиазм, безусловно, вызывают институциональные изменения, и все же реформированный институт неизменно порождает новые настроения. Задача закона и общественного обычая - вести и регистрировать, оказывать динамическое и статическое влияние, укреплять порядок и побуждать к свободе. Поэтому в реальной жизни часто невозможно отделить настроения от их воплощения в мерах социальной реформы.

Однако для целей исследования можно провести разделение. Мы можем отложить в сторону движущие чувства - страсти, пусть и слабые, которые побуждают людей желать лучшего будущего, - и рассмотреть сначала конкретные примеры реформ.

Определенным и в некотором смысле новым шагом в результатах совместного энтузиазма наций стало промышленное законодательство последних лет. Об этом уже говорилось. Но, хотя в такую экономическую эпоху, как наша, промышленная реформа может показаться наиболее яркой, это не единственный результат нашего общего энтузиазма, и последующие эпохи, возможно, не сочтут его самым важным. Благодаря обмену между нациями идеями в области образования, религиозной терпимости, медицины и санитарии, обращения с преступниками, подавления рабства и многих других вопросов были проведены реформы в области социального зла. Все эти и многие другие реформы, так сказать, зафиксированы в институциональных (правовых или административных) изменениях.

Пожалуй, лучше начать с конкретного примера воплощения идеала в жизнь, чтобы не казалось, что мы говорим лишь о пустых чаяниях. В качестве примера можно взять реформы, связанные с медициной и санитарией, и то лишь в той мере, в какой они были официально закреплены совместными действиями государств. Это очень ограниченное воплощение социального идеала, поскольку, конечно, мы можем найти такое же использование общего труда между людьми разных рас в частной борьбе с болезнями или в муниципальной профилактической медицине, которая в каждом большом городе во многом обязана исследователям и врачам других наций. Но наиболее ощутимый эффект лучше искать в чисто правительственных мерах.

Французское правительство предложило провести международную конференцию, которая собралась в 1851 году для решения проблемы инфекционных заболеваний; вторая конференция состоялась в 1856 году. В 1865 году вспышка холеры на Востоке привела к третьему конгрессу в Константинополе. Великобритания противилась заключению договоров, регулирующих карантин и т. д., из-за задержки, которая могла быть вызвана преследованием интересов судоходства. Но в конце концов в 1892 году в Венеции был заключен договор о защите от холеры. Дальнейшие и более эффективные договоры были согласованы цивилизованными государствами в 1897 и 1903 годах. В Париже было создано информационное бюро по инфекционным заболеваниям, а в Турции и Египте - комиссии по надзору. В отношении сонной болезни инициативу проявила Великобритания, и в 1907 году в Лондоне состоялась конференция, на которой были представлены шесть стран. С болезнями все понятно; теперь мы можем обратиться к примерам совместных действий государств в отношении преступности.

С африканским работорговлей с 1885 года (Берлинская конференция) борются европейские государства, действуя совместно на основе определенных общих принципов. А то, что известно как трафик белых рабов, стало предметом договоренности между пятнадцатью государствами на конференции в Париже в 1902 году.

Опять же, реформе тюрем и пенитенциарных учреждений с 1846 года во многом способствовали международные конгрессы. Последний состоялся в 1910 году в Америке, на котором были представлены двадцать восемь государств. В Берне был создан секретариат для обмена мнениями экспертов и выработки предложений для правительств.

Это примеры очень многочисленного класса реформ, проводимых *совместными усилиями* правительств. Все они появились сравнительно недавно, и большинство из двадцати восьми союзов между правительствами для согласованных действий были созданы в годы европейского мира между 1871 и 1914 годами. В этих случаях государства Европы положили свои драгоценные суверенитеты в карман; хотя юристы и дипломаты объясняют ситуацию в старых терминах.

В отношении всех этих движений за социальные реформы следует отметить три момента: во-первых, инициатива в большинстве реформ исходила от частного предпринимательства, а не от дипломатии или правительств. Во-вторых, этот частный интерес распространялся от немногих представителей одной нации к немногим представителям другой, прежде чем был достигнут какой-либо эффективный результат. В-третьих, государства действовали вместе не из-за какой-то общей теории международных действий, а просто потому, что с некоторыми социальными проблемами не могло справиться ни одно государство в отдельности. Все, что препятствует совместным действиям, также препятствует эффективным реформам в борьбе с болезнями или преступностью. Мне нет необходимости подробно останавливаться на этом выводе.

Есть также случаи, когда на действия правительства *напрямую влияла* практика других государств, даже когда никаких общих действий не было. Две наиболее яркие реформы последних лет касаются образования и веротерпимости. Об образовании уже было сказано достаточно. С нашей точки зрения, интерес представляет главным образом влияние образования на социальную структуру. Становится все более очевидным, что из всех сил, способных преобразовать нацию, образование - самая мощная; но ни одна нация не может эффективно преобразовать свое образование без учета ошибок и успехов своих соседей.

Это было воспринято и принято к сведению. Влияние, например, Германии на Англию достаточно хорошо известно. Немецкие прецеденты цитировались в Палате общин в первые дни создания государственного образования в Англии: а законы об образовании 1870 и 1876 годов были во многом обусловлены впечатлением, которое произвел на Англию успех государственного образования в Пруссии. Кольридж, Карлайл и Мэтью Арнольд определенно признавали свой долг перед Германией. Но и Германия была в долгу перед Англией в восприятии ценности окружения и корпоративной жизни в школах. Франция также испытала влияние английского образования; и, по сути, французским педагогам пришлось приехать в Англию, чтобы найти то, за что французы дали нам название - *Esprit de Corps*.

На университетское образование Соединенных Штатов очень определенно повлияли Германия и Англия; а их правительство в области начального образования, безусловно, установило для всех штатов преобразующие возможности школьной системы. Следует помнить, что грубость цивилизации и ее очевидная испорченность в Соединенных Штатах являются европейскими, а не американскими. Именно потому, что Европа пренебрегла своим долгом, поработила и ожесточила свои народы, социальное и политическое зло приходит вместе с иммигрантами; и всю эту массу европейской некомпетентности, результат пренебрежения или злодеяний в Ирландии, Польше, славянских странах и Италии, правительство Соединенных Штатов изгоняет с помощью образования: и эффект распространяется за пределы штатов. Еще одним следствием влияния, переходящего от нации к нации, стало изменение отношений государства и церкви. В Англии прошло несколько лет с тех пор, как государство преследовало в предполагаемых интересах религии; но мы помним, что отмена испытаний в отношении римских католиков произошла в 1830 году, а в отношении евреев - в 1850 году. Даже самые отсталые европейские страны были затронуты общим чувством. В 1874 году Австрия впервые разрешила проповедовать любое вероучение, не опасное для нравственности; церковная власть больше не может быть использована ни против кого, кроме членов конкретной церкви, которую оскорбляют. В Испании все еще существуют некоторые препятствия для публичных проявлений любой религиозной веры, кроме той, которая наиболее распространена; свободное поклонение в частном порядке, однако, наконец-то разрешено. Таким образом, общая тенденция, распространяющаяся от наций, которые наиболее сильно разделены в религии, была направлена к тому, что называется веротерпимостью. С этим связано постепенное признание гражданского брака, в котором старые привилегии самой могущественной церкви больше не признаются современным государством. Изменились и закон, и обычаи.

Возможно, общее отношение на самом деле не изменилось. Мы преследуем больше за политическую, чем за религиозную неортодоксальность; или, может быть, в наш более экономичный век мы не сжигаем еретиков только потому, что не можем позволить себе сжигать их на кострах. Но в любом случае отношения между людьми в обществе более справедливы, даже если речь идет о религии.

Таким образом, мы имеем примеры (1) совместных действий правительств и (2) отдельных действий правительств под непосредственным влиянием иностранных правительств.

Существуют также определенные результаты обмена идеалами между нациями, которые пока или только частично не зафиксированы в правовых или политических институтах. Таково, например, изменившееся положение женщин. За пределами политической или даже экономической сферы произошли изменения как в привычках западного человечества, так и в его руководящих концепциях.

Это изменение затрагивает смысл брака, поскольку мы все больше склоняемся к тому, что мужчина и женщина - это не просто мужчина и женщина. Человеческой индивидуальности придается новое значение; и еще неизвестно, как новое отношение может повлиять на уменьшение трений, вызванных примитивными и устаревшими традициями, или на то, чтобы сделать общество более разумным и цивилизованным. Источником перемен, несомненно, является энтузиазм, под влиянием которого оказались мужчины и женщины всех наций. Ибсену принадлежит место в истории социальных преобразований. Кроме того, контакты между нациями позволили более свободному положению женщин в одной группе повлиять на домашнее рабство в другой.

В положении детей также происходят огромные перемены. Нельзя не назвать социальной реформой то, что ребенку отводится столь определенное место в общественном организме. Аристотель считал, что женщина - это ошибка природы в попытке создать человека; и почти все философы относились к детям так, как будто им должно быть очень стыдно за то, что они не выросли. Я говорю о философах в широком смысле этого слова, поскольку не думаю, что метафизики знали, что во вселенной существует такая вещь, как ребенок. Как бы то ни было, мы вряд ли можем поверить, что в XIX веке родители действительно считали, что знают, что хорошо для их детей. В наш более скептический век дети обычно стараются не давать родителям читать определенные книги, а в каждой хорошо воспитанной семье считается, что родителей нужно видеть, а не слышать. В обществе произошли изменения в сравнительном значении, которое мы придаем детству и возрасту.

В-третьих, постепенно происходит трансформация социальных каст. Здесь нужно говорить осторожно, поскольку на Западе считается, что у нас нет каст. Однако есть неприятное ощущение, что общество не едино, что два города, которые, по словам Платона, разделят и уничтожат истинный город людей, уже созданы - богатые и бедные. Я не имею в виду тех, кто имеет 3 000 фунтов стерлингов в год, и тех, кто имеет 160 фунтов стерлингов в год. Это не вопрос для казначейства. Я имею в виду, что огромное количество людей во всех "цивилизованных" странах плохо питаются и плохо одеты с самого рождения и умирают преждевременно. Воспринимать это - значит желать действий, которые, возможно, ни одно государство не в состоянии осуществить. Но то, что мы это осознаем, уже кое-что значит. Прочтите самодовольные рифмы лорда Теннисона о "свободе, медленно расширяющейся вниз", а затем обратитесь к современной литературе, к Жану Ришпину или Джону Голсуорси, и вы признаете, что появился общий идеал социальных реформ. Мы, по крайней мере, беспокоимся перед лицом социальной организации, которая растрчивает человечество в течение долгих мирных лет почти так же полно, хотя и не так безрассудно, как в течение нескольких месяцев войны.

Кое-что уже сделано - английские писатели и английский опыт придали импульс венгерской, русской, финской, турецкой, персидской и индийской демократии. Группы людей заявили, например в Южной Америке, о своем праве на свободное развитие. И везде в период европейского мира контакты между нациями учили каждую нацию силе ее собственного характера, а новые сложности общества ослабляли старые разделительные линии каст между людьми.

Во всех этих вопросах нами, кажется, движет желание более свободной социальной атмосферы. Независимо от того, меняется ли законодательство или администрация, очевидно, что в большинстве европейских стран за годы мира с 1871 по 1914 год произошли значительные социальные изменения. Насколько они эффективны во всех странах и во всех классах, современнику судить очень трудно. Возможно, социальная структура декоративной верхушки или захудалого подола общества осталась такой же, какой она была до того, как

коммуникации стали легкими и транзит быстрым. Но центральное тело европейского общества, безусловно, изменилось; и, в конце концов, между отбросами и помоями находится хороший суп.

Таковы изменения, которые произошли в социальной жизни благодаря взаимозависимости наций. Но мы не поймем, что произошло, если примем на веру одни лишь достижения. Будущее строится не только на том, что мы сделали, но и на том, что мы надеемся сделать. Проведенные реформы не делают нас более удовлетворенными тем, что мы терпим зло, которое еще не реформировано, ибо всегда работать в достигнутом настоящем - это тот идеал, который превратил прошлое в то, что мы видим сейчас.

Итак, мы можем перейти к рассмотрению некоторых общих черт силы, действующей в социальных реформах, которые еще не достигнуты. Для этого мы отложим в сторону установленный закон и обычай, чтобы рассмотреть подразумеваемое отношение.

Сейчас, когда политические привилегии и неравенство перед законом более или менее устранены, наблюдается большая концентрация на лежащей в основе социальной несправедливости. Мы все принимаем как должное, что деятельность правительства не должна быть направлена на благо немногих, или что деньги не должны черпаться из одного класса. По крайней мере, мы полагаем, что закон должен быть единым для богатых и бедных.

Любому человеку, знающему историю, это кажется огромным шагом, поскольку в каждой нации небольшие классы обладали политическими привилегиями, устанавливали законы для других и взымали дань с большинства. Не то чтобы все было справедливо и свободно. Закон по-прежнему, с благородной беспристрастностью, запрещает воровать хлеб и миллионеру, и нищему. Конечно, это не направлено против бедных. Закон никогда не запрещает бедняку обмануть государство более чем на 3 000 фунтов стерлингов в год. Опять же, политическая власть по-прежнему зависит от социального положения ваших двоюродных братьев и тетушек. Но кое-что уже сделано.

Сегодня мы гораздо чаще слышим о социальных, чем о политических или правовых реформах. Это уже само по себе свидетельствует об изменении взглядов. Во время революции 1381 года толпы людей шли к Лондону, клянясь, по словам старой хроники, что в стране не будет мира, пока не будет убит каждый адвокат. В революциях 1830 и 1848 годов звучали слова "смерть политикам". Возможно, сейчас мы отчаиваемся в юристах или политиках, живых или мертвых. Во всяком случае, внимание тех, кто в каждом государстве движим энтузиазмом к лучшему обществу, сосредоточено не столько на голосах и законах, сколько на распределении благосостояния.

Во-вторых, произошел перенос энтузиазма религиозного или поэтического толка из сферы созерцания или отстраненности в сферу земных и даже материальных действий. Идеалы социальных реформ больше не предполагают пренебрежения едой и одеждой: мы все больше и больше убеждаемся в том, что бесполезно проповедовать культуру голодающему или говорить о свободе тому, чья жизнь - звериная борьба за еду и кров. Я говорю о нормальных временах. В Англии, Франции и Германии социальное улучшение означает предоставление большему числу людей гарантий голодной жизни, на которых только и можно построить хорошую жизнь.

Как видно, я не согласен с толстовской концепцией реформ, поскольку она подразумевает пренебрежение к еде и одежде и вообще к тому, что называется материальными благами.

Эта концепция, пожалуй, не пользуется популярностью среди тех, кто занимается тем, что обычно называют социальными реформами. Она не является "современной", а также зависит от ошибочного аргумента в этической теории. Досадная путаница, возникшая в результате так называемого восточного, стоического или средневекового аскетизма, привела к идее, что раз разум важнее тела, то тело вообще не имеет никакого значения. Но нам нет необходимости подробно разбирать эту теорию, тем более что общая позиция современного противоположна ей. Несомненно, существует концентрация на самых необходимых потребностях человеческой жизни с целью выяснить, как они могут быть распределены в более широком смысле.

Мы полностью осознаем огромную социальную опасность стремления к богатству; но это не является возражением против стремления к хлебу, одежде и предметам первой необходимости. И кажущийся материалистическим энтузиазм, который постепенно преобразит нашу полузвериную цивилизацию, не менее поэтичен или религиозен, чем восточная отстраненность или толстовская простота. Поэзия - это не все рифмованные куплеты: религия - это не все для интеллектуально или художественно некомпетентных. Так что мир, в котором двадцать процентов человечества не умирали бы медленно от голода, не обязательно был бы менее достоин восхищения. Не исчезла бы и религия, если бы каждый человек был здоров, если только под религией не подразумевается результат невращения, диспепсии или преждевременного старения. Несомненно, в этом элементе общепринятых социальных идеалов есть некоторое преувеличение. Даже бедняк не живет на одном хлебе; и действительно, можно иметь совершенно сытое общество, которое было бы совершенно варварским. Но мы должны считать, что прекрасный цветок культуры куплен слишком дорогой ценой, если ради нескольких знатоков и придворных, не говоря уже о буржуазных плутократах, большинство в каждой нации должно лишиться элементарной человеческой жизни. Некоторые утверждают, что разделение между нациями важнее, чем разделение между богатыми и бедными. Возможно, это и так; но единственная причина должна заключаться в том, что то, что есть у немногих, многие, пусть и смутно, могут надеяться разделить или могут быть побуждены думать, что разделяют. Человечество бесконечно доверчиво. Но в каждом народе поднимается ропот, который еще может стать внятным криком.

Авторы современных утопий в своих подробных представлениях о желаемом могут говорить только за себя; но признаком общего энтузиазма является то, что все они придают такое большое значение организации и физическому здоровью. Это говорит о том, что все мы, в каждой нации, с нетерпением, пусть и смутным, ждем общества, в котором человеческая жизнь будет менее трудной для большинства. Иногда мы говорим о перераспределении досуга - Август Бебель сделал это одной из главных статей своего вероучения. Но это не идеал, а желание, чтобы у грузчика было время поваляться в клубе, а у его жены - поиграть в бридж, за исключением тех случаев, когда время поваляться дает возможность заняться чем-то другим, а не просто борьбой за еду. Нет ничего неизбежного в ситуации, которая делает развитие большинства человеческих способностей привилегией немногих и невозможностью для большего числа. Неверно также полагать, что полуголодные и плохо одетые люди должны довольствоваться "добродетелью", а культивировать искусство и науку оставлять другим, возможно, порочным и, конечно, далеко не простым.

Также нелепо надеяться на мир, в котором у всех будет возможность развивать любые способности, которыми они могут обладать. Социальная выгода была бы огромной. Это можно сравнить с переходом от гармонии, создаваемой несколькими любителями, к гармонии полного оркестра.

В-третьих, становится все более очевидным, что ни одно государство или нация не могут эффективно действовать в области социальных реформ, если они не действуют в согласии с другими. Торговые договоры, общее тюремное законодательство, общие меры в области санитарии и медицины оказались эффективными, потому что такова природа вещей. Они являются необходимыми средствами для достижения желаемого процветания даже самого эгоистичного и сегрегированного государства.

Но невежество, предрассудки и иррациональное насилие распространяются так же легко, как болезни и преступления. Знание не является безопасным до тех пор, пока оно не получит широкого распространения; и цивилизация погибает, если она обособлена в мире варварства. Поэтому образование, в самом широком смысле этого слова, должно быть общим. Не только школьные системы, подверженные влиянию иностранных идей, но и сама атмосфера мысли должна меняться в гармонии между всеми народами, если мы не хотим рухнуть в пропасть, из которой мы поднимались мучительными веками.

Этот идеал социальных реформ, как кажется некоторым людям всех наций, должен быть согласован, чтобы предпринять более совместные действия. Это не смутное стремление к отмене конфликтов между государствами, не благочестивое стремление к миру. Это четкое понимание того, что государство не может выполнять свои функции в современной жизни, если оно продолжает действовать изолированно или обособленно. То, за что выступает государство, не может быть достигнуто даже в границах одного государства, если государство действует в одиночку.

Здесь не место различать те темы, по которым государства должны действовать вместе, и те, по которым они должны действовать отдельно. Это просто проблема пределов политического регионализма. Для нашей аргументации здесь достаточно того факта, что в последние годы появились определенные силы, главным образом экономические, которые не принимают во внимание государственные границы. Если говорить конкретно, то это международные тресты и международные трудовые интересы. Но становится все более очевидным, что с ними не может эффективно справиться ни одно государство, действующее отдельно. Изолированное суверенное государство прежних времен просто беспомощно перед развитой мировой системой экономики; а контроль над ними может обеспечить только сложившаяся мировая система политики. Государства, как можно предположить, существуют ради справедливости и свободы. Разделенные, они погибнут или станут лишь игрушками в руках неморальных экономических "интересов".

Чтобы спасти себя и все, за что оно выступает, государство должно перестать представлять себя в качестве возможного противника любого другого государства, а должно сознательно сотрудничать в проведении все большего числа реформ.

Лучше выразить в самых холодных выражениях концепцию, которая до сих пор слишком часто оказывалась тщетной, потому что возникала скорее из смутного недовольства, чем из восприятия определенного зла. Огонь энтузиазма действительно должен подействовать на эту концепцию, прежде чем можно будет добиться каких-либо эффективных изменений в отношении правительств или народов. Но энтузиазм будет потрачен впустую, если мы не сможем осознать, против чего мы боремся.

Мы боремся с величайшим из всех препятствий на пути социальных реформ, когда атакуем изоляцию наций. Если это не будет преодолено, мы, возможно, будем латать и пропихивать; но снова и снова мы будем попадать в рабство к огромным могущественным неморальным

силам, среди которых человечество находит свой путь. Я не могу выражаться яснее - [греч. *bous epi glôssê*]. Нации сталкиваются друг с другом в конфликтах, а смерть, болезни, насилие, звериная леность и покорность разъедают каждое государство.

Но когда война достигла своего наихудшего состояния, Гроций с силой заговорил о моральных узах, сохранившихся между людьми, которые в физическом конфликте пытались принять своих "врагов" за зверей и камни. И человечество вновь начало свою долгую борьбу со зверем в человеке. А теперь - оставляю это на ваше воображение.

Мы добились огромного прогресса, помогая друг другу через границы государств в таких науках, как взрывчатые вещества и подводные лодки. В этом нации сотрудничают друг с другом. Пушки, убивающие англичан в Дарданеллах, были сделаны англичанами. Возможно, еще наступит время, когда взрывчатка станет неактуальной, и государство будет использовать тщательное распространение болезней среди своих врагов. Единственная причина, по которой, как мне кажется, это не делается сейчас, заключается в том, что ни одна группа не может быть уверена в том, что сделает себя неуязвимой для болезней, которые она может распространять среди своих врагов.

Таким образом, мы приходим к выводу, что одним из элементов современного отношения к социальным реформам является тенденция к сотрудничеству между нациями. Мы видели, что это уже дало результаты в различных деталях законодательства и управления; и есть все основания полагать, что этот метод будет продолжен.

Но проблему нельзя оставлять на месте. Сотрудничество как слово - это просто очарование, как и Эволюция. Было, есть и будет сотрудничество в совершении неправомерных действий. То, что действия стали общепринятыми, еще не доказывает, что они правильные; а идеал подразумевает, по крайней мере, некоторую этическую оценку. Поэтому в каждой нации есть те, кто убежден в необходимости более сознательного нравственного сотрудничества между людьми разных рас. Если можно так много сотрудничать в создании вооружений или обмане акционеров, то можно еще больше сотрудничать в устранении болезней и бедности. И такое сотрудничество не только возможно, но и должно быть. Больше не существует ситуации, когда большинство последствий дурного режима ограничивается пределами границ. Социальные проблемы европейских народов должны решаться как единое целое, потому что это целое. Поэтому все, что противоречит единству западной цивилизации, уничтожает возможность социальных реформ.

Уже много раз было замечено, что существуют более благородные конфликты, чем борьба за рынки или за политическое господство одной клики или одной нации. Много раз до этого, по крайней мере, немногие, чувствовали, что человек обманывается, когда воображает, что человек - его враг. И много раз, когда избавление казалось близким, мы снова оказывались в рабстве злой магии. Сто лет назад, в конце наполеоновских войн, мечтатели воображали, что человечество покончит со своими лжепророками и смирится с призраками, которые преследуют его с тех пор, как оно начало стряхивать с себя звериные повадки. Но появлялась удручающая череда новых лжепророков и новых слепых поводырей. И теперь, в наш столь преклонный век, нам приходится сталкиваться с той же самой возможностью. Есть много поводов для отчаяния, от которого нас не избавит ничто, кроме нового энтузиазма. Злая магия должна быть побеждена магией другого рода, и насколько острым кажется кризис, вряд ли можно сказать.

Свойство нашей эпохи - ожидание. По этой причине люди всех наций были движимы желанием преобразовать общество. Но, возможно, это качество ожидания было качеством молодости. Впервые в истории, в начале двадцатого века, возраст уступил место молодости в политическом равновесии поколений. Сейчас - не смею говорить слишком откровенно. Молодых людей западного мира с августа 1914 года уже заметно меньше. Смерть, возможно, не имеет для них никакого значения. Но для будущего она имеет огромное значение. Это означает, что нетерпеливое ожидание молодости, которое является источником столь сильного энтузиазма в отношении лучшего мира, теряется. Кризис уже наступил. Пока еще сохраняются общие идеалы цивилизованных наций, но стремление к лучшему будущему перетекает в усталое согласие с установленным порядком. В наших руках решить, что победит. Ни одно поколение не сталкивалось с более серьезной проблемой. Мы не можем сказать, каким будет результат, но слишком надеяться - по крайней мере, более благородная ошибка, чем слишком рано отчаиваться.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

К.Д. Бернс, *Политические идеалы*. Clarendon Press.

P. Geddes, *Cities in Evolution*. Williams & Norgate.

J.A. Hobson, *Towards International Government*. Allen & Unwin.

P.S. Reinsch, *Public International Unions*. Ginn & Co.

XII

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВОГО ГОСУДАРСТВА

Мировое государство - термин, который может показаться оскорбительным в своем высокомерии, если его принять за замену единого политического сообщества и правительства на многочисленные отдельные национальные государства, существовавшие до сих пор. Поэтому я спешу заявить, что не имею в виду ничего подобного, а использую этот термин как удобное выражение для обозначения любой совокупности политических договоренностей, участниками которых являются большинство основных наций мира, достаточно стабильных по характеру и широких по охвату, чтобы заслужить название международного правительства.

На пути к такой возможности девятнадцатый век внес три больших вклада. В течение этого столетия были достигнуты большие успехи в урегулировании политического управления на основе национальности. Этот процесс был осуществлен частично путем сброса господства иностранной державы, как в случае Бельгии, Греции, Черногории, Болгарии, Румынии и Сербии, а также южноамериканских колоний Испании; частично путем более тесного федерального союза независимых государств, как в случае Германии и Швейцарии; частично путем сочетания этих двух методов, как в случае Италии; и частично путем мирного распада неестественного союза, как в случае Норвегии и Швеции. Хотя до завершения отождествления государственности с национальностью даже в Европе еще многое предстоит сделать, и некоторые шаги назад уже сделаны, растущее признание концепции национальности как справедливой и целесообразной основы управления является мощной гарантией продолжения этой совместной работы освобождению и объединению. Если в результате урегулирования после этой войны будут внесены политические коррективы, которые в достаточной степени удовлетворят оставшиеся стремления к национальной

автономии, то более мирная атмосфера будет благоприятствовать всем возможностям сотрудничества между нациями.

Второй вклад девятнадцатого века в развитие политического интернационализма носит более позитивный характер. Он заключается в ряде неопределенных и фрагментарных, но искренних попыток великих держав работать вместе в критических случаях в интересах "справедливости и порядка", как они понимали эти термины, и воплотить в актах или конвенциях некоторую политику, которая является результатом их обсуждений. Этот мерцающий огонек под названием "Европейский концерт", впервые зажженный на Венском конгрессе, периодически появлялся на протяжении всего столетия. Договоры, декларации и конвенции, принятые на этих конференциях или конгрессах держав, ознаменовали собой важный прогресс не только в содержании международного права, но и в методах законодательства. Если до Венского конгресса все договоры между государствами, способствовавшие формированию свода международного права, были актами двух или, самое большее, небольшой группы государств, то с этого времени стали появляться правотворческие договоры общего применения и всемирного значения. Наиболее примечательными примерами таких общих договоров являются Заключительный акт Венского конгресса 1815 года, Парижская декларация 1856 года, Женевская конвенция 1864 года, Берлинский договор 1878 года, Общий акт Конголезской конференции 1885 года, а также две Гаагские конференции 1899 и 1907 годов. Принимая во внимание общий характер многих правил, установленных на этих конференциях, таких как, например, отмена работорговли, нейтрализация определенных земель и вод и регулирование правил войны, очевидно, что мы должны признать существование в течение прошлого века рудиментарного органа международного законодательства, очень нерегулярного в своей деятельности, очень несовершенного по структуре и полномочиям, но не менее подлинного эксперимента в области международного правительства.

Не менее значимым для нашей цели было активное утверждение принципа федерализма при формировании или росте национального правительства. Великому примеру Соединенных Штатов последовали Швейцария и Германия, Мексика, Аргентина, Бразилия и Венесуэла, а также доминионы Британской империи - Канада, Австралия и Южная Африка. В этом кратком обзоре я не должен даже касаться различных форм федерализма. Достаточно отметить, что, будь то принцип передачи полномочий, как в случае с предложением о Домашнем правлении для составных частей Великобритании, или принцип более тесного союза, как в случае с предложением о федеративной Британской империи, федерализм очень жив. Он дает надежду не только на примирение требований местной автономии с эффективным центральным суверенитетом в провинциях или округах единого национального государства, но даже на гармонизацию требований отдельной национальности с требованиями более широких расовых, языковых и традиционных симпатий. Но еще важнее, чем эти специфически политические движения и события, как залог грядущего мирового государства, является многообразная структура промышленного и торгового интернационализма, которая в течение последних нескольких поколений растет все более быстрыми темпами. Сеть материальных, финансовых и интеллектуальных коммуникаций, соединяющая все части развитого мира и создающая быстрые, постоянные, дешевые и надежные способы транспортировки людей, товаров, денег и информации, составляет фактическую основу того, что неправомерно называть экономическим миром-государством. Хотя большая часть этого механизма, а также огромная работа международной торговли и капиталистического сотрудничества, которую он помогает выполнять, лежит вне сферы политики, существует бесчисленное множество точек политического контакта и давления. Реалии внешней политики каждого государства все больше и больше касаются вопросов

торговли, коммуникаций и концессий, а договоры и другие официальные договоренности между государствами все в большей степени являются инструментами и выражениями интернационализма экономических интересов. Империализм и колониальная политика каждой великой державы, хотя и состоят из различных компонентов, в основном направляются торговлей и финансами. Большинство разногласий и конфликтов между правительствами связано с вмешательством в свободную игру экономического интернационализма со стороны государств, в политике которых все еще доминируют глупые и устаревшие правила узконациональной экономики. Просвещенная интерпретация потребностей и интересов современного человека требует, чтобы все подобные национальные экономические барьеры были устранены и заменены правительственным сотрудничеством с целью обеспечить, путем свободной торговли и открытых дверей, для капитала и труда наиболее полное и наилучшее развитие и распределение экономических ресурсов мира.

Таким образом, в то время как наиболее впечатляющие политические события девятнадцатого века были выражением и успешной реализацией национализма, многие мощные течения интернационализма набирали силу. Цивилизация все больше и больше склонялась к вненациональной деятельности. Мыслящие мужчины и женщины нашего времени осознают настоятельную необходимость более тесного международного общения для достижения трех взаимосвязанных целей: Во-первых, укрепление, расширение и эффективное применение существующего свода международного права; во-вторых, установление мира на основе надежных методов справедливого урегулирования разногласий; в-третьих, обеспечение регулярных общепринятых средств для сотрудничества наций во всех видах позитивной созидательной работы на благо человеческого содружества.

Эти общие соображения я попрошу вас рассматривать как вводные к серьезному практическому вопросу, который стоит перед нами. Совместима ли эта важнейшая работа интернационализма с сохранением суверенитета и независимости нынешнего национального государства, или же ее выполнение предполагает определенную уступку этих национальных государственных прав требованиям международного правительства?

Страшные события, происходящие сегодня, обостряют и заостряют этот вопрос. Они ярко высвечивают недостатки, присущие международной политике, основанной на абсолютной независимости нескольких государств, и бесполезные механические балансы и корректировки, с помощью которых до сих пор проводилась внешняя политика. Но в какой степени они обеспечивают помощь или безопасность для достижения органической реформы? Смогут ли нации и правительства после окончания этой войны заложить прочную основу для мирного урегулирования споров и активного сотрудничества в общем деле человечества в будущем? Ответить на этот вопрос с уверенностью невозможно. Ведь никто не может предсказать состав и относительную силу чувств и идей, которые будут составлять "состояние умов" нескольких наций и их государственных деятелей. Что касается немедленной или ранней политики, то многое, конечно, будет зависеть от определенности победы и поражения, а также от последующего распределения и интенсивности страстей восторга и депрессии, гнева и мести, которые мир может оставить после себя. Разумеется, в боевые качества каждого воюющего входит убеждение, что ошеломляющая победа для него самого обеспечивает наилучшую гарантию мира и прогресса в будущем. Но этот вывод, основанный на предварительном предположении, столь же подвержен ошибкам, что собственное дело полностью верно, а вражеское - полностью неверно, вряд ли может быть обоснованным. Мир, который приносит наименьшее количество триумфов и унижений,

наиболее равномерное распределение выигрышей и потерь, казалось бы, должен создавать атмосферу, наиболее благоприятную для роста мирного интернационализма. Это, конечно, будет резко оспариваться, и те, кто это оспаривает, будут демонстрировать обычную чрезмерную уверенность тех, чей разум движется в замкнутом пространстве горячих, но бессмысленных фраз о борьбе до конца, сокрушении германского милитаризма и "войне, которая положит конец войне". Но нет более убедительного доказательства интеллектуального и морального хаоса войны, чем легкое принятие того, что Рёскин называл "замаскированными словами" вместо размышлений.

"За границей, - говорю я, - есть замаскированные слова, которых никто не понимает, но которые все используют, и большинство людей также будут сражаться, жить или даже умирать за них, воображая, что они означают то или иное дорогое им дело. Никогда еще хищники не были так озорны, дипломаты так хитры, отравители так смертоносны, как эти замаскированные слова; они - несправедливые распорядители всех человеческих идей; какую бы фантазию или любимый инстинкт человек ни лелеял, он предоставляет любимому замаскированному слову заботиться о нем; слово в конце концов обретает безграничную власть над ним - вы не можете добраться до него иначе, как через его служение". В военное время это господство "слов-масок" становится всемогущим и, вероятно, приведет к тому, что после окончания войны мыслительные способности всей Европы будут серьезно ослаблены.

Есть те, кто считает, что нервное и экономическое истощение заставит нации искать согласованные действия против повторения столь сокрушительного опыта, что некий инстинкт самосохранения найдет свое выражение в адекватных политических договоренностях. Я буду последним, кто станет отрицать реальность коллективного инстинкта. Но помните, что как инстинкт он действует вслепую и может быть направлен и расстроен тысячами способов противоречивыми потоками узких страстей, среди которых он движется. Простое истощение и общее чувство незащищенности не могут стать достаточным мотивом и направляющей силой для работы по международному строительству. Необходимо рационализировать этот инстинкт самосохранения и сотрудничества, чтобы он мог эффективно работать. Здесь кроется сердце нашей трудности. Война - это самый интенсивный процесс дерационализации, и долгое погружение европейской цивилизации в кипящий котел исказило и притупило сами инструменты мышления. Как отмечает профессор Мюррей в своем мощном эссе, война быстро сводит на нет медленный светский процесс, в ходе которого росли свобода и способность к индивидуальному мышлению, и погружает личное суждение в общее корыто стадного разума. Именно осознание этой опасности для человеческого разума, необходимости защиты силы индивидуального мышления и личной ответственности, как я понимаю, и привело нас сюда. Мы стремимся укрепить отдельные центры личного суждения, информировать индивидуальный разум, потому что работа по внесению позитивного вклада в единство цивилизации зависит от энергичного независимого функционирования многих умов.

Это соображение подводит меня непосредственно к противостоянию с врагом, то есть с теми, кто утверждает, что мировое государство или любое реальное международное правительство сейчас и всегда должно оставаться невозможностью, неосуществимой утопической мечтой. Процесс социальной эволюции с ее политической стороны заканчивается национальным государством. Оно является конечным продуктом. Национальные государства не могут, не хотят и не должны поступиться ни йотой, ни крупницей присущего им суверенитета и независимости, а опыт истории показывает, что все попытки международной федерации или союза заранее обречены на провал.

Очевидно, что для меня совершенно невозможно представить здесь полное официальное опровержение этих позиций. Поэтому я ограничусь краткими возражениями. На аргумент о социальной эволюции я отвечу, что эволюция не знает конечного типа, и что презумпция лежит в пользу тех, кто считает, что центристские или кооперативные силы, которые сформировали национальное государство из более мелких социальных единиц, не исчерпаны, а способны продолжить процесс организации. Тем, кто полагается на авторитет истории, ссылаясь на крах экспериментов по созданию федерации, последовавших за Венским конгрессом, как на доказательство того, что подобные эксперименты сегодня или завтра также потерпят неудачу, я отвечаю, что эта точка зрения основана на неверной интерпретации утверждения, что "история повторяется". Психологический или социологический эксперимент не повторяется, когда происходят фундаментальные изменения в психических и социальных условиях. Мы уже признали, что девятнадцатый век ознаменовался рядом жизненно важных изменений в экономической и духовной структуре цивилизации. Поэтому свидетельства 1815 года не могут быть окончательными в отношении возможностей 1915 года. Тем, кто настаивает на суверенитете и независимости национального государства как на вечной истине, я отвечу, что подобные формулировки имеют для меня не больше смысла, чем разговоры о "божественном праве королей", "естественных правах человека" или любая другая абракадабра метафизической политики. Реальный мир, в котором мы живем, не знает таких абсолютов. Суверенитет и независимость, как и все другие юридические требования, подвержены изменениям и компромиссам. Каждая сделка, заключенная по договору или соглашению с другим государством, каждое принятие международного права или обычая влечет за собой некоторое реальное снижение суверенной независимости, если только свобода разрывать все договоры и нарушать все законы не закреплена в качестве неотъемлемого права наций. Более того, в пределах одной нации суверенитет сам по себе делится и распределяется. Как в Соединенных Штатах Америки, Швейцарской республике и Германской империи штаты, входящие в состав государства, так и нации признаются суверенными, обладающими определенными правами или полномочиями, защищенными конституцией от любых посягательств центрального или федерального правительства. Так и в самом государстве суверенитет часто уже не сосредоточен в руках одного человека или одной группы лиц, а осуществляется совместными действиями нескольких органов, как в Великобритании, где король и палата парламента являются совместными распорядителями суверенитета государства. Таким образом, суверенитет все больше и больше становится вопросом степени и корректировки. Юристы-международники, несомненно, будут настаивать на том, что ни договоры, ни международные законы не предполагают никакого умаления суверенных полномочий. Но когда существенные свободы действий ограничиваются каким-либо обязывающим соглашением, ненарушенный суверенитет становится пустой абстракцией.

Поэтому, когда мы спрашиваем, не возможно ли расширить и объединить соглашения между так называемыми суверенными государствами в некую форму эффективного международного правительства, мы выдвигаем предложение, менее революционное по сути, чем по звучанию. Если бы все отдельные договоры, конвенции и другие соглашения, существующие сейчас между парами наций для выполнения конкретных действий и урегулирования разногласий, были изменены и собраны в формы общих договоров, подписанных всеми государствами-договорниками; если бы все международные законы и обычаи были кодифицированы и переданы под надзор какого-то единого представительного суда или совета, - мы бы обнаружили, что уже существует сущность международного правительства, не совсем адекватная нашим потребностям, но гораздо более мощная, чем мы предполагали. В Гаагских конвенциях и судах, а также в некоторых других

межправительственных документах, таких как Почтово-телеграфное бюро в Берне, мы уже обладаем ядром необходимых общих форм. Мы уже обладаем зачатками законодательного, судебного и административного аппарата международного правительства. Но он мал по существу, фрагментарен в применении и крайне несовершенен в своих санкциях. Более того, он только что показал свою неадекватность для выполнения первой функции правительства - поддержания общественного мира.

Задача преобразования столь слабой структуры правительства в эффективный инструмент международного мира и прогресса, очевидно, является очень масштабной и трудной. Но именно эта задача постоянно стоит перед нами, и от ее выполнения зависит безопасность самой цивилизации. Поэтому не стоит преувеличивать ее трудности, а нужно как можно точнее оценить их. Лучше всего это можно сделать с помощью краткого обзора основных направлений продвижения, которые были предложены. В этой стране, в Америке, в Голландии и других странах в воздухе витают схемы улучшения международных отношений после войны. Все они, как мне кажется, имеют одну общую черту: они касаются в первую очередь не идеальных или практических планов общего сотрудничества наций в деле повышения благосостояния мира, а методов предотвращения будущих войн и облегчения бремени вооружений. Все согласны с тем, что вместо "столкновения конкурирующих амбиций, группировок, союзов и шаткого равновесия" необходимо заключить некие общие формальные соглашения между нациями, и что только благодаря такому стабильному соглашению можно добиться разоружения и обеспечить мир. Все согласны с тем, что инструментом этого международного правительства должен стать общий договор, участниками которого должны быть несколько государств, и что условия этого договора должны требовать от них передачи всех форм споров на мирное урегулирование. Почти все, кроме того, принимают различие, проводимое между вопросами, подлежащими судебному разбирательству, касающимися применения или толкования законов или установления фактов с помощью юридических доказательств, которые подходят для разрешения судебным или арбитражным процессом, и теми, которые, не будучи способными к такому разрешению, лучше подходят для более слабого процесса расследования и примирения.

Однако эти предложения сильно отличаются друг от друга как в том, что касается сферы деятельности по предотвращению войны, так и в том, что касается мер, которые они предлагают для обеспечения выполнения международного соглашения. По моему мнению, они могут быть сгруппированы в три класса по возрастающей шкале строгости. Первый класс предусматривает общий договор, по которому подписавшие его государства обязуются передавать все разногласия между ними на рассмотрение арбитража или примирения, проводимого беспристрастными судами или комиссиями, и воздерживаться от любых враждебных действий во время проведения такого расследования. Этот принцип недавно нашел важное выражение в договорах, подписанных в прошлом году Соединенными Штатами с Великобританией, Францией и другими странами. Первая статья этих договоров гласит следующее: "Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что все споры между ними, любого характера, кроме споров, разрешение которых предусмотрено и фактически достигнуто существующими соглашениями между Высокими Договаривающимися Сторонами, должны, когда дипломатические методы урегулирования не дали результатов, передаваться для расследования и доклада в Постоянную Международную Комиссию, которая будет образована в порядке, установленном в следующей за ней статье; и они соглашаются не объявлять войны и не начинать военных действий во время такого расследования и до представления доклада". Цели этого метода мирного урегулирования три: во-первых, обеспечить беспристрастные и ответственные органы для разумного расследования всех споров; во-вторых, обеспечить время для

"охлаждения" горячих чувств спорящих сторон; в-третьих, информировать общественное мнение мира и сделать эффективным его моральное давление в пользу разумного мирного урегулирования.

Эффективность любого такого соглашения, очевидно, зависит двух условий: во-первых, уверенности подписавших его государств в том, что все они будут соблюдать взятые на себя обязательства, и, во-вторых, не оговоренного условия, что они примут и выполнят решения или рекомендации арбитражных и примирительных комиссий. Эти предложения, однако, не предусматривают никаких санкций или гарантий надлежащего исполнения договорных обязательств, кроме санкций совести и общественного мнения, и не делают никакой попытки связать стороны согласием с решением комиссий. Более того, рассматриваемые как средство обеспечения мира во всем мире и разоружения, все подобные предложения выглядят ущербными, поскольку не предусматривают разрешения споров между одним или несколькими государствами, подписавшими договор, и внешними государствами, не являющимися участниками соглашения.

Подобные соображения заставляют многих стремиться укрепить узы альянса и сделать его доступным для взаимной поддержки против внешней агрессии. Важнейшим вопросом здесь являются санкции или использование совместной силы, дипломатической, экономической или военной, для принуждения к выполнению договорных обязательств и исполнению соглашений. Многие считают, что если на большинство цивилизованных государств можно положиться в выполнении своих обязательств, то на какое-нибудь могущественное государство - Германию, или Россию, или Японию - положиться нельзя, и что отсутствие доверия вынудит все страны содержать большие вооружения со всеми сопутствующими рисками и бременем. Чтобы устранить эту трудность, некоторые предлагают, чтобы подписавшие договор стороны обязались предпринять совместные действия, дипломатические, экономические или насильственные, против любого из своих членов, который, нарушая договорные обязательства, совершит или предложит вооруженное нападение на другого члена. Именно эту меру ужесточения добавил мистер Лоуз Дикинсон в своем конструктивном памфлете *"После войны"*: "Державы, вступающие в соглашение", "обязуются, в случае необходимости, помочь своими национальными силами любому члену Лиги, который подвергнется нападению до того, как спор, вызвавший нападение, будет передан на арбитраж или примирение". Однако, согласно схеме г-на Дикинсона, государство остается в праве отказаться от решения, а по истечении установленного срока даже начать войну для выполнения своих требований. Другие сторонники мира идут несколько дальше, возлагая на лигу обязанность использовать экономическое или силовое давление для обеспечения принятия решения Арбитражного суда, оставляя принятие рекомендаций Согласительного суда на свободный выбор сторон. Именно такое предложение выдвинули мистер Раймонд Унвин и Лига мира.

Окончательная остановка на этой позиции понятна и оправдана. Обязывая государства строгими санкциями передавать все споры в предусмотренный мирный механизм, дожидаться завершения арбитражного и примирительного процессов и даже принимать законные решения арбитража, оно оставляет за ними полную формальную свободу отклонять рекомендации Согласительной комиссии. При этом следует учитывать, что большинство действительно опасных споров, связанных с вероятностью войны, не подлежат арбитражу по своей природе и будут рассматриваться Согласительной комиссией. Если не будет предусмотрено принуждение к принятию рекомендаций этого органа, какая мера реальной безопасности мира будет достигнута? Зажигательный факел, подобный тому, что разгорелся в прошлом году на Балканах, может вновь охватить Европу пламенем. У

защитников позиции, которую мы сейчас рассматриваем, есть три ответа. Они признают, что их предложение все еще оставляет возможность войны, но они утверждают, что если будет обеспечено достаточное время охлаждения или "мораторий", то вероятность того, что в конечном итоге придется прибегнуть к войне в результате отказа от арбитражного решения, будет сведена к минимуму. Они настаивают на том, что никакая схема, которую можно разработать, не исключит возможности того, что сильное преступное или безрассудное государство нарушит свои договорные обязательства и попытается добиться исполнения своей воли силой. Наконец, они настаивают на том, что многие уважающие себя государства откажутся от окончательного права объявления войны в случаях, когда, по их мнению, будут затронуты их жизненно важные интересы, и что любое предложение пойти на такой шаг может разрушить возможность менее полного, но очень ценного соглашения.

Теперь это было бы значительным шагом вперед на пути к мировому правительству, если бы все или наиболее могущественные государства согласились отказаться от отдельных союзов или подчинить их общему союзу, обязывающему их передавать все споры на беспристрастное разбирательство, прежде чем пытаться навязать свою национальную волю оружием. Возможно, это тот путь, который можно пройти в направлении обеспечения мира во всем мире и международного сотрудничества в ближайшем будущем. Если государства не пойдут на сотрудничество настолько далеко, чтобы договориться о совместных действиях по прекращению всех войн между своими членами и занять единую позицию против всех нападений извне, необходимо будет уважать их угрызения совести и полагаться на смягчающее влияние моратория и информированного общественного мнения, чтобы сделать окончательное обращение к оружию маловероятным среди цивилизованных государств. Но, рассматривая меру безопасности, достигнутую таким образом, мы должны помнить, что нам следует обратить внимание на самое слабое звено в цепи союза, и спросить себя, насколько план примирения, представленный в недавних договорах между Соединенными Штатами и несколькими дружественными европейскими странами, может считаться одинаково надежным в отношениях с Германией, Россией или Японией. Если наша международная договоренность предполагает отказ от силового давления в крайнем случае и опору на чисто моральное давление, кажется очевидным, что действенность этой договоренности зависит от степени доверия, которое другие государства будут испытывать к добросовестности и мирному настрою наименее щепетильных из мощных государств, подписавших договор. Ведь если у одного или двух могущественных государств сложится мнение, что под влиянием алчности или честолюбия они, вопреки арбитражному решению или общественному мнению других государств, могут навязать свою волю какому-нибудь более слабому соседу, то такое мнение будет поддерживать настолько сильное чувство незащищенности, что значительное сокращение военных приготовлений будет невозможно.

При оценке ранней ценности всех предложений по улучшению международных отношений наилучшим практическим критерием является вопрос: "Приведет ли данное предложение к сокращению вооружений?". Ибо следует признать, что любое урегулирование или международное соглашение, которое оставляет притязания милитаризма и флота на жизненно важные и финансовые ресурсы нескольких наций незатронутыми, дает мало надежд на мирное будущее. Возвращение к эре конкурирующих вооружений уничтожит моральную силу любых официальных международных соглашений, какими бы умозрительными они ни были. Важность этого соображения привела к тому, что многие настаивают на том, что четкое соглашение о пропорциональном разоружении должно занять видное место в любом урегулировании. Это предложение, однако, кажется мне ущербным, поскольку оно предполагает сохранение у всех или некоторых наций тех мотивов, которые до сих пор заставляли их укреплять свои боевые силы. Теперь главная цель таких

международных соглашений, которые мы обсуждаем, состоит в том, чтобы добиться такого положения вещей, при котором прежние мотивы вооружаться ослабнут и исчезнут. Если страны, движимые либо высокомерием, либо жадностью, либо страхом, будут продолжать стремиться к увеличению своей боевой мощи, то никакие договоренности о пропорциональном разоружении не будут эффективными. С другой стороны, если удастся заложить основу действительно действенной лиги или федерации, лишив самое амбициозное государство всякой разумной надежды предаваться мечтам об успешном завоевании и избавив робкие государства от опасений, под которыми они жили до сих пор, то естественная игра политических сил внутри каждого государства будет благоприятствовать разоружению. Международное соглашение, отвечающее нашим требованиям, должно быть достаточно сильным, чтобы обратить вспять агрессивные и оборонительные мотивы, которые в прошлом заставляли страны вооружаться. Нации не будут накапливать вооружения, если они верят, что у них не будет необходимости или возможности их использовать. Поэтому формирование убежденности в бесполезности национальных армий и флотов является первостепенной задачей международной политики. Успешное утверждение этой веры предполагает, однако, изменение настроения национальных правительств, равносильное процессу, известному в религиозных кругах как обращение. Их необходимо побудить отказаться от права на войну, которое, согласно прошлым государственным традициям, было самой яркой драгоценностью в короне суверенитета.

Таким образом, мы снова возвращаемся к нашему жизненно важному вопросу - объему и виду уступки суверенитета, необходимой для создания эффективного международного правительства. Может оказаться, что невозможно склонить достаточное число великих государств к передаче окончательного права ведения войны представительному международному правительству или уступить такому правительству право издавать законы о международных отношениях с полномочиями принуждать к их соблюдению. Однако многие из нас считают, что эти полномочия необходимы для создания международного соглашения, которое будет эффективно гарантировать мир во всем мире. Отказ от суверенного права на ведение войны необходим для обеспечения будущего мира. Законодательные и исполнительные полномочия международного правительства необходимы для того, чтобы мирными средствами добиться тех изменений в политических и экономических отношениях народов, которые до сих пор были возможны только путем войны. Никакое простое статическое урегулирование не будет достаточным. Новые великие вопросы национальных противоречий или экономических потребностей, несомненно, будут возникать заново, и пока не будет установлен стабильный метод управления, способный определять и обеспечивать соблюдение прав и выгод, которые они представляют, обращение к военному арбитражу будет по-прежнему вероятным.

Но если допустить, что национальное правительство не представляет собой окончательную форму политической структуры, и что некоторый федеральный интернационализм сейчас вполне осуществим, можно ли надеяться или ожидать, что в результате одного шага или серии быстрых шагов суверенитет национальных государств подвергнется такому уменьшению, какое имеет место в более продвинутой схеме международного правительства? Большинство историков, государственных деятелей и политических философов, я думаю, сочтут, что столь масштабный и быстрый процесс развития неосуществим, каким бы желательным в теории он ни был. Необходимо, настаивают они, делать по одному шагу за раз, сохранять, насколько это возможно, принцип

преемственности и не пытаться двигаться дальше и быстрее, чем того требуют обстоятельства и необходимость времени.

Но всегда ли обстоятельства и необходимость заставляют нас двигаться медленно и делать один шаг за раз? Хотя нормальный рост происходит медленно и непрерывно, современная наука склонна придавать все большее значение прерывистым и внезапным изменениям в производстве органических изменений. Биология отличает эти мутации, с помощью которых возникают новые виды, от нормального процесса эволюции по неощутимым грациям. Как я понимаю, здесь нет реального нарушения непрерывности, нет чудесного творения, а есть внезапное перемещение из структурной позиции, которая в результате медленного накопления предыдущих изменений стала нестабильной, или в новую позицию стабильности, предполагающую быструю перенастройку органических частей. Не могут ли столь же важные мутации произойти в эволюции политических институтов, когда подобное напряжение обстоятельств дает о себе знать? Можно также спросить, не является ли особой функцией разумной воли человека внесение этих изменений в направление индивидуального и коллективного поведения. Способность новые быстрые и сложные адаптации к новым условиям - неотъемлемая часть экономики человеческого мозга. Свобода мысли и воли постоянно порождает новые суждения и новые определения для действий, которые содержат это качество внезапной мутации. Быстрые преобразования мысли и воли составляют суть нашей сознательной жизни. Когда они влекут за собой важные последствия для нашего поведения, они кажутся, а на самом деле являются нарушениями нормального хода нашей жизни, которая протекает на основе обычая, повторения и неощутимых изменений.

В политике, как и в религии, нередко внезапные обращения под влиянием обстоятельств, и они могут быть искренними и прочными. То, что относится к индивидуальным волям и суждениям, относится и к коллективному разуму. Следует признать, что человеческая природа в ее основах мышления и чувств, в ее первичных потребностях, желаниях и эмоциях не претерпит значительных изменений даже под воздействием этого сокрушительного опыта войны. Но то, что мы можем назвать общим состоянием ума, или моральной и интеллектуальной атмосферой, будет глубоко затронуто. Отчасти это будет результатом происходящих больших экономических и политических потрясений, которые подорвут и ослабят старые идеи и оценки в отношении таких важных институтов, как собственность, контроль над промышленностью, деятельность женщины, партийная система, само государство. Но еще более глубокой будет прямая реакция на горе и страдания войны, откровение о силе организованного разрушения и жестокости и о неадекватности разума, справедливости и доброй воли в качестве защиты цивилизации. Сами основы организованной религии в сердцах людей будут поколеблены. Очевидная неспособность государства выполнять свою главную функцию по защите жизни и собственности, вероятно, будет питать потоки революции в каждой стране. Внезапные изменения в соотношении возрастов и полов, вызванные уничтожением столь большой части молодых и энергичных мужчин каждой нации, повлияют на все процессы мышления и политики. Некоторые из этих изменений покажутся благоприятными для консерватизма, робости и реакции. Повсюду к концу войны в креслах власти будет царить военная и чиновничья автократия, а дух политического авторитета будет разжигать огонь разгоряченного национализма, который вызывает война. Но и другие силы будут вынуждать к смелым политическим экспериментам. Не только страх перед беспокойными и обедневшими рабочими, которые недавно научились пользоваться оружием и, возможно, почувствовали вкус к риску, но и разрушение промышленности и торговли, и, прежде всего, непосильное бремя налогов, будут располагать контролирующие и владеющие классы к поиску альтернатив возвращению к

эпохе конкурирующих союзов и вооружений. Мягкие и консервативные меры будут явно бесполезны. В годы истощения после войны решительные лидеры общественного мнения будут повсеместно разрабатывать схемы международных отношений, которые дадут адекватные гарантии мира. Впервые в истории великие читающие и мыслящие сообщества будут уделять основное внимание международной политике. Они осознают неотложность работы по построению общества наций на основе подлинно представительного правления. За этим разумным процессом конструктивного мышления, осуществляемым в каждой стране политически убежденными индивидуумами и группами, будет стоять мощная поддержка недумавших, страдающих масс, движимых не ясным представлением о причинах и средствах, а коллективным инстинктом самосохранения, который побуждает стадо избегать гибели и следовать за лидерами, указывающими путь к безопасности.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Международный кризис в его этических и психологических аспектах. Хамфри Милфорд.

Г. Лоуз Дикинсон, *После войны.* Файфилд.

К.Э. Хупер, *Более широкие перспективы после мировой войны.* Watts & Co.

Ф.Н. Кин, *Мир в союзе.* Southwood.

Norman Angell, *Prussianism and its Destruction.* Heinemann.

Эллисон Филлипс, *Конфедерация Европы.* Longmans.

The New Statesman. Специальное приложение. Предложения по предотвращению войны.

Дж. А. Хобсон, *"На пути к международному правительству".* Allen & Unwin.

XIII

РЕЛИГИЯ КАК ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ В ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Цель этих очерков - доказать, что даже сейчас, в условиях величайшего вооруженного конфликта в мире, термин "христианство" не является неприменимым к Европе. В западной цивилизации существует реальное единство - единство, во многом обусловленное влиянием религиозной веры и организации. Средневековая церковь дала тевтонским народам Северной Европы и варварам, захватившим Римскую империю, первое важное знакомство с великим наследством, образовавшимся в результате непростого смешения христианской веры и литературы с греко-римской цивилизацией. Духовные достижения греков и римлян, иудеев и христиан остались общим достоянием Запада, основой того, что до сих пор является христианством. В той мере, в какой оно существует, христианство свидетельствует о формирующей силе религиозной веры: в той мере, в какой оно остается мечтой, мы можем подозревать, что оно требует обновленного импульса веры, просвещенной и наказанной всем опытом прошлого.

Если же мы спросим: "Есть ли вероятность того, что общая религиозная вера и жизнь помогут поднять западную цивилизацию на еще более высокий уровень единства? Современная история в сравнении со средневековой, на первый взгляд, демонстрирует тщетность подобных поисков.

Начиная с Реформации, религия стала причиной разделения, а не сотрудничества. Современный период европейской истории начинается с разлада. Европу не только разорвал конфликт католиков и протестантов, но и мечта о международной реформированной церкви, которая в свое время витала в умах Кранмера, развеялась под влиянием национализма и раскола в рядах самих реформаторов. В нашей стране то, что эвфемистически называют Елизаветинским урегулированием, оказалось источником дальнейших разногласий, а реформа оказалась плодотворной матерью сект и расколов. Протестантские церкви были организованы по национальному и государственному признаку. Они перестали сохранять международный характер в своей конституции, а международные связи стали оказывать все меньшее влияние. Римская церковь в конфликте с галликанством столкнулась с духом национализма, и сегодня сила национального чувства внутри римского католицизма мешает Папе Римскому оказывать моральную власть над суверенными государствами, которая могла бы сравниться с судебными функциями, успешно утверждавшимися Иннокентием III. Ни одна христианская церковь сегодня не возвышается над национальными государствами Европы настолько, чтобы контролировать или даже адекватно критиковать притязания этих государств. Церкви больше не служат воплощением и выражением европейской совести.

Распад единой церковной организации, пожалуй, не был самой серьезной потерей объединяющей силы, которую понесла религия на Западе во времена Реформации. Если верно, что Библия и греческий дух являются великими общими факторами западной цивилизации, то мы должны признать, что эти два великих влияния имели тенденцию распадаться и даже противостоять друг другу в шестнадцатом и семнадцатом веках. Гуманистический элемент в реформаторском движении становился все меньше и меньше, в то время как сам гуманизм становился все более определенно светским. С тех пор европейский разум осознает тревожное разделение между религией и культурой. Развитие религии, которое должно оказать западной цивилизации услуги, сравнимые с теми, что оказала средневековая церковь, требует не только повышенного международного сознания христиан, которое должно найти организованное выражение, но и некоего свежего синтеза религии и культуры, воссоединения духа Эллады, греческого восторга от красоты и веры в разум, с моральной силой и религиозной проницательностью древнееврейского пророчества.

Те, кто беспокоится о будущем нашей цивилизации, с нетерпением будут искать признаки такого развития в религиозной жизни и мысли нашего времени. Обнаруживает ли недавняя история и нынешний опыт какие-либо действующие влияния, которые могут еще вернуть религии объединяющую силу? Естественно, любой ответ на такой вопрос будет носить субъективный характер. Личное уравнение нелегко устранить; мы можем быть обмануты нашими надеждами или обмануты нашими страхами. В конечном итоге мы не можем с уверенностью предсказать будущее религии. Однако мы можем оценить нашу нынешнюю ситуацию и проанализировать ее значимые элементы, даже если наши оценки их относительной важности неизбежно будут меняться.

Хотя религиозные разногласия на Западе не исчезли, и, более того, не видно перспектив немедленного примирения, и хотя образование новых сект, примером которых является Движение Христианской Науки, не прекратилось полностью, наблюдается очевидный спад догматического и сектантского темперамента, и этот спад открывает путь для скрепления разорванных дружеских связей. Бунт против догматического мышления и даже против самой религиозной догмы широко распространен. Чувство потери, связанное с изоляцией любой секты, и желание выйти за пределы любой конфессиональной традиции заметно влияют на

религиозную ситуацию. В Англии критика Мэтью Арнольдом диссидентства выражала неприязнь как к догмам, так и к сектантской узости. Его более значительный вклад в лучшее понимание святого Павла обусловлен именно тем, что он возвысил мистика и святого в Павле за счет доктринального теолога кальвинистской традиции. Желание избавиться от догм продолжает находить энергичное интеллектуальное выражение, примером чего может служить книга мистера Лоуза Дикинсона *"Религия, критика и прогноз"*. В другом направлении движение Братства и движение школ для взрослых представляют собой поиск если не полностью недогматической веры, то, по крайней мере, более широкой основы для объединения, чем та, которая совместима с настаиванием на определенных утверждениях веры. И те, и другие объединились бы в молитве

Господи, пошли нам людей, чьей целью будет
не защищать какое-то устаревшее вероучение,

А некоторые члены обеих организаций подозревают, что все вероучения устарели.

Эта неприязнь к догмам может прикрывать необоснованный скептицизм в отношении возможности достижения истины в религии, но она является симптомом стремления к большему сочувствию и более широкому общению. Это лишь крайнее выражение нрава, который уменьшил угловатость тех, кто очень далек от того, чтобы отказаться от определенных убеждений и доктрин или принизить их значение. Деноминационалист, который раньше без колебаний претендовал на монополию истины для своей конкретной церкви, теперь колеблется там, где он твердо стоял. Мы более готовы признать наши ограничения. Все большее число вдумчивых умов понимают позицию лорда Актона, когда он писал Мэри Гладстон: "Я едва ли осмелюсь высказать свои соображения по поводу религии других людей из любопытства, что они могут сказать больше, чем я знаю, и из чувства, что безопаснее прибегнуть к порицанию для своей собственной, которую человек понимает более близко, имея долю ответственности и действия". Это более спокойное настроение открывает путь к новому пониманию в религиозном мире. Откуда берет начало это изменение в атмосфере?

Выясняя причины этого нового настроения в религии, первое место можно с полным основанием отвести росту научного духа. Рассматривая науку как источник единства, было бы ошибкой заикливаться исключительно на создании совокупности общих знаний. Знание одних и тех же вещей мало что может дать для объединения людей. Если подходить к проблемам одинаково, разделять дух свободного поиска, благоговение перед фактами, решительное стремление преодолеть предрассудки, то это приведет к гораздо более тесному единению. Наука еще теснее объединяет людей своим духом, чем достижениями. Применение научного метода к литературному и историческому изучению Библии, а также к психологическому анализу религиозного опыта привело к тому, что в каждой церкви и в каждой стране появились группы людей, которые подходят к предмету своей веры под одним и тем же углом зрения и под руководством одной и той же умственной дисциплины. В результате критического движения человек находит врагов в своем собственном и друзей в церковном обиходе своих соседей. Изучение религии возобновляет международные контакты и требует международного сотрудничества, как и любая другая отрасль науки. В науке ведущих стран можно обнаружить различия, хотя можно сомневаться, что это фундаментальные различия. Объем критических работ, публикуемых в Германии, настолько велик, что создается иллюзия, будто он представляет собой самодостаточный мир. Так, доктор Швейцер в своем блестящем обзоре исследований жизни Иисуса может представить все исследование как работу немецкого гения и как попытку немецкого либерализма

изобразить Иисуса в соответствии со своими собственными полубессознательными предрассудками. И все же даже в этом случае копыта международной взаимозависимости дают о себе знать, ведь ему приходится посвятить одну несимпатичную главу Ренану, даже если он умудряется игнорировать *"Ессе Номо"* Сили. Но долг английской науки перед Германией неоспорим, и от него нельзя отказываться в военное время. И этот долг не является полностью односторонним. Стоит напомнить, что Адольф Харнак, возможно, величайший из ныне живущих немецких ученых в области критики Нового Завета и церковной истории, черпал вдохновение в работах Эдвина Хэтча. Во всяком случае, признание критического метода объединяет ученых во всех странах, приводит к проведению международных конгрессов по изучению религий и укрепляет личные дружеские отношения, которые не разрушит даже война.

Помимо интернационализма науки, мы должны помнить о реакции критики на популярную религиозную мысль. Медленно, но верно в суждения верующих, как мирян, так и священнослужителей, проникает некоторое чувство исторической перспективы. Одна лишь попытка признать литературный характер различных книг Библии привела к освобождению. Различия между разными частями Библии по литературному качеству, по доказательной ценности для истории и по духовному значению наконец-то свободно признаются за пределами кабинета и лекционной аудитории. Люди перестают рассматривать Библию как ряд законодательных актов или прецедентов общего права, имеющих одинаковый авторитет. Это приводит к пересмотру унаследованных традиций, основанных на взгляде на Библию, который больше не является жизнеспособным. В целом это развитие благоприятствует более скромному отстаиванию собственных убеждений и более милосердному отношению к чужим. Если мы продолжаем расходиться во мнениях, то с большей симпатией относимся к тем, с кем расходимся.

Здесь невозможно подробно проследить влияние критического движения на традиционные верования или даже на концепцию авторитета в религии. Однако стоит отметить, что психологическое исследование религии имеет тенденцию к расширению симпатий, способствуя откровенному признанию разновидностей религиозного опыта. Больше учитывается темперамент, и меньше беспокойства вызывает стремление загнать всю духовную жизнь в одну и ту же форму или схему. Сакраменталист и несакраменталист, мистик и интеллектуал, человек чувства и человек действия, те, кто переживает внезапные перемены, и те, кто является объектом более постепенного роста, - каждый получает свое, и ни один из них не должен презирать другого. Есть опасность, связанная с нашим постоянным упоминанием о темпераменте. Сказать, что позиция Церкви соответствует определенному темпераменту, - значит осудить ее, а оправдать попытку вступить в определенную фазу религиозной жизни на том основании, что он не подходит по темпераменту, - значит не оказать реальную любезность человеку. Но это, несомненно, выгодно - бросить вызов чрезмерно жесткой стандартизации религиозной жизни. Жалко слышать, как люди протестуют против того, что у них нет религиозного опыта, когда они просто ослеплены слишком узким толкованием этого термина. В той мере, в какой психология религии проясняет многообразие привлекательности религиозных идей для разных умов, она помогает создать новое ощущение единства в различиях.

Вместе с ростом научного духа и отчасти под его влиянием действуют и более отчетливые религиозные и философские факторы, усиливающие стремление к более широкому и глубокому общению. Рассматривая сначала проблему в границах христианской церкви, я думаю, мы можем утверждать, что растет готовность к сотрудничеству и возрождается надежда на воссоединение. Мы можем также утверждать, что уже достигнуты определенные

успехи в мышлении, в понимании самого христианства, которые делают сотрудничество, если не воссоединение, менее утопичным, чем раньше. К ним я бы отнес прежде всего принятие принципа толерантности как важнейшего элемента христианской веры. Мистер Норман Энджелл предположил, что религиозные войны семнадцатого века закончились благодаря экономическому истощению и рационализму. Веротерпимость была принята в качестве государственного принципа на основании здравого смысла, который показал бесполезность репрессий. Я не склонен игнорировать силу аргумента: "Вы умрете с голоду или разоритесь, если не прекратите преследовать еретиков или бороться с протестантами", и не хотел бы недооценивать влияние здравого смысла в завершении эпохи религиозных войн, но я не могу не думать, что глубокая религиозная убежденность в долге веротерпимости и своего рода философский либерализм, хотя и присущий немногим, способствовали триумфу этого принципа. Для христиан этот долг стал более ясным благодаря влиянию Евангелия. Некоторые церкви стали принимать близко к сердцу упрек Иисуса ученикам, которые хотели вызвать огонь на самаритян. Речь не идет о каком-то конкретном случае. Глубокое уважение к индивидуальности лежит в основе Евангелия. Для христианина терпимость, опора на убеждение, на обращение к совести каждого человека становятся все более и более очевидной необходимой квалификацией посланника Христа. Поскольку принятие принципа терпимости отнюдь не является всеобщим в Церкви, его более полное признание в некоторых кругах может поначалу служить усилению разделения. Оно может подчеркнуть, например, постоянную необходимость протестантизма, высветив моральное препятствие к воссоединению в виде инквизиции и дисциплинарных методов Римской церкви. Но в конечном счете такое развитие мысли должно способствовать лучшему пониманию и более широкому общению.

По-прежнему ограничивая наш обзор христианской церковью, мы обратили особое внимание на те части Нового Завета, в которых идея католичества получила полное развитие. Послание к Ефесянам и семнадцатая глава Иоанна начинают преследовать христианское сознание, как никогда ранее, со времен Реформации. Очевидно, что нынешнее положение Церкви, в которой разделения выкристаллизовались в отдельные организации, не отражает и не предусматривает идеала "да будут все едино". Единство Церкви представляется условием, необходимым для успешного свидетельства о ней. Скандал и бессилие разделения ощущаются все острее. Если Церковь Христова не сможет исцелить себя или найти исцеление для себя, она вряд ли сможет внести свой вклад в исцеление народов.

Есть надежда на более тесное общение внутри Церкви, потому что эта проблема все более и более определенно ложится на совесть ее членов. Дальнейший прогресс мысли, который делает возможным более тесное сближение разрозненных фрагментов христианской Церкви, можно найти в процессе отсеивания существенного от случайного в христианской традиции. Было бы глупо притворяться, что этот процесс достиг своего завершения или что существует какое-то большое согласие относительно того, что составляет суть христианства. Никто больше не верит во всю Библию от корки до корки - даже те, кто говорит, что верит. Борьба за вероучения более ожесточенная, а Рим не может позволить себе признать, что любой пункт веры, который был авторитетно определен, может рассматриваться как несущественный. Но если я рискну высказать свое личное суждение, то не вижу, чтобы даже Апостольское вероучение смогло сохранить свое место в качестве краткого изложения основных положений христианства. Статьи о сошествии в Ад и воскресении тела, а также, возможно, статьи о рождении Девы Марии и вознесении Господа, сомнительны, если не сказать ложны, и не могут справедливо считаться незаменимыми. Если бы я мог попытаться прогнозировать, то сказал бы, что окончательный раскол произойдет не из-за отдельных

статей Апостольского Символа веры, а из-за того, какое значение мы придаем истории и личности Иисуса. Выбор будет сделан между концепцией Бога, для которой история и характер Иисуса являются окончательными и определяющими, и более расплывчатым духовным теизмом, для которого Иисус не имеет высшего значения. Это даже не разделение между тринитариями и унитариями. Окончательное расхождение путей сводится к вопросу о том, является ли вера человека в Бога христоцентричной или нет. Существенный раскол будущего произойдет между теми, кто считает, что христианство - вера в Отцовство Бога через Иисуса Христа - является окончательной религией, и теми, кто считает, что христианству в этом смысле суждено быть поглощенным какой-то еще более широкой верой в Бога, для которой другие откровения, через природу и через другие фигуры в истории, столь же значимы, как и вероучение, воплощенное в рассказе в Галилее и на Голгофе девятнадцать веков назад. Но какие бы расколы ни возникали в религии Запада в будущем, поиск сущности христианства, даже если он ведется через споры, будет способствовать устранению пустых разногласий и выявлению общности в основах там, где раньше люди считали себя безнадежно разделенными.

Выделять какие-то конкретные движения для особого упоминания несколько неблагородно, и при этом я могу проявить скорее личную предвзятость, чем критическое суждение. И все же, пожалуй, позволительно отметить, что генезис движения школ для взрослых является естественным развитием квакерского уважения к тому, что Бог есть в каждом человеке. Оно представляет собой стремление к религиозному общению, которое не навязывает мнение, но предлагает наиболее благоприятные условия для формирования независимого суждения и роста индивидуальной веры. Насколько движение реализует свой идеал, я не берусь спрашивать, но само его существование служит некоторым свидетельством веры в положительную добродетель толерантности как важнейшего элемента христианского характера. Еще один мощный фактор, способствующий сотрудничеству и лучшему взаимопониманию между христианами, можно найти в студенческом христианском движении. Для нашей страны его значение было усилено, если не создано, благодаря открытию старых университетов для нонконформистов. Будущие лидеры всех наших церквей теперь получают совместное образование, а через студенческое христианское движение они учат друг друга и вместе сталкиваются со старыми противоречиями и унаследованными проблемами в то время, когда их суждениям меньше всего мешают ни традиции, ни ответственность. Что это может означать для религиозной жизни нашей страны, мы пока не можем сказать, но совершенно точно, что в наших разногласиях проявится новый темперамент. Люди, которые учатся ценить друг друга благодаря этому объединению, как правило, держатся вместе, когда выходят из университетов и начинают работать в своей жизни. В студенческом движении возникают новые ассоциации и содружества, которые сохраняют и продолжают объединяющий импульс самого движения. Эта объединяющая сила не ограничивается нашей страной. Она образует всемирную федерацию, линии связи которой не прервала даже нынешняя война. В каждой стране студенческое движение намерено возобновить международные связи в кратчайшие сроки. Я думаю, что это не просто предубеждение студента в пользу своего класса, которое заставляет меня рассматривать студенческое христианское движение как одно из самых обнадеживающих событий в религиозной жизни нашего века.

Возможно, влияние этого движения можно проследить в растущем спросе на сотрудничество в миссионерской задаче Церкви. Этот спрос, несомненно, возник отчасти благодаря изменениям в средствах транспорта и связи, которые сделали мир меньше. Миссионерские усилия стали менее спорадическими, чем раньше. Церкви развивают *Weltpolitik*. Точные пропорции стоящей перед ними задачи теперь более четко осознаются.

Трудность выполнения этой задачи даже при объединении и невозможность ее эффективного выполнения при разделении также более очевидны. Но требование единства и сила сотрудничества также укрепились благодаря тем мужчинам и женщинам, которые уехали за границу под влиянием Студенческого добровольческого миссионерского союза. Приверженцы высокой церкви и неконформисты, научившись работать вместе в христианском студенческом руководстве, не считают для себя трудным сотрудничать, если представится возможность, в Индии или Китае. На наших глазах происходит полудобровольная революция настроений. Сила нового духа сотрудничества проявилась на Эдинбургской конференции 1910 года. Эта дата будет иметь огромное значение для роста нового католицизма на Западе.

До сих пор мы рассматривали влияния, способствующие углублению чувства единства внутри христианской церкви. Но если мы попытаемся сделать более широкий обзор, то обнаружим, что религиозная мысль и чувства на Западе, независимо от того, являются ли они определенно христианскими или нет, обладают некоторыми общими характеристиками, несущими на себе отпечаток убеждений, которые постоянно борются за свое выражение.

На первое место среди этих характерных черт религиозной мысли Запада я бы поставил веру в солидарность человечества. Происхождение этой веры, вероятно, не поддается нашему анализу. Я подозреваю, что существует некий универсальный импульс, стимулирующий эту веру, который я склонен считать инстинктивным. Однако на Западе она, несомненно, нашла более полное выражение, чем в цивилизации Индии или Китая. Можно указать на традиции, на философию и на конкретные события, которые пронесли эту веру в человеческую солидарность глубоко в сознание Запада. Доктор Причард, чьи научные труды, как нам рассказывали в одной из предыдущих лекций, опровергли ересь полигенизма, был вынужден предпринять свои изыскания из желания сохранить точность Моисеевой традиции в отношении общего происхождения человечества. Немного любопытно размышлять о том, что иллюзорная антропология, принятая на веру Моисеем и Руссо, вера в Адама, вера в свободного и счастливого дикаря, возможно, сделали больше, чем научные исследования первобытной культуры, для поддержания нашей веры в человеческое братство и равенство. Однако мы не должны придавать истории об Адаме слишком большое значение. Западное чувство достоинства обычного человека в гораздо большей степени обязано великой стоической концепции человечества, как напомнил нам мистер Баркер в своей лекции о Средних веках. Возможно, еще более значимым является чувство человечности, порожденное отношением ко всем людям как к объектам общего искупления. Самые бедные люди были защищены от своих собратьев там, где они были признаны братьями, за которых умер Христос. При наличии времени и знаний стоило бы проследить рост этого чувства в современную эпоху, проследить влияние на его развитие доктрины естественных прав, Французской революции, философии Конта и евангельского возрождения. Но каковы бы ни были источники и этапы его роста, существование и сила этой веры в человечество неоспоримы. Именно эта вера заставляет нас отказаться от мысли о том, что западная цивилизация - это просто Запад. Ведь мы верим, что Запад хранит для человечества не только правильное знание природы, не только правильный научный метод, но и важнейшую концепцию ценности и единства человеческой жизни. Что бы мы ни почерпнули у Востока, это один из даров, которые мы приносим другой половине мира.

Говоря о вере в человеческую солидарность как о западной, я осознаю, что делаю широкие заявления, которые нуждаются в уточнении. Я отнюдь не хочу сказать, что в великих структурах азиатской цивилизации, особенно в этических системах Китая, нет подобных чувств человечности. Но я убежден, что в этом отношении существует широкий контраст

между Западом и Востоком, и, в частности, значительная пропасть между Западом и индуизмом. На Западе эта часто невидимая вера в человечество действует как источник прогресса. Она вдохновляет нашу веру в демократию, она выступает как вечный вызов привилегиям и угнетению, как постоянное отрицание неизменности классового, национального и расового разделения. Сама трудность, которую испытывает ортодоксальный индус, пытаясь понять духовное значение демократии, - его ощущение, что демократическое движение - это иррациональное слепое эгоистическое смешение божественного социального порядка, - свидетельствует о существовании этой пропасти. Не зря в религиозных традициях индуизма четыре касты восходят к божественному назначению и рассматриваются как неотъемлемая часть расы. Не имеет значения и то, что Индия отвергла буддизм - движение, бросившее вызов кастам, и миссионерский энтузиазм которого воплотил в себе более широкие чувства человечности, чем те, которые до сих пор были вплетены в индийскую цивилизацию. Сейчас влияние Запада возобновляет атаку на касты, которую начал и не смог осуществить Будда.

Без серьезной несправедливости мы можем утверждать, что вера в человеческую солидарность достигла более ясного выражения и оказывает большее влияние на Западе, чем на Востоке. Подробно описать ее влияние невозможно. Она лежит в основе наших надежд на социальные реформы, она отказывается верить в недочеловека - по крайней мере, отказывается верить в необходимость его дальнейшего существования. Она вдохновляет религиозный энтузиазм, с которым люди принимают социализм как "надежду человечества". Оно превращает братство людей в "замаскированное слово". Как говорит персонаж одного из романов Сент-Джона Эрвина: "Братство человека, мой мальчик, это мой мотивчик. Братство человека! Старый мир, видишь! Ни капельки не похожий на Англию! Старый мир! Все мы! Видите? Никаких войн и прочей ерунды! Только мир и 'appiness! Захватывает дух, когда думаешь об этом. Так и есть. Тот же религиозный импульс действует в той болезни гуманизма, которая беспокоит шовинистов, - гуманизма, который Бернгарди осуждает в Германии, а мистер Моретон Фуллертон - во Франции. Он отражается в религиозной жизни как России, так и Франции. Книга Поля Сабатье в значительной степени посвящена тому, чтобы проследить влияние этого чувства солидарности во всех философских и религиозных школах и во всех классах Франции. Он отмечает, например, антиклерикализм французского крестьянина, который, однако, не приводит его к принятию догматических отрицаний свободомыслия. Крестьянин все еще держится за церковные обряды благодаря "возможно, неосознанному желанию совершить акт социальной солидарности, встретиться с нашими собратьями не на поле материальных интересов и отвлечений, принять свидание, которое они предлагают нам, а мы - им, чтобы мы могли сблизиться и, более того, объединиться и сплотиться". В другом квартале мы можем стать свидетелями нового чувства человечности, возникшего в результате слияния различных расовых элементов в плавильном котле Соединенных Штатов. Пьеса Зангвилла может быть приведена в качестве документа этой более широкой веры, а Джейн Аддамс сочувственно описала ее генезис в своей книге *"Новые идеалы мира"*. Еще одно выражение этой инстинктивной веры можно найти в широком человеческом интересе большей части нашей современной литературы и искусства. Ибо стандарт ортодоксальности в этой связи требует, чтобы мы не только отвечали грандиозной концепции человечества в целом, но и в частности были верны терентианской метке: "Homo sum: humani nil a me alienum puto". Достоинейшая сторона современного реализма в полной мере оправдала этот девиз.

Выражения этой веры в человеческую солидарность настолько разнообразны, а ее влияние настолько всепроникающе, что неудивительно, что некоторые современные мыслители рассматривают ее как сущность религии. В социологической теории религии считается, что

осознание общества и его требований и есть сама религия. Человек обращается в веру, когда его душа "конгрегационализируется". Существует даже тенденция находить высший элемент религиозного опыта в сильном чувстве единства с окружающими. Такое чувство бесконечной симпатии и терпимости является настолько большой частью любви, что его легко принять за целое. На этой отправной точке мы могли бы легко представить себе западную веру в человечество с Уолтом Уитменом в качестве ее пророка. Но вторая особенность западной религиозной мысли запрещает идеализировать человечество, каким мы его знаем, и выводит нас за пределы огульного католицизма "Открытой дороги". Эту особенность можно определить как нашу веру в ценность деятельности и в реальность прогресса. Мы верим в единство человечества скорее как в задачу, которую нужно решить, чем как в свершившийся или данный факт, которым можно наслаждаться. Ницше где-то сказал: "Если мы хотим достичь цели человечества, то разве нам не хватает самой человечности?". Мы ищем конечное единство человечества в стремлении к общей цели. Поиск такой цели и усилия, направленные на ее достижение, придают ценность истории и современным действиям.

Эта вера, часто слепая и необоснованная, является типично западной и современной. Мы не берем ее даже из Греции. Она пришла к нам через христианство и современную науку. Отсутствие подобной веры в активность и прогресс порождает пессимизм Востока. Индуизм и буддизм одинаково несостоятельны с этой стороны. Величественная религиозная философия Индии видит в истории лишь бесконечное и бессмысленное повторение. Если я не ошибаюсь, Фукидид и Платон придерживаются того же мнения. Как говорит Юкен, "древние взгляды на жизнь носили в целом неисторический характер". Многочисленные философские доктрины о череде бесконечных циклов, которые постоянно возвращаются к исходной точке, были лишь выражением убеждения, что любое движение в основе своей не несет ничего нового и что жизнь не предлагает никаких перспектив дальнейшего совершенствования". Когда Павел обнаружил, что закон - это учебное пособие для приведения людей ко Христу, он изложил более глубокую философию истории, чем когда-либо знал Платон.

Сам факт, что христианство возникло из иудаизма, означает, что оно закрепляет и предлагает идею прогресса в самих обстоятельствах своего возникновения. Но его влияние на эту идею глубже, чем его связь с иудаизмом. Христианство претендует на роль последней религии, но его претензии отличаются от аналогичных претензий магометанства. Мир ислама держится на смертном одре пророка. Он не может выйти за пределы тех форм, в которых он воплотил свое послание, не отрицая тех претензий, которые он предъявлял к себе. Но для первых христиан синоптические Евангелия были записью всего, что Иисус *начал* делать и говорить, а высшее развитие христианского опыта и размышлений в Новом Завете, Евангелие от Иоанна, предвосхищает великие дела, которые должны совершить последователи Иисуса, и более полные откровения, которые придут, когда ученики будут в состоянии их вынести. Претензия христианства на законченность основывается на том, что оно открывает перед человечеством бесконечные возможности духовного роста. Некоторым из нас кажется, что часть этого более полного откровения пришла благодаря современным знаниям и открытиям. Вера в прогресс, которой христиане часто придерживались с трудом, а иногда и вовсе отрицали, кажется, подтверждается и проясняется всем тем, что мы узнаем о творческой эволюции. В любом случае, влияние современной науки привело к формированию на Западе веры в прогресс - веры, которая, по мнению одних, существенно отличается от христианского взгляда на мир и историю, но которая, как кажется другим, все больше и больше сливается с более ранним, хотя в некоторых отношениях и более грубым христианским убеждением. Несомненно, когда факты эволюции указывали на постепенное и

непрерывное развитие, они благоприятствовали взгляду на устойчивый прогресс, который был антагонистичен христианской вере во внезапное внедрение новых элементов в историю. Но более поздние достижения эволюционной теории кажутся более близкими к раннехристианской позиции. Элемент апокалипсиса, как видно, не так уж чужд природе, как предполагалось вначале.

Как бы она ни возникла и какую бы форму ни принимала, эта вера в прогресс характерна для западного мировоззрения и дает положительный ответ на вопрос: "Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? О том, что такая вера чужда Индии, может свидетельствовать прием, оказанный поэту Тагору в самой Индии. Мистер Йитс приводит суждение одного бенгальца, который сказал о Тагоре: "Он первый среди наших святых, кто не отказался жить, а говорил из самой Жизни, и поэтому мы дарим ему свою любовь". Гений Тагора - чисто индийский, но его оригинальность в этом отношении прямо или косвенно обусловлена контактом с влиянием Запада. Именно наша вера в действие и в ценность человеческих достижений звучит в его стихах и в его философии, и эта нота является новой для Индии.

Иллюстрации этой веры в прогресс и активность излишни, хотя я могу напомнить вам о преобладании этого настроения в сфере философии и религии в настоящее время. Возможно, стоит напомнить, что великая история догматики Харнака заканчивается этим знаменательным предложением Цвингли: "Не дело христианина вечно рассуждать о догмах, но всегда пытаться делать большие вещи в общении с Богом". Это как ничто другое отражает нашу западную настойчивость в отношении ценности усилий. Как восхитительное воплощение одновременно веры в человечество и веры в прогресс, вспоминается завершение поэмы Мэтью Арнольда "Часовня Регби". Вы помните, как он считает, что функция великих людей заключается в сохранении союза человечества, и как он представляет себе жизнь человечества как путешествие к городу, который имеет фундамент.

Эти две характеристики, вера в единство человечества и в реальность прогресса, действительно придают цивилизации Запада чувство общего стремления. Но сами по себе они не создают очень тесного единства. Люди могут верить в человеческую солидарность и ценность усилий, но при этом следовать расходящимся идеалам и раскольническим энтузиазмам. Эти убеждения окружены дымкой и неопределенностью. Сами по себе они едва ли представляют собой религию, способную удовлетворить нас, а тем более эффективно объединить. Как бы полно мы их ни разделяли, они не позволяют нам встретить и преодолеть нынешний кризис. Насколько я могу судить, эти расплывчатые убеждения в человечности и прогрессе в значительной степени являются залогом христианской веры, и для того, чтобы сделать их эффективными, их необходимо постоянно соединять с центральными элементами этой веры; в частности, с христианским осуждением греха и христианской преданностью историческому Иисусу.

Чувство греха произвело на Западе особый отпечаток. Этим мы во многом обязаны религиозному опыту евреев и серьезности латинского ума. Любопытно совпадение седьмой главы Послания к Римлянам с известной цитатой из Овидия. Латинские отцы, особенно Августин, развили, если не сказать переразвили, анализ греха. Для грека понятие греха никогда не имело такого значения, а гуманизм всегда возмущался строгостью традиции, идущей от Павла через Августина и Кальвина. Стимулирующие книги мистера Холмса об образовании вдохновлены теологической полемикой против доктрины первородного греха. Он не без основания обращается к буддизму, поскольку в буддизме коренной бедой человеческой жизни является страдание, а не грех. Разделение между волей и силой, борьба чувств с нашим здравым смыслом, падение ниже нравственного идеала - ничто из этого не входит в горизонт Будды". Теперь можно смело признать, что кальвинистский взгляд

на грех привел к недоверию к человеческой природе и, кстати, к детской природе, что не совсем здоровым образом отразилось на домашней дисциплине и школьной жизни. Очень трудно сохранить правильный баланс, и опасность болезненности из-за акцента на грехе неоспорима. И все же мне кажется, что худшие ошибки кальвинизма и евангелизма в этом отношении заключаются в склонности к богословскому формализму и неспособности поддерживать связь с реальной жизнью. Как следствие, те, кто больше всего сожалеет об ослаблении чувства греха, судят нас по извращенным или устаревшим стандартам и часто зацикливаются на изменениях чувств и привычек, которые вовсе не обязательно или в значительной степени греховны. Они меньше всего осознают недостаток чувства греха в современном обществе, где этот недостаток наиболее серьезен. Но я не сомневаюсь, что наши зачастую старомодные друзья правы в главном вопросе. Я не верю, что мы увидим желаемый прогресс, если не вернем себе обостренное чувство греха. Я согласен с лордом Актоном в том, что наши внутренние конфликты вызваны безразличием к греху, а не религиозной идеей. Мы слишком легко судим себя и свою расу. Мы гасим надежду на прогресс, проявляя снисходительность и поблажки к нашим недостаткам, что влечет за собой недооценку наших сил и обязанностей. Нынешний кризис приведет к обнадеживающей реакции не через сожаление, а только через покаяние.

Чувство греха, которое христианство принесло на Запад, я думаю, нельзя найти где-либо еще. Оно появляется только там, где люди чувствуют себя уверенно знающими волю Божию. Он интенсивен только там, где люди осознают присутствие Бога. Видение Святейшего открывает Исаии, что он - человек с нечистыми устами. Такое убеждение в грехе кажется мне необъяснимым без контакта с живым Богом. Для того чтобы человек осознал свою нравственную несостоятельность, необходимы две вещи: во-первых, правильный стандарт суждения и, во-вторых, убежденность в реальности Бога. Не слишком ли много сказано, что мы не можем достичь ни того, ни другого, кроме Иисуса из Назарета? "Через Иисуса, а не от Адама, мы познали грех". Именно через Него люди открывают свой нравственный идеал и учатся не просто верить в то, что Бог есть, но говорить: "Боже, Ты мой Бог во веки веков".

Несомненно, есть что-то провиденциальное в решительных попытках последнего столетия вернуться к Христу. Все движение преуспело в том, чтобы отделить авторитет Христа от авторитета Моисея или Павла. Мы находимся почти там же, где были ученики, когда они не видели никого, кроме одного Иисуса. Некоторые вещи в традициях остаются неясными и непонятными. Но мы видим достаточно, чтобы заново оценить наше расстояние от Него. И когда народы Европы окончательно устанут от работы разрушения, возможно, они снова обратятся к Нему за тайной покоя и обнаружат, что только Он может направить их стопы на путь мира.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Sabatier, *L'Orientation religieuse de la France actuelle*. Armand Colin: Paris.

У.К.Л. Кларк, *"Перед лицом фактов; или Религия англичанина"*. Нисбет.

Е.С. Moore, *Christian Thought since Kant*. Duckworth's Studies in Theology.

XIV

РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В предыдущей главе мы обратили внимание на необходимость более глубоких элементов единства цивилизации, чем те, которые могут быть обеспечены какими-либо торговыми, финансовыми или политическими связями. Планы политического союза наций, общие тенденции в социальных реформах, даже необходимое единство торговли и науки будут бесполезны, если не будет основы в общих чувствах религиозного характера, в сознании того, что все мы являемся членами друг друга и можем продвигаться и реализовывать себя только благодаря помощи и сочувствию других членов того же тела. Именно к этому вопросу мы и обратимся в заключительном разделе данной темы. Механика единства нуждается как в искреннем отстаивании, так и в тщательном изучении. Но под ними и помимо них необходимо найти движущую силу в идеалах и чувствах, благодаря которым в конечном итоге и становится возможным функционирование всех этих механических механизмов. Правильные чувства не являются достаточной гарантией, но они - необходимая основа, и очень важно понять, к каким вещам наиболее глубоко привязана масса людей, как они относятся друг к другу, по каким каналам наиболее естественно течет и распространяется поток чувств. Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, она становится прежде всего образовательной. Мы изучаем человечество таким, каким мы его находим, чтобы добиться улучшения в желаемом направлении.

В первую очередь мы обнаруживаем, что люди, как правило, сильнее всего привязаны к тем местностям и людям, с которыми они впервые вступают в тесный контакт. Семья - это первый настоящий микрокосм, первое сообщество, в котором личность развивается благодаря общению со своими товарищами. О ценности этого самого раннего социального обучения вряд ли есть два мнения, и нам нет необходимости останавливаться на этом. На следующем этапе начинают проявляться расхождения, как в конкретных мнениях, так и в акцентах. Насколько привязанность к стране ценна, насколько ее следует культивировать, каковы необходимые ограничения и контролирующие идеи? Что касается реальности этого чувства, то каждый человек может проверить себя. Мы знаем, большинство из нас, с каким глубоким удовлетворением мы возвращаемся в страну, район, где мы родились и живем. Это чувство - одно из самых сильных и глубоких в нас, даже если наш разум отвергает и не признает его. Как англичане, возможно, даже больше, чем шотландцы и ирландцы, мы любим с неопределимой и неизбывной страстью наше морское побережье, наши холмы и долины, поля и коттеджи, даже иногда убогие, почти всегда плохо подобранные, скопления домов, которые мы объединили в города. Мы ссоримся между собой, у нас больше религиозных, политических и социальных разногласий, чем у любого другого народа. И все же, когда нам нужна компания для работы или удовольствия, дома или за границей, мы охотнее возьмем англичанина, чем любого другого человека. Люди и страна - "дорогие души и дорогая, дорогая земля" - вот те элементы, которые составляют настоящую вещь, называемую патриотизмом, и которые, несмотря на все наши проклятия и все наши корыстные побуждения, ведут нас миллионами на работу или смерть за нашу страну, и, пока жизнь длится, приведут нас, наконец, домой.

Тем, кто знаком с местной узостью, ревностью и мелочностью большей части нашей национальной жизни, покажется, что главная обязанность образования - представить страну как объект воспитания и служения, правда, несовершенный и ограниченный более масштабными целями, но все же превосходящий эгоистические интересы торговли, города или отдельного человека. Это, со всеми своими ужасными потерями, война делает для нас могучими и неотразимыми ударами, и это трагическая правда, что в нашем нынешнем несовершенном социальном состоянии только война, бросая нас против других великих и действительно сотрудничающих сообществ людей, может заставить нас сравнительно легко и радостно переносить самые серьезные бремена потерь и страданий. На войне мы

действуем мгновенно, как один народ, а в мире мы торгуемся и колеблемся по поводу самых умеренных жертв, чтобы обеспечить продвижение вперед. Именно это качество патриотизма и война как его стимул в значительной степени и естественно искажают наши взгляды. Но до идеала единой западной цивилизации или единого человечества всего один шаг. Мы не можем обойтись без патриотизма, но мы должны немедленно выйти за его пределы. Мы не можем исправить беды и конфликты человечества, пытаясь искоренить некоторые из наших самых упорных страстей; мы прогрессируем, овладевая, а не калеча наше существо. Мы должны выйти за пределы патриотизма благодаря более широкому сочувствию, видению аналогий, признанию фактов общности интересов и сотрудничества в мире.

Но опять-таки, рассматривая этот вопрос с образовательной, а не абстрактной точки зрения, мы должны признать, что реальное ознакомление с жизнью и услугами других народов - процесс медленный, трудный и, в лучшем случае, ограниченный. Странствующему студенту Средневековья было действительно легче вникнуть в простую и похожую жизнь заграничных университетов, чем современному путешественнику постичь сложные отношения большого иностранного города или государства. Поэтому на практике нам приходится выбирать и концентрироваться. Для современного англичанина знание одной или двух других стран и языков - это максимум того, что может позволить жизненный стресс, и приходится сожалеть, что бедность и тяжелая работа ограничивают даже это приобретение для очень немногих. *Странствие* для рабочего человека могло бы многое сделать для укрепления единства западной цивилизации.

До недавнего острого соперничества с Германией симпатии англичан были разделены довольно равномерно. Ваш либерал, как правило, был французом, а ваш консерватор - немцем. Джордж Мередит и Джон Морли пели дифирамбы Франции, Кольридж и Карлайл хотели, чтобы мы учились у Германии. Теперь на долгие годы решено. Мы встретим урегулирование и опасности будущего бок о бок с Францией.

Таким образом, это становится одной из постоянных точек нашей ориентации. Это диктуют и история, и география. Как в строительстве нашего отечества и сопутствующих ему чувств процесс не является чисто логическим, а приходит к своему завершению самыми нестандартными путями, со всевозможными обходными путями, обусловленными странной конфигурацией нашей природы и мира, в котором мы живем, так и в расширении от патриотизма к человечности мы должны следовать линии, заданной, по большей части, внешними фактами. Французы, как наши ближайшие соседи, всегда представляли для нас особый интерес. Они, как и мы, унаследовали смешанную расу и смешанную цивилизацию, отчасти тевтонскую, отчасти кельтскую, отчасти римскую, но с различными сочетаниями элементов. Для нас преобладание тевтонской расы и изолированное положение придали более независимый и уникальный характер, историю и конституцию. Франция, будучи континентальной и более центральной, была также более полностью романизирована и во все периоды своей истории была более сопричастна общему течению мысли, чем мы. Часто она возглавляла его, всегда отражала его быстрее и совершеннее. Наше традиционное соперничество было рыцарским, отмеченным множеством эпизодов настоящего восхищения и тесной дружбы. Для Елизаветы, для Кромвеля, для крестоносцев XII и философов XVIII века Франция и Англия казались такими же естественными союзниками, как и сейчас, в отражении общей агрессии на их дома и свободу. Но в будущем самыми крепкими связями будут два великих общих идеала, самоуправление и свобода личности внутри страны и сообщество свободных народов за рубежом. В практической демократии, уже реализованной на родине, и в идеале человечества, состоящего из таких

самоуправляющихся и сотрудничающих государств, Франция и Англия стоят за единство западной цивилизации в том смысле, в котором оно прослеживается в этом томе, - единственном смысле, который делает его достойным жертв богатства, труда и жизни.

ОШИБКА.

Страница 305, строка 14 снизу

ибо не может упразднить читается как не может упразднить

Марвин: Единство западной цивилизации.

[** Примечание переводчика: Приведенный ниже текст был изменен, чтобы отразить вышеприведенную ОШИБКУ. Оригинал ERRATUM оставлен в документе в исторических целях. **]

Единство, поборниками которого мы себя считаем, должно быть реальным, основанным на свободе и реализуемым сознательными усилиями; но оно также должно быть действительно всеобъемлющим, не исключаящим ни одного желающего сотрудничать, направленным не против кого-то одного, а для всех. В этом томе не предполагается обсуждать животрепещущие вопросы современности, поэтому необходимо дать самые краткие указания на то, как формировалось ядро западной культуры и как оно должно реформироваться после войны. Франция, Германия и Англия в течение многих лет были, в совокупности, самыми важными центрами науки и социального прогресса в мире, и идеальной политикой для них было бы дать единый пример остальному миру. Война изменила ситуацию, но она не может отменить фундаментальные факты, на которых зиждется цивилизация Запада, - науку, власть над природой и социальную организацию. В них те же три страны по-прежнему будут иметь определенное первенство, хотя позиции Соединенных Штатов будут значительно усилены. Разумеется, ни один мир не может быть постоянным, если он предполагает отлучение одного из ведущих членов человеческой семьи.

Италия в науке, философии и литературе является достойным коллегой, а Россия делает большой шаг вперед, объединяясь с силами прогресса и европейского единства.

Теперь ясно, что есть две разные линии подхода к нашей цели - объединенному человечеству. Мы можем культивировать для себя в качестве идеала, основанного на любви и разуме, представление о всех людях как о братьях, работающих вместе, помогающих друг другу даже тогда, когда это неизвестно, укрепляющих силы друг друга и постепенно продвигающихся к высшей цели. Это, хотя и не является полноценной религией для большинства людей, но, по крайней мере, имеет отношение к религии. Другая линия связана с практической задачей примирения фактических трудностей, объединения наций для различных целей - арбитраж, международная торговля, советы по примирению и тому подобное. Это медленный и тернистый путь, который в силу своей сложности способен поглотить мысли и энергию лучших умов, посвятивших себя этому делу. Но первая линия - самовоспитание и поощрение благоприятного духа среди других, - хотя и открыта для всех и легка на подъем, часто игнорируется. Такой "простой идеализм", как и чистая доброжелательность, рискует захлебнуться во множестве деталей, учреждений и организаций, которыми переполнен современный мир. Человечество как идею, возможно, было легче понять во времена Турго и Кондорсе, чем сейчас, когда орудия труда

объединенного человечества неизмеримо расширились и усовершенствовались. Тем более велика потребность в повторной интеграции этого понятия. Как в науке рассеивающий эффект специализации привел многих мыслителей к желанию иметь другой порядок умов, специально посвященных генерализму, чтобы связать воедино результаты детальных исследований других, так и в поведении, морали и политике все более и более настоятельно необходимо возвращать умы людей, и в первую очередь наши собственные, к большим руководящим идеям, благодаря которым в конце концов все наши более мелкие правила и предметы должны стоять или падать. Ведь кто будет спорить с тем, что все наши союзы, международные действия и сама война могут быть в конечном итоге оправданы только в том случае, если они служат высшим интересам всего человечества?

Об эволюции этой идеи человечества в истории можно написать целый том, и очень ценный. Нам, , прежде всего необходимо тщательно проанализировать, в каком смысле она используется в каждом конкретном случае. Есть простое чувство братства, которое, как мы знаем, глубоко ощущалось среди наших союзников в России. Зародыши этого чувства, должно быть, существовали с самого раннего появления человечества на земле. Это одна из тех ценнейших вещей, которые развитие богатства, классов и самобытной культуры имеет тенденцию притуплять в более развитых цивилизациях. Но если учесть, что полная концепция Человечества включает в себя знание эволюции человека, роста его силы и организации на протяжении всей истории, а также простое, но необходимое чувство братства людей, мы увидим, какой долгий путь предстоит пройти русскому мужику - как и множеству его собратьев во всех других странах - прежде чем он достигнет цели. В более полном смысле, как самосознающее и развивающееся существо, идея человечества впервые появляется у стоиков, после того как греки внесли в мир свою закваску абстрактной мысли. Идеалом стоиков был весь населенный мир как Город Человека, и он охватывал как идею полиса, которой платоновская и аристотелевская мысль достигла в четвертом веке до нашей эры, так и распространение на все остальное человечество, которое витало в воздухе незадолго до христианской эры. Христианство повлияло на эту концепцию двояким образом. С одной стороны, оно ограничило ее, поскольку стоический Город Человека стал Городом Бога, которого нужно было искать и которому нужно было поклоняться в одном предписанном порядке. С другой стороны, он углубил его, так как источники общего человечества были обнаружены, чтобы пойти под поверхностные факты гражданской жизни в глубины душ, которые имеют идентичные отношения с вечными вещами, с грехом, страданием и надеждами на будущее.

Только после всплеска науки в пятнадцатом и шестнадцатом веках, после того пробуждения надежд на человеческие силы, которое возвращает нас к грекам, мы находим концепцию человечества в чем-то похожем на ту форму, в которой мы можем представить ее сейчас. Из нашей главы о науке и философии мы уже поняли, насколько важен рост организованной мысли для реализации любого единства в прогрессивном мире. Ведь царство мысли - единственное, в котором невозможны никакие расовые или национальные различия, но именно мысль должна приводить к согласию. Пока люди могут расходиться во мнениях, как это происходит и сейчас, по вопросам человеческих дел, политики, социального устройства или даже археологии, где преобладают расовые или национальные различия, наука не будет оказывать объединяющего влияния. Но в математике, физике, химии, во всех вопросах, в которых человек не может придерживаться другого мнения, потому что он француз или немец, - здесь мы достигаем гавани интеллектуального мира; и эти спокойные воды распространяются по всему миру, несмотря на бури.

Возвращаясь к той образовательной точке, с которой мы начали, мы видим теперь другую линию подхода к единству в обучении наших собственных умов и умов других людей. В некоторых отношениях это более надежный путь, хотя и менее прямой. Изучая политическую жизнь и историю других народов, даже если мы делаем это сознательно, чтобы выяснить, чем мы им обязаны, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что нам не нравится, даже среди наших лучших друзей. Французы могут показаться легкомысленными или менее сдержанными, чем мы; у них были свои кровавые вспышки революции. Там, где они мешали нашим собственным движениям, как, например, в колонизации, мы тем сильнее осознаем их недостатки. Или мы можем почувствовать, что у американцев есть своя материалистическая жилка. И так далее. И это с нашими лучшими друзьями, которые, без сомнения, чувствуют то же самое по отношению к нам. Но на другой линии подхода, при изучении вещей, в отношении которых люди сегодня согласны без всяких сомнений, которые они неуклонно создавали совместными усилиями, ментальный эффект совершенно иной. Открывающаяся перспектива ведет нас дальше, с растущим восхищением и уверенностью в нерушимой солидарности человечества. Мы знаем, что Ньютон, дополняющий Галилея, Максвелл, следующий за Лапласом, Гельмгольц, использующий результаты Джоуля, не могут испытывать противоречивой ревности. Здесь совершенно очевидно и бесспорно все являются соратниками, и перед величием их работы страсти соперничества за господство в материальных вещах, различия национальных вкусов и привычек, ссоры о прошлом или будущем кажутся презренными и незначительными.

А они вовсе не незначительны, как мы знаем на собственном опыте. Но, заикливаясь на вещах более важных и основательных, мы приучаем себя и других сводить элементы раздора к их истинной пропорции и утихомиривать бурю. Таким образом, прогресс объединенного человечества - это идеал, медленно реализующийся во времени. Но его реализация ускоряется и становится тем шире и благотворнее, чем больше мы думаем о нем и верим в него. Приходит удар, такой как нынешняя война, и, кажется, разбивает вдребезги всю картину, нарисованную столькими руками и восхищенную столькими глазами. Те, кто следил за ее развитием на протяжении веков, хорошо знают, что ни один удар не может окончательно уничтожить живой рост или даже очень глубоко повредить его черты.

Не вызывает сомнений тот факт, что в той мере, в какой население западных стран, начиная с государственных деятелей и ниже, одушевляется чувствами товарищества, проистекающими из подобных соображений, опасность войны должна уменьшаться, а возможности плодотворных совместных действий - увеличиваться. И все же, пожалуй, нет ни одной страны в Европе, где бы не предпринимались целенаправленные попытки привить народу идеи, которые наверняка расширили бы его симпатии и заложили бы основы мира.

Этот аргумент возвращает нас на мгновение к эссе об образовании. Мы остановились на том, что старое единство, основанное на греко-римской культуре, исчезает в путаной массе новых исследований, отчасти предложенных современными языками и историей, а еще больше - ростом науки и применением науки к проблемам современной жизни. Вполне возможно, что в этой концепции человечества, сотрудничества человечества в растущей структуре мысли, мы в конечном итоге найдем *ту идею*, под которой могут быть сгруппированы и вдохновлены все другие подчиненные идеи в образовании. Это может произойти, если это понятие будет пониматься не в узком смысле, а настолько широко, что вся человеческая мысль, религия и философия, искусство и наука смогут найти в нем свое оправдание.

Преимущество постановки образовательного вопроса на первое место уже было указано. Мы все можем сразу же приступить к работе над ним для себя, а внедрить новую идею в умы

других людей гораздо основательнее и, в некоторых отношениях, проще, чем изменить границы и политические условия государств. Если бы мы однажды достигли общей атмосферы сотрудничества и доброй воли в мире, практические проблемы были бы уже более чем наполовину решены.

С годами все активнее будут обсуждаться различные меры, которые в совокупности называют созданием мирового государства. В какой момент можно сказать, что мировое государство уже существует? Как такое мировое государство может быть согласовано с независимым суверенитетом нескольких государств, входящих в него? Что должно быть санкцией, навязывающей решения более крупного сообщества его членам? Таковы некоторые из проблем, связанных с любым продвижением к кантовскому идеалу космополитизма. Ни одна из них не допускает однозначного ответа. Они не относятся к вопросам чистой теории, и нам придется решать их медленно и с трудом, используя каждую благоприятную возможность для небольшого продвижения вперед, обходя серьезные препятствия, идя на компромисс со всеми возможными друзьями.

Но в данный момент нас, похоже, одолевают необузданные страсти, которые на практике отрицают все, что подразумевает идеал человечности. Вместо сотрудничества мы сталкиваемся с планами завоевания и господства, а самое простое понятие братства сводится к товариществу в оружии для защиты или нападения. Многие будут насмехаться над идеей о том, что когда-либо был достигнут реальный прогресс в единстве или что мир можно представить себе иначе, чем в виде раздражающего скопления соперничающих вооруженных сил, жаждущих схватки. Но для тех, кто не готов принять это как последнее слово в человеческой ассоциации, аргументы этого тома могут иметь определенный вес. Он приведет тех, кто последует ему, к спокойной, но обоснованной вере в то, что силы, склоняющие мир к единству, отличаются по качеству и несравнимо больше по масштабу, чем те, что приводят к разладу. Разлад взрывоопасен и временен, гармония нарастает медленно, но доминирует в финальном аккорде.

Как и великие общие цели науки, общие тенденции человеческой деятельности в последние годы несколько затмились из-за суеты нашей деятельности и многообразия ее деталей. Краски любого конфликта гораздо ярче и привлекательнее, чем тихие и монотонные тона долгой гармоничной совместной работы. Труды такого бюро международных усилий, как описанное в главе X, кажутся нашим журналистам и публицистам настолько малоинтересными, что их практически не замечают, а результаты научных конгрессов, будучи узкоспециализированными, поневоле остаются для тех, кто может их понять. Однако именно в них, если наш диагноз верен, можно найти наиболее характерные черты эпохи. Ведь в них и в подобных движениях мы видим объединение двух фундаментальных человеческих черт, с которых мы начинали, - разума и симпатии: разум одерживает победу над природой, симпатия реализует себя, наконец, в сообществе людей, посвящающих свои силы взаимопомощи. "Пустые мечты", - скажут, когда мы бросаем все новые и новые миллионы нашей лучшей молодежи на уничтожение с помощью самых высокоразвитых ресурсов науки. Да, но те же самые народы только вчера праздновали заслуги Пастера, Вирхова и Листера перед общим человечеством, и будут делать это снова завтра или послезавтра.

По правде говоря, одна из самых пикантных черт трагедии, в которой мы мужественно и справедливо принимаем участие, заключается в том, что чувство общности в мире никогда не было так высоко развито и не находило столько каналов для своего распространения, как в тот момент, когда этот удар был нанесен. Социалистические движения во всех цивилизованных странах всегда руководствовались этим мотивом; товарищи и бедняки

между собой, эти люди всегда стремились протянуть руку помощи единомышленникам за рубежом. А в прошлой главе мы видели, как в последние годы среди христианских общин по всему миру наблюдается все большее сближение. Ни причины, ни последствия таких сил не могут исчезнуть. Они появятся вновь, когда пройдет буря, и восстановят разрушенное.

Один большой аспект объединенных действий западного мира не получил внимания в этом томе, хотя сам по себе вполне мог бы стать предметом подробного исследования. Речь идет об отношении более развитых и могущественных наций Запада к более слабым и менее прогрессивным народам. Его можно рассматривать как критерий нашей цивилизации, так же как образование молодежи является хорошим и, возможно, лучшим критерием развития любого народа. Ведь оно предполагает совместные действия западных наций; оно показывает, насколько они бескорыстны и насколько искусны в обращении с менее развитыми.

Запись не самая лучшая, но в целом она подтверждает высказанное нами мнение о том, что рост чувства и концепции человечности можно проследить с момента зарождения современной науки в XVI веке. Средние века почти не дают нам примеров действий христианства по отношению к язычникам и более слабым народам до крестовых походов, в которых, за редкими примерами личного рыцарства, прежнее отношение было презрением и ненавистью к неверующим. В завоевании Нового Света, которое для некоторых его первых завоевателей было новым крестовым походом, присутствует та же общая дикость, отмеченная редкими случаями христианской доброты, как, например, у Лас Касаса. Но после Реформации, когда сама церковь очистилась и в ней возобладали терпимость, забота и интерес к жизни, мы видим просвещенные миссии иезуитов в Китае и Парагвае, работу святого Франциска Ксаверия в Индии и отношения квакеров с краснокожими индейцами в Новом Свете. С середины XVII века рабство, которое в Средние века было отменено как домашний институт, стало осуждаться как торговля. Мы стоим на пороге великого гуманитарного всплеска восемнадцатого века. Невозможно поверить, что этот рост человеческих чувств в отношениях с другими людьми не связан с новым евангелием человеческих сил, которое только что провозгласили Бэкон и Декарт. За исключением отдельных сверхчеловеков, чем большими силами обладает человек и чем выше он оценивает человеческие способности в их лучшем проявлении, тем тщательнее он бережет и развивает зародыши человечности в молодых и слабых.

Это, несомненно, относилось к "философам" восемнадцатого века; это в равной степени относится и к девятнадцатому веку, веку, замечательному как своим беспримерным развитием науки, так и подъемом деятельности, национальной и международной, направленной на улучшение расы. В этот период западные нации совместно покончили с работорговлей, а на Брюссельской конференции 1890 года мы видим высшую точку, достигнутую объединенным человечеством Запада, выраженным собравшимися государствами в отношении отсталых народов. Таким образом, это знаменательный момент, и англичане будут рады вспомнить, что именно лорд Солсбери, тогдашний министр иностранных дел, сделал первый шаг. Предыдущая конференция в Берлине в 1884 году обеспечила свободу торговли для бассейнов Конго и Нигера, а в 1889 году лорд Солсбери через бельгийское правительство созвал представителей держав для рассмотрения вопросов, касающихся работорговли в Африке. Африка, родина черной расы, последний из эксплуатируемых континентов, открытый после того, как белый человек открыл науку, была преимущественно той частью света, где сотрудничество ведущих народов в цивилизации отсталых рас было наиболее необходимым и наиболее ожидаемым. Конго, Эррерос, Марокко, Триполи, Омдурман - в ответ на это можно привести кровавые свидетельства.

Но в общем акте Брюссельской конференции четко и ясно сказано, какова должна быть цель держав. "Положить конец преступлениям и опустошениям, порожденным торговлей африканскими рабами, эффективно защитить аборигенное население Африки, обеспечить этому огромному континенту блага мира и цивилизации" - вот, собственно, и весь долг объединенной западной цивилизации в отношениях с менее цивилизованными странами. Достигнутые результаты могут показаться незначительными по сравнению с масштабами цели, но те, кто знает о них больше всего, не презирают их. Уменьшились масштабы работорговли и племенных войн, введен определенный контроль на ввоз оружия и спиртных напитков.

Это не та тема, по которой легко сохранять бодрость духа. Постоянно случаются какие-то Путумайо, которые напоминают нам о свирепой жестокости силы, не контролируемой и не сдерживаемой. Мы сравниваем реальные результаты деятельности человечества, когда оно вольно стараться изо всех сил или причинять зло сравнительно беззащитным людям, с благородным соперничеством, которое мы можем представить себе между нациями мира, ведущими более слабые народы к развитию их ресурсов и самих себя, по путям, которые могут привести к величайшему процветанию и счастью всех, передовых и отсталых вместе: и от этого сравнения становится плохо на душе. Но трезвый взгляд на вещи не станет отрицать, что даже здесь наблюдается прогресс. Идеал был признан. Права малых государств становятся, как в нынешнем конфликте, предметом заботы их самых сильных соседей. Во всем мире предпринимаются шаги по сохранению и улучшению положения остатков первобытных людей. Ужасы, когда они раскрываются, подвергаются более решительному осуждению. Миссионеры продолжают свою работу с большей просвещенностью и рвением и в более широких сферах. Несмотря на циников и сомневающихся, в этой, как и в других сферах деятельности объединенного человечества, все верно: *e pur si muove*. И по мере того, как работа продвигается вперед, мы видим, что она включает в себя те же самые руководящие мысли, которые вдохновляют нас в случае с молодыми и немощными дома - жалость к их слабости, любовь к их человечности, надежду на будущее.

КНИГИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Вечный мир Канта (только что вышло новое издание).

Международная политика. Chapman & Hall.

Фейл, *"Великое урегулирование"*. Мюррей.

Лидерство в мире. (Оксфордский памфлет.)